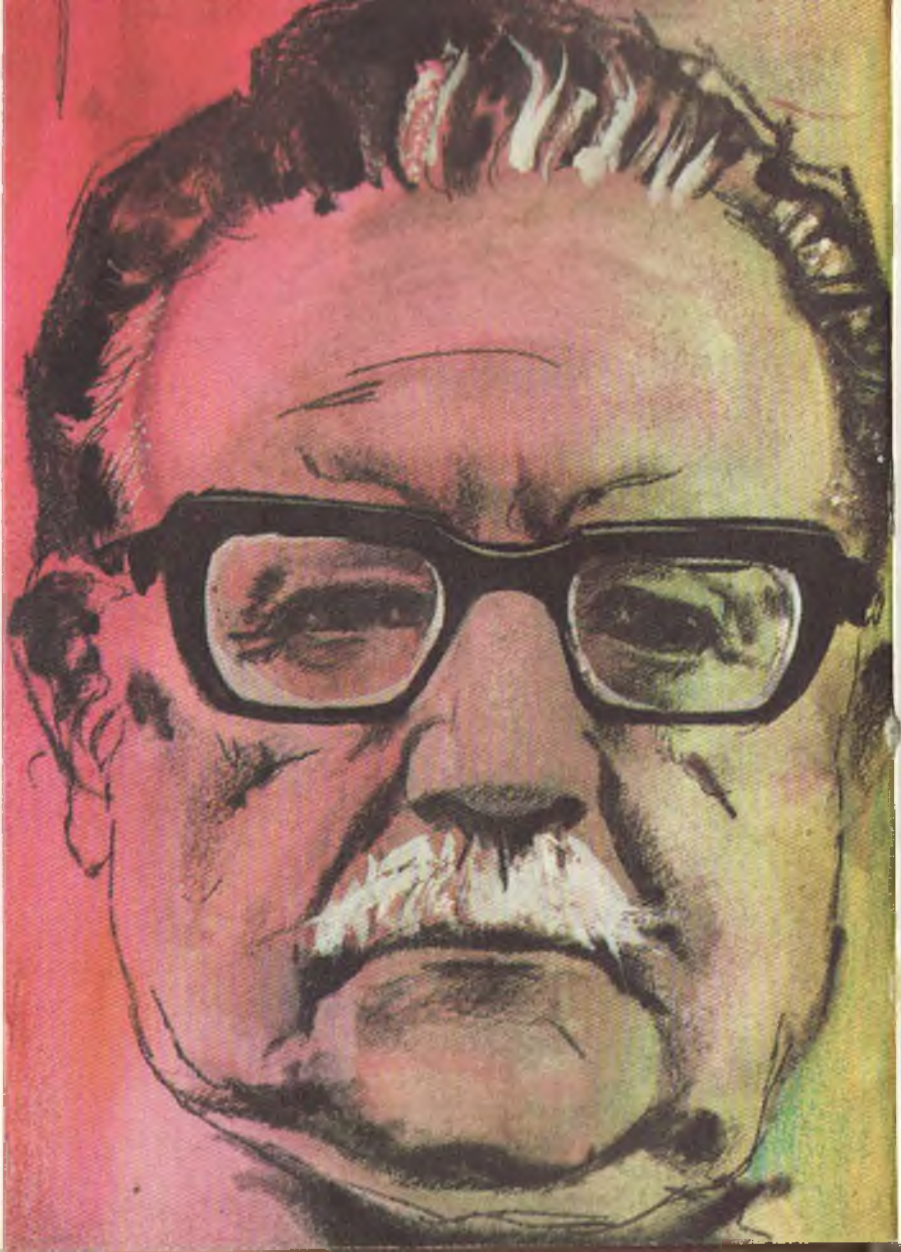


Пепельный сентябрь ~~92~~ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ

Пепельный сентябрь ~~92~~ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ





РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ

*Валерий
Алексеев*

ПЕПЕЛЬНЫЙ СЕНТЯБРЬ

ПОВЕСТЬ
О САЛЬВАДОРЕ АЛЬЕНДЕ

Литературная деятельность Валерия Алексеева началась в конце 60-х годов, когда вышли в свет его повести «Люди Флинта», «Светлая личность», «Игра в жмурки», «Кот — золотой хвост», посвященные советской молодежи.

В дальнейшем герои Валерия Алексеева заметно «повзрослели». В повестях «Рог изобилия», «Эков дело», «Чуждый разум», «Удача по скрипке», «Гипноз детали» ставятся серьезные нравственные проблемы, затрагивающие интересы читателей всех возрастов.

В 1975 году в серии «Пламенные революционеры» вышла повесть Валерия Алексеева «Улыбка навсегда», посвященная национальному герою Греции Никосу Белидису.

Повесть о Сальвадоре Альенде — новое обращение Валерия Алексеева к художественно-документальному жанру.

На фоне бурных событий последних месяцев Народного единства в Чили прослеживается и ретроспективным плане процесс становления Альенде как политического деятеля, демократа, одного из руководителей блока левых сил. Картина расстановки социальных сил накануне фашистского переворота 11 сентября 1973 года дается через конкретные судьбы главных и второстепенных героев, но центром повести остается благородная фигура Президента Республики Чили Сальвадора Альенде, отдавшего жизнь в борьбе за правое дело.

Зимним утром 29 июня 1973 года в Сантьяго выпал снег. Выпал, чтобы тут же растаять: температура была около нуля. Улицы и площади, едва успев побелеть, вновь черно заблестели от влаги. Низкие дымные облака тянулись над городом, склоны гор и даже верхушки высоких зданий были скрыты в серо-синей мгле. Дул сильный, но вьющий ветер, мелко сеялся дождь, и карабинеры под аркой главного входа Ла Монеды пожимались от холода. Полы их коротких шинелей торжились на ветру, каски были покрыты изморозью.

В самом здании было еще холоднее: толстые стены казались сделанными из окаменелого льда. В помещении генерального секретариата на первом этаже сидели ночные дежурные — Сара Новак из молодежной организации социалистической партии и Каролина Сото из редакции газеты «Сингло». Не зажигая света, они коротали последние часы своего дежурства в разговоре, а точнее — в споре. Каролина зябко куталась в пончо, на ее подруге был грубошерстный свитер. В комнате клубился табачный дым: Сара непрерывно курила. Резкая, угловатая, с румянцем на щеках, она казалась намного старше своей миловидной подруги, да и вела себя как старшая. Собственно, весь спор их сводился к тому, что Сара гневно порицала Каролину, а та сбивчиво и нутано оправдывалась.

— Не понимаю, зачем тебе это нужно! Недоучка, сытый, избалованный дилетант. Да к тому же ханжа и святоша. Вас разделяет пропасть, неужели ты настолько слепа, что этого не видишь? Он привык жить в праздности, а ведь у тебя — острое перо, блестящее будущее. Поверь, он постарается сломать тебе жизнь. Наверно, уже ставил ультиматумы: или — или?

— Нет, — смущенно отвечала Каролина. — До этого еще не дошло. Но послунай, Сарита, нельзя же быть такой детерминисткой. Из одного просхождения не следует...

— Следует, дорогая моя! С неизбежностью следует. Богатство делает их злобными импотентами.

Речь шла о знакомом Каролины, которого Сарита упорно называла «твой жених». Сесар Марин, художник-любитель, аполитичный «молодой человек средних лет», был сыном депутата от христианско-демократической партии дона Херардо Марин Эррасуриса — иными словами, принадлежал к клану тех, кого Сарита именovala «физиологическими реакционерами». Каролина придерживалась иного мнения, ее значительно больше беспокоила религиозность «жениха», имевшая, впрочем, скорее эстетическую, чем философскую подкладку. Дружба Каролины с Сесаром, противоречивая, но прочная, с разговорами и непременными примирениями, продолжалась уже около года, и это вызывало негодование подруги. Сарита пережила в свое время серьезную личную драму: ее муж уехал в Аргентину, захватив с собою ребенка и обвинив ее на прощанье во всех мыслимых пороках, тягчайшим из которых была названа нетерпимость. Поэтому теперь, с высокой своего опыта, Сарита предостерегала свою более юную (как ей казалось) подругу от повторения той же ошибки.

— Ты пойми, — говорила она, ожесточенно дымя, — жизнь ставит каждому человеку на пути несколько глав-

пых ловушек. Сумеешь их избежать — твоя жизнь сделана, не сумеешь — пропала.

Каролине нравились такие разговоры — хотя бы потому, что, выслушивая свои сомнения, так сказать, извне, она убеждалась в их безосновательности: Сесар был совсем не таким, каким его видела подруга. Если бы Сарита знала об этом, она изменила бы тактику или, что вероятнее, махнула бы на Каролину рукой: поступай, моя, как знаешь. Но в гордыне своей она полагала, что Каролина отступает и меняет свою жизненную позицию под напором ее несокрушимой логики. Такое представление льстило самолюбию Сариты, вот почему обе подруги находили в этом откровенном разговоре истинное удовольствие.

Во дворце стояла гулкая тишина. Наверху, в кабинетах, подремывали другие дежурные, в крыле министерства внутренних дел у перетоворного устройства, соединявшего Ла Монеду с резиденцией президента, бодрствовал начальник Управления службы расследований Альфредо Жуаньян, у себя в кабинете работал заместитель министра внутренних дел Даниэль Вергара. О неизбежности мятежа поговаривали уже давно. Одно время компания молодых бездельников повадилась звонить в Ла Монеду и пугать почтовых дежурных сообщениями о передвижениях войск, но потом шутики нашли себе какое-то другое развлечение. Постепенно острота опасности притупилась, и люди во дворце не чувствовали себя, как в пороховом погребе.

Между тем рассвело. Толстые прутья железных решеток, которыми были забраны окна первого этажа, потемнели на фоне светло-серого неба, и в помещении стало как будто еще холоднее.

— Послушай, кто-то подъезжает, — сказала вдруг Каролина и посмотрела на часы. — Неужели Тата, в такую рань?

Сарита погасила сигарету о край массивной медной пепельницы и, вытянув тонкую шею, замерла.

На площади рокотали моторы.

Сарита подошла к окну, приподнялась на цыпочки и выглянула на площадь.

— Мамасита чола,— отчего-то шепотом сказала она.— Мамочка моя!

Каролина тоже подтянулась, но ничего не увидела. Она была меньше ростом, чем Сарита, а окно утопало в нише толстой стены, и, сколько ни тянись, можно было разглядеть только верхние этажи окружавших площадь Конституции зданий: справа Центральный банк, напротив — редакция газеты «Насльон», слева — министерство экономики и отель «Каррерас». Однако она слышала, как просторная коробка Ла Монеды наполняется гулом, и чувствовала, как дрожит под ногами пол.

— Да что там такое? — спросила она с тревогой, боясь услышать определенный ответ.

Сарита досадливо дернула плечом. Привстав на цыпочки, она напряженно смотрела на площадь.

Тогда Каролина подставила стул, взобралась на него — и увидела танки. Они туго и озабоченно ползли по безлюдной площади. Один из них двигался прямо к главному входу, другой, скрежеща неподвижною гусеницей, разворачивался левее и чуть поодаль, за седую от влаги зеленью, третий шел вдоль фасада «Насльон», одновременно поворачивая в сторону дворца свою приплюснутую, как голова рептилии, башню. В самом передвижении машин не было еще видно ничего угрожающего, как будто езда по площади возле президентского дворца входила в какой-то утренний ритуал, но танк, который нацелился на арку главного входа, подполз уже слишком близко, и жерло его расчехленного орудия зияло. Сейчас выхлест жаром, полопаются стекла, каменные крошки брызнут в лицо... Каролина даже зажмурилась.

Три года назад здесь стояли танки — в ту ночь, когда объявлено было о победе Альенде, по площади тогда ки-

цела народом, и танки, окруженные толпою, казались обреченными на вечную неподвижность, как памятники минувшей войны.

Каролина вопросительно посмотрела на Сариту.

— Ну, затыкай уши, Лина,— сказала подруга, обернувшись, глаза ее возбужденно блестели,— сейчас будет бой.

— Надо сказать Вергаре,— проговорила Каролина, испуганная скорее этой веселостью, чем видом боевых машин.

— Я думаю, Вергара и сам не глухой,— ответила Сарита и закурила новую сигарету.

В коридоре послышались шаги, и Каролина поспешно прыгнула со стула. В помещение секретариата вошел лейтенант Рейес, за ним — два карабинера. По сравнению с подчиненными лейтенант был одет щеголевато: темно-зеленый китель, белая сорочка, черный галстук, фуражка с лакированным козырьком.

— Прошу прощения за беспокойство, сеньориты,— галантно сказал лейтенант,— но буду вынужден попросить вас спуститься в подвал.

Рейес махнул рукой, карабинеры, пригнувшись, с винтовками в руках, перебежали через комнату и встали возле оконных рам.

— Мы вам не мешаем,— возразила Сарита, не терпевшая проявлений власти.— Располагайтесь, как у себя дома.

— Я повторяю, сеньориты,— твердо ответил лейтенант,— нам здесь не место, вы должны немедленно спуститься в подвал.

Он хотел что-то добавить, но с улицы донесся усиленный репродуктором голос, под окнами кто-то пробежал, и лейтенант кинулся в вестибюль.

В комнату заглянул Вергара. Его узкое худое лицо было бесстрастно, как у индейца, губы сосредоточенно сжаты,

— Митеж? — спросила Сарита. — Танкасо?

Слово явилось к ней неожиданно, по аналогии с давним митежом полка «Такна», который был назван «Такнасо». Сарита еще не знала, что она дала событию имя, которое переживает ее самое. «Такнасо» — «Танкасо», «Танкетасо»...

Вергара никогда не отвечал сразу, он как бы с трудом подбирая слова.

— Посмотрим, — сказал он отрывисто, — посмотрим, что они затевают.

— А президент уже знает? — спросила Каролина.

Вергара молча взглянул на нее.

— Пехоты не видно? — спросил он, обращаясь к карабинерам.

— Не видно, — ответил один, выглянув в окно. — По крышам, правда, бегают... но это штатские.

— Штатские, — повторил Вергара. — Ну что ж, тем хуже для сеньора Родригеса.

Вергара имел в виду адвоката Пабло Родригеса, руководителя фашистской организации ПИД («Патриа и либертад»).

Он посмотрел на притихших женщин и, проговорив: «Немедленно в укрытие!» — вышел.

— Пойдем, Липа, — сказала Сарита. — Жаль, что нас не учили стрелять.

Один из карабинеров, ухмыльнувшись, проводил их взглядом и хотел было прокомментировать эти слова, но снаружи вновь послышались резкие голоса, и он забыл о своем намерении.

Каролина и Сара вышли в вестибюль. Навстречу им, цокая металлическими подковами армейских ботинок, двое карабинеров тащили тяжелый пулемет.

Из-под арки входа со стороны площади Бульнеса (здесь был сквозной проход через дворен) тянуло сыростью и бензиновой гарью. На ступенях стоял лейтенант Рейес.

— Эй, остолоны! — кричал он в сторону площади. — Какого черта вы здесь портите воздух? Езжайте на полигон!

Когда женщины подошли ближе, они увидели, что напротив входа выстроились в ряд три тяжелых танка. Орудия их были наведены прямо на арку, под которой стоял лейтенант.

— Езжайте на полигон! — повторил он, энергично махнув рукой.

— Так они тебя и послушались, — пробормотала Сарита. — Что это, стадо коров?

Рев моторов, от которого загудел весь вестибюль, заглушил ее последние слова. Карабинеры, толпившиеся под аркой, кинулись укрываться за выступами стен. Один только Рейес стоял на ступенях, не двигаясь.

Танки продвинулись еще метров на десять, затем наступила тишина, и металлический голос произнес:

— Командир второго бронетанкового Супер приказывает: всем вооруженным лицам во дворце во избежание кровопролития немедленно сложить оружие. Флаг президента спустить. Беспрепятственный выход из дворца гарантируется.

Голос доносился из закрытого автофургона, стоявшего чуть поодаль, возле чаши фонтана.

Подбежавший солдат протянул Рейесу мегафон.

— Гвардия умирает, но не сдается, дерьмо! — отчетливо и звонко произнес Рейес.

Сарита захлопала в ладоши.

— Браво! — крикнула она. — Вот это ответ!

И тут по стене дворца как будто хлестнуло железной цепью. Зазвенели стекла.

— Бежим! — Сарита схватила Каролину за руку и потащила ее за собой.

Они оказались вновь в помещении генерального секретариата. Все здание было наполнено грохотом.

— Что делают, негодяи! — крикнула Сарита.

Карabinieri стреляли непрерывно, не оборачиваясь. На полу звенели гильзы, в воздухе стояла пороховая снь.

— Сейчас из пушек начнут! — кричала на ухо Каролина Сарита.

«Не посмеют», — хотела ответить Каролина, но не успела: зазвонил телефон. Этот комнатный звук так не вязался с той дикостью, которая вокруг творилась, что вначале они даже не поняли, что звенит. Карабинер — тот самый, который все ухмылялся, — повернул окровавленное, в порезах лицо и вдруг, резко дернув головой, отвалился от стены.

— Ой! — вскрикнула Каролина. Это детское восклицание вырвалось у нее непроизвольно.

Карабинер падал медленно, все его тело сопротивлялось падению. Потом рухнул на пол и остался лежать ничком. Второй, покосившись на него, хрипло выдохнул: «Мьерколес!» Он хотел выругаться, но из уважения к сензоритам заменил неблагозвучное слово другим, более употребительным, и продолжал стрелять, целясь вверх.

Сарита опустилась на колени рядом с упавшим, а телефон продолжал звонить.

— Да заткни ты ему глотку! — крикнула Сарита, держа голову карабинера на коленях.

Каролина схватила трубку и, не совсем понимая, что делает, поднесла ее к уху.

— Ола, Пирусита! — раздался бодрый голос Сесара. — Что у вас там?

Пирусита — это было уменьшительное от детского псевдонима Нья Пируса, которым Каролина подписывалась в школьной газете. Имя прикилось, и все, кто любил Каролину, называли ее так.

— Пока все в порядке, — еле шевеля губами, проговорила Каролина.

— Да, но я слышу — стреляют! — отчего-то обиженно прокричал Сесар.

Каролина молчала.

— Ну, ладно. Я помогу тебе выбраться. Сейчас я на Аламеде. Через пять минут буду.

— Ты с ума сошел! — крикнула Каролина. — Тут же танки кругом!

— Ну, так что? Не станут же они стрелять по «той-те»! — весело возразил Сесар. — Для них я свой. Не волнуйся!

И Каролина услышала гудки. Какое-то время она стояла, держа трубку в руках. Потом до нее донесся голос Сариты.

— Ты мне поможешь или нет? — кричала она.

2

В резиденции Альянде на улице Томаса Мора просыпалось рано. Президент вставал около шести. Делал на веранде зарядку, принимал душ и садился в библиотеке работать. В небольших коттеджах на территории сада начиналась деловитая беготня — поднимались на дневные дежурства, готовились к выезду в Ла Монеду бойцы ГАП (Группо де амнигос персоналес), личной охраны президента.

В этом тихом монастырском уголке города зимний холод не ощущался так остро: здесь не было широких открытых пространств, где мог бы разгуляться ледяной ветер, и даже утренний снежок, тонким слоем лежавший на траве меж деревьями, был похож скорее на обильную седую росу и напоминал о летних сельских рассветах где-нибудь в окрестностях Темуко.

В шесть утра заступил на дежурство Рамон. Рослый, сутуловатый (друзья в шутку звали его Патучо — «коротышка», оттого что в ГАП был еще один Рамон, человек вполне среднего роста, которому, из уважения к его поч-

тенному, около сорока, возрасту, прозвища не давали). Патучо стоял в центре проходной и энергично взмахивал руками, чтобы разогреться после сна, на что команданте Хосе, заглянув в дверь с улицы, счел пущим заметить:

— Ишь, какой ветер поднял. Прямо орел.

Оба в штатском (Рамон в пиджаке поверх свитера, Хосе в стеганой нейлоновой куртке с намотанным на шею толстым шарфом), они были бы похожи на поднявшихся спозаранку деревенских парней, если бы не что-то неуловимое солдатское в их выправке, поведении и речи, выдававшее привычку к оружию и дисциплине.

— Опять всю ночь гулял? — спросил Рамон, посмотрев на осунувшееся лицо команданте. — Шел бы ты спать, грузовиков сегодня не будет.

Речь шла о том, что в кругах, близких к ГАП, называли «грузовиками Оливареса». Директор Национального канала телевидения Аугусто Оливарес часто предупреждал ребят из ГАП, с которыми очень дружил: «В день переворота к столице пойдут армейские грузовики из провинции. Пока их нет, можете спать спокойно».

— Какой там сон, — устало ответил Хосе. — В танковых частях вчера полковника сменили, а полковники, знаешь ли, этого не любят. Полковники любят полками командовать.

— Но теперь-то уж все?

— Теперь — конечно, — Хосе усмехнулся. — Раз уж Патучо заступил, все будет в полном порядке. Вот только побреюсь и пойду... — он потер подбородок. — Скоро Тата вызовет.

Коротко звякнул телефон. Рамон присел на край стола, взял трубку.

— Слушаю, — он быстро взглянул на Хосе. — Да, да, понятно. Есть, соединяю.

Соединил напрямую, бережно положил трубку на рычаг.

— Что, дождались все-таки грузовичков? — бесстрастно спросил команданте.

— Хуже, — буркнул Рамон. — Твой полковник шлет тебе привет. Окружает танками дворец, сейчас будет лупить из пулеметов.

— Ка-а-а-а-а-а-а-а, — топким голосом протянул Хосе, как это делают аргентинцы, когда они неприятно удивлены. — Надо же, так и не успею побриться.

Оба они не двигались с места: Рамон, свесив на пол длинные ноги, сидел на столе, а Хосе напряженно вслушивался, стоя возле двери, ведущей к веранде.

— Объявлять тревогу? — спросил, не выдержав, Рамон.

— Погоди, Тата сам скажет.

И топо, через минуту в репродукторе, стоящем на столе, послышался треск, и глуховатый голос президента произнес:

— Хосе немедленно в кабинет.

Команданте послешно стянул с шеи шарф, одернул куртку, мельком взглянул на свои разбухшие от хождения по сырой траве ботинки.

— Командиров групп подними, — коротко бросил он Рамону. — Пускай подождут меня здесь.

Когда Хосе вошел в кабинет, Альенде, стоя к двери вполоборота, разговаривал по телефону. Среднего роста, плотный и в то же время подтянутый, гладко выбритый, с аккуратно подстриженными седыми усами. Белая сорочка с расстегнутым не по-зимнему воротом, на плечи накинута домашняя синяя куртка. Если бы не морщинистая шея, трудно было бы поверить, что три дня назад этому человеку исполнилось шестьдесят пять лет.

Не прекращая разговора, Альенде холодно и недобро взглянул на Хосе сквозь очки, жестом разрешил ему остаться.

— Генерал, вы, видимо, располагаете более полными сведениями...

Пауза. Мучительно щурясь и по-детски обиженно поджимая тонкие губы, президент слушал собеседника — вероятно, командующего сухопутными войсками Карлоса Пратса.

— Да, это мне уже известно. И насколько широко?.. На что же они могут рассчитывать? Понимаю. Какие меры уже приняты?

Снова долгая пауза, и снова Альенде взглянул на Хосе. На этот раз в его глазах мелькнула искра улыбки — как будто он только что увидел начальника охраны.

— Хорошо, хорошо, — нетерпеливо сказал Альенде собеседнику. — Держите меня в курсе дела. Хорошо. Желаю удачи.

Положив трубку, Альенде некоторое время задумчиво смотрел на телефонный аппарат, потирая указательным пальцем свой крупный мясистый нос, затем повернулся к Хосе.

— В городе мятеж, — будничным голосом сказал он. — Подробности узнаешь у Вергары.

Должно быть, Хосе машинально переступил с ноги на ногу, потому что Альенде вдруг замолчал и, внимательно посмотрев ему в лицо, улыбнулся.

— Преторианцы устали бездельничать, рвутся в бой, — сказал он. — Нет, друг мой, но сейчас. Куда же мы поведем в самое пекло? Кстати, скоро к нам подойдут тапкетки от Сепульведы, встанут у ворот резиденции. Дождемся конца перестрелки — и тогда в путь. Только ты уж побрейся.

— Виноват, товарищ президент, — сконфуженно ответил Хосе. — Разрешите в сопровождении включить еще одного пулеметчика. «Пилу» установим на «пикапе», так будет вернее.

— Логично, Хосе, логично, — ответил Альенде.

Оставшись один, он подошел к столу, постоял, опершись руками о холодную гладкую крышку. Лицо его стало насмущным и старым.

Вот и случилось, сказал он себе. Вот и случилось...

Здесь, в кабинете, была тишина, но эта тишина грохотала. Сдвинулась железная лавина, и, может быть, в эту минуту дыбятся плиты мостовых, содрогаются ветхие бараки пригородов... Теоретическая посылка «Мирный путь себя исчерпал» обращается в танково-пулеметную явь.

Подумать только, еще вчера Харпы и Эдвардсы шумели: «Самозаговор! Мнимый мятеж! Запугивание призраком!» В сенате осыпали оскорблениями министра обороны Хосе Тоа, который пытался доложить отцам-законодателям о планах путчистов. Они хотели, чтобы человек с именной фамилией «Супер» свалился как снег на голову и, припугнув пулеметами, принялся трясти груши.

А ведь все это уже было. Такое же серое утро, тревожная беготня во дворе, первые телефонные звонки... и кто-то, спокойный и сумрачный, стоял в ожидании за своим рабочим столом.

Да, это было, в августе тридцать девятого, полжизни назад. Телефонный звонок поднял его, молодого, не знающего ни усталости, ни бессонницы, ни тяжелого сердцебиения по утрам: «Товарищ заместитель генерального секретаря! Докладывает начальник поста социалистической милиции в Кинта Нормаль. Пушки на перекрестках, товарищ! Центр окружен...»

Сочный голос из репродуктора, весь пропитанный ликованием силы: «Мы, артиллеристы чилийской армии, призываем доблестные вооруженные силы последовать вашему примеру и восстать во имя родины, по зову истории, чтобы покончить с коммунистическим правительством так называемого Народного фронта!»

Пальцы и сейчас ощущают грубую ткань гимнастерки с петлицами, на которых две буквы «МС» — «милисиа социалиста»... узкие холодные ремни португез, туго охватывающие грудь. В руках — пилотка, кобура с револьвером

застегивается уже на ходу, и — бегом по лестнице вниз, на сырую дорогу, в августовский предвесенний туман.

Мелкий дождик, потрепанная машина с запасным колесом на крыле... покрывка ежевика, меняли вчера на обратном пути из Вальпарайсо... Солдаты копошатся возле орудий, развернутых в сторону центра... наскоро сооруженные брустверы. «Машина секретариата социалистической партии!» «Давай, кати, — ухмыляется щербатый капрал. — Чем больше нас там соберется, тем лучше! Чтоб не искать по всему городу».

Не удержавшись по молодости (товарищи пытались отговорить: «Не связывайся, потом...»), приказал остановить машину, выскочил, яростно хлопнув дверцей, подошел. Солдатский гогот смолк, капрал медленно повернулся. «Фамилия? Из какой части?» «Капрал Вернани, артиллерийский полк «Такна», — нехотя ответил щербатый. «Забыл о присяге, капрал?» Молчание, подбородок капрала угрожающе, как у Муссолини, выпятился. Рука сама тянется к кобуре, но — нельзя: спокойствие, Чичо, спокойствие. «Не слышу ответа, капрал Вернани». «Вот что, милосердно, — сквозь зубы процедил щербатый, — пилотка еще не делает тебя офицером, и отчитываться перед тобой я не намерен. Таких, как ты, давят гусеницами по всей Европе и здесь будут давить. Так что езжай своей дорогой, сиди во дворце и жди генерала Ибаньеса».

То были дни, когда Карлос Ибаньес дель Кампо, называвший себя «Муссолини Нового Света», решил сыграть на предчувствии мировой войны. В далекой Европе глянцевые, еще не битые Гитлер и Муссолини принимали парады таких же глянцево-воинских частей, фашизм издавна представлялся исполненной неодолимой силой, и не то что простоватый подунтальенец-капрал, многие весьма интеллигентные, сведущие в мировой политике и «прогрессивные» люди, упоминая Ибаньеса, многозначительно

прибавляли: «А знаете, в нем что-то есть... какая-то притягательная сверхчеловеческая сила...»

«Твоему генералу Ибаньесу место в камере уже отведено. Но и ты, капрал Бернали, не минуешь тюрьмы. Как мятежник и изменник родины. Это я тебе обещаю».

Время раздавать такие обещания было явно неподходящим, но тогда он вернулся к машине очень гордый собой: капрал ничего не ответил, и солдаты угрюмо молчали, но глазам их было видно, что беспокойно у них на душе, и как знать — быть может, в решающую минуту прицел этого орудия окажется неточным...

Крупным шагом, с раскатанной кобурой (оружие при входе к президенту полагалось сдавать охране) вошел он в кабинет. За столом — пожилой человек с малоподвижным учительским лицом, дон Педро... Педро Агирре Серда, президент Республики Чили.

Сколько же было дону Педро тогда? За шестьдесят, как сейчас самому Альенде. Но в глазах человека, только что разменявшего четвертый десяток, дон Педро был почтенным старцем. Жесток и насмешлива жизнь...

Взлощенный армейский адъютант, наклонившись, что-то шепчет на ухо дону Педро. Морщась, дон Педро снимает тяжелую телефонную трубку, некоторое время молча слушает, прижимая трубку к плечу.

— Передайте генералу, — внятно говорит он, — что президент республики не подчиняется мятежнику и не опозорит себя бегством из страны. Мой совет генералу, пока не поздно, самому воспользоваться этим самолетом. Повторю: пока не поздно.

Даже сейчас, через тридцать с лишним лет, легкий озноб восторга пробегает по спине, когда вспоминаются эти слова. Простота и достоинство — вот что его тогда потрясло. Отныне и навсегда Альенде знает, что в решающую минуту он не может, не имеет права вести себя по-иному. Это — голос судьбы.

Дон Педро повесил трубку, взглянул на застывшего от восторга Альенде, усмехнулся:

— Ну, генералиссимус Вальпараисо... что теперь?

Четко, по-военному Альенде доложил президенту, что коммуны Сан-Мигель, Ла Систерня, Кончали уже подпята на ноги, что рабочие отряды из Майну, Ла Гранха и Ренка выступают. Не меньше пятидесяти тысяч рабочих пройдут боевыми колоннами через весь город к центру.

Страдальчески шурясь, дон Педро смотрел ему в лицо. Президент как будто предчувствовал, что жить ему осталось недолго — недуг подтачивал его силы. Верил ли он тогда в триумфально марширующие рабочие отряды, о которых ему говорил Альенде? Трудно сказать...

Умеренный радикал, что в переводе с политического языка на нормальный, человеческий означает «стоящий на неопределенной осторожно-революционной платформе», дон Педро оценил и полюбил молодого Альенде во время своих предвыборных поездок в Вальпараисо, где Альенде был «генералиссимусом» избирательной кампании. Кандидат Народного фронта впервые увидел этот город таким, каким его знал Альенде: грязным, нищим, больным, пропитанным слезами и желчью. «С тобою рядом, Чичо, я головокружительно левеею», — шутливо говорил дон Педро. «Я слишком долго работал в морге этой райской долины, — отвечал Альенде, — и утвердился в убеждении, что капитализм тлетворен. Именно это на примере Вальпараисо я и хотел вам показать». Дон Педро смеялся: «Я был много мнения о целях предвыборной кампании. Впрочем, ты все равно своего не достиг. Для меня капитализм остается абстракцией, покой теоретической моделью отношений. А ты мне показываешь тысячи разнородных драм». «Все эти драмы объединяет одно, — возражал Альенде, — та самая модель отношений, при которых они и возможны».

Не стоит обольщаться мыслью, что революционные уроки «генералиссимуса Вальпараисо» серьезно повлияли

на убеждения дона Педро: теперь-то, на седьмом десятке, Альенде мог судить, насколько неподатливы старики в этом возрасте. К полевепию дона Педро толкала сама логика политической борьбы. И все же представление о многотысячных рабочих отрядах, идущих на выручку к Ла Монеде, скорее всего, казалось ему утопией.

А между тем колонны из Ла Систерны и Сан-Мигеля, Ла Грахия и Пуэнте Альто шли по улицам столицы, сметая на своем пути заслоны мятежников, переворачивая пушки и опрокидывая тягачи. И юный звонкий голос Тенчи кричал в телефонную трубку издалека, как из другого мира: «Чичо, любимый, они идут! Это море, море людей, Чичо! Ты уже знаешь? Ибаньес арестован! Вот — мимо окон, сплошной поток, солдаты и гражданские, гражданские и солдаты! Любимый, как я боялась за тебя!..»

Они еще не были тогда женаты...

Все повторяется теперь.. только вместо полутораторных грузовичков с распатантыми бортами — мощные бронемашинны, вместо прицепных пушчонок — танковые орудия и пулеметы. Рабочим отрядам уже не так просто пройти, может начаться бойня — кровавая и бессмысленная...

Правда, и армия уже не та, что во времена Народного фронта. Десятилетия непрерывного конституционного процесса сделали свое дело: все эти годышло «вертикальное» продвижение по выслуге лет никогда не воевавших офицеров, от присяги в военном училище к службе в провинциальных гарнизонах, от перевода в столицу к высшим командным постам. Нынешний генеральский корпус — креатура многолетнего гражданского мира, и высшее офицерство в большинстве своем заинтересовано в непрерывности конституционного процесса, выдвинувшего нынешних командующих на вершины военной карьеры. Чилийский генерал склонен отождествлять свою карьеру с торжеством конституции. Полковники же — нетерпеливы,

производство «но вертикали» их не устраивает, и вот пеккий Супер устал глядеть неподобья, устал метать угрозные молнии из-под ключковатых бровей. Он решил отменить степенную выслугу лет заодно с конституцией. Разумеется, это не его личная инициатива: крикуны из богатых районов Провиденсия, Лас Кондес, Витакуры, аристократички, раздраженные тем, что именно конституция принесла к власти Народное единство, гарантировали Суперу свое благословение. Они не верят в успех парламентской обструкции (пулеметная очередь им милее) и указующему персту председателя Верховного суда предпочли оружейное дуло... Супер страшен лишь оттого, что рядом с жерлами его пушек — оружие части Баррио Альто, всех тех, кто бесстыдно богат и желает оставаться бесстыдно богатым, кто глух к голосу совести, разума, даже инстинкта самосохранения.

Как не могут они понять, что в Чили полковник, даже самый «черный», — всего лишь подчиненный генеральского корпуса, и нетерпеливое честолюбие его — обречено, пока остался хоть один верный конституции командующий...

Открылась дверь, бесшумно вошла Тенча. Тщательно причесанная, одетая, как для выезда в город, красивая, чуть более бледная, чем обычно. Задумчивость мука, вероятно, ее встревожила.

— Знаешь, я как раз о тебе думал, — медленно проговорил Альенде. — Вспомнил наш с тобой тридцать девятый год.

Печально улыбувшись, Тенча подошла, обняла его за плечи.

— «Кабальеро не боится, что на него теперь обрушится небо?» — параспев, как это делают девчонки Вальпараисо, сказала она.

С этой фразы началось их знакомство в том счастливом и грозном году. Подземный толчок, повергший в прах

Консенсон и Чильяи, докатился до Сантьяго и заставил жителей высыпать из домов на улицы. Так в толпе оказались рядом молодой депутат парламента и студентка исторического факультета, поразившая дон Чичо своей лукавой итальянской красотой. Молодые люди поглядывали друг на друга с любопытством, как вдруг новый толчок землетрясения буквально бросил Тенчу к Альенде. «Рука судьбы, — шутил потом Чичо. — Громоздкое мероприятие дала природа для того, чтобы я смог заговорить с ненавистной девушкой на улице». В те годы нравы молодежи были куда более строгими, чем сейчас. Всего несколькими словами обменялись депутат и студентка тогда, а на другой день дон Чичо уже ходил по разрушенным улицам Чильяи и обсуждал с чиновниками муниципалитета меры по предупреждению эпидемий: надо было установить контроль над качеством питьевой воды, навести санитарный порядок в бараках... Но голос Тенчи звучал у него в ушах, и дон Чичо то и дело ловил себя на том, что задумчиво и просветленно улыбается...

— Да, это был славный год, — помолчав, сказал Альенде. — Мне запомнился день митинга Ибабьеси и Эрреры. Все было кончено, ты пробиралась сквозь толпу к Ла Монедо, а милиционеры тебя не пускали, и ты кричала: «Пропустите меня к Альенде!»

— Не правда, я просто колотила их кулаками по спине. А ты, бессердечный, смотрел из окна и смеялся...

Склонив голову, Альенде поцеловал ее руку, лежащую у него на плече.

— Ты что-нибудь хотела сказать? — помолчав, спросил он.

— Не знаю, мне показалось — шум у ворот, там какие-то танки. Но если ты спокоен...

— Не волнуйся, — мягко сказал Альенде. — Это от Сепульведы. Все идет хорошо.

— Значит, они не застали врасплох?

Альенде помедлил с ответом. Тенча отстранилась, пылливо вглядываясь в его лицо.

— Видишь ли,— проговорил Альенде,— к подлости нельзя быть все время готовым, это изнуриет. Подлость всегда застает врасплох.

— Я слушала радио. «Агрикультура» беспрерывно повторяет: «Запомните, сегодня двадцать девятое июня».

Щека Альенде коротко дернулась, как будто он усмехнулся уголком рта, краем усов. Но это была не усмешка, Тенча знала: это была гримаса подавленной ярости.

— Запомним,— сказал Альенде.— Но и они не забудут, слово чести.

— Ты веришь?

— Я знаю. Они решились на это от бессилия. Им больше не на что рассчитывать, кроме железа.

Альенде прислушался, потом спросил:

— Аугусто пришел?

— Давно уже,— ответила Тенча.— Такой смешной, одетый для войны. Он разговаривает с охраной. Позвать?

— Да, да, конечно. Он мне очень нужен.

Аугусто Оливарес меньше всего был похож на солдата: добродушный, высокий, усатый, как моряк, с мирным домашним животным. Сегодня он явился в резиденцию в оливковых армейских брюках, высоких ботинках и куртке милисиано.

— Вот, захватил с Кубы,— сказал он, сконфуженно пошмыгавшись.— Как будто знал, что пригодится.

Вид у него был и в самом деле забавный, и Альенде не мог удержаться от улыбки.

— Ну, ты мне нужен не для войны,— сказал он, отвернувшись, чтобы Аугусто не заметил его реакции.— Распорядись, чтобы все радиостанции передавали только правительственные сообщения. И пацнем записывать обращение к народу.

— Отсюда?

— Конечно, лучше было бы из дворца, по видишь, они нас опередили. Прате обещал к полудню очистить центр.

— Все ясно. Перро тебя понял.

Перро («нес») была кличка, которую придумал себе сам Оливарес. Его огорчало, что Альенде называл его так очень редко.

Впрочем, сегодня Оливарес действительно был похож на крупного, песклидного и в чем-то выповатого пса.

3

В рабочем районе Сан-Хуан, в равнинной части столицы, июньский утренний снежок таял медленнее, чем в центре, и когда Мануэла проснулась, за окном все было припорошено белым, а холод в комнате стоял такой, что странно было скинуть с себя нагретое за ночь одеяло.

Отец вот уже три дня был в дальнем рейсе, мачеха еще спала, широко размавав по свободной постели молодые полные белые руки: она не мерзла по ночам и вообще, как истая южанка, не ведала холода. Рядом, скорчившись в клубочек и уткнувшись матери носом под мышку, сопела маленькая Луэ: видно, перебралась на родительскую постель ночью, почувствовав, что мерзнет.

Дверь в смежную комнату была открыта, Мануэла видела, что постель Родольфо аккуратно застелена: то ли он не возвращался с вечера, то ли встал при светле зари. Последнее время с ним стало трудно: он был младше Мануэлы только на год и забыл те времена, когда откликался на имя Фито и ходил за нею повсюду, цепляясь за ее юбку. Теперь же, когда ему удалось отпустить жиденькую бородку, Мануэла перестала быть для него авторитетом. Мачеху он и раньше ни во что не ставил, а отец, когда-то грозная на него управа, поотвык в отъездах от сына и ведал уже, как к нему подступиться.

— Эй, Мария Эстела! — тихоенько позвала Мануэла, стараясь не разбудить Лус.

Мачехе было двадцать семь, а Мануэле девятнадцать, и, в сущности, они были подружками, Мануэла называла ее по имени, как это принято в деревне: не Мария, а Мария Эстела.

Отец привез Марию Эстелу шесть лет назад из деревни, с юга. Втолкнул в комнату рослую красивую девушку и сказал своим детям: «Вот вам новая мать». Потом внес тяжелую деревенскую скамейку и с грохотом поставил на пол, прибавив: «А это будет стоять здесь». Скамейка эта, широкая, обтянутая телячьей шкурой (на ней спала теперь Мануэла), была единственным приданым Марии Эстелы. Старшая сестра Каролина не пожелала с этим смириться, она слишком хорошо помнила родную маму, да к тому же была уже студенткой, и ушла в свою жизнь. Брат Гильермо завел себе какие-то знакомства и два года назад тоже отселился, но не молча, как Каролина, а с большим скандалом. Ну а Мануэла как была нянькой при маленьком Фито, так с Фито вместе и перешла к новой матери в наследство и даже полюбила Марию Эстелу за незлобивый, простодушный нрав. Новую сестренку свою Лус Мануэла тоже любила, и вот Лус-то как раз и называла ее «мама», так что слово это не совсем было забыто в доме Хесуса Сото Рампреса. Ну а маму свою родную Лус знала, как и Мануэла, полным деревенским именем.

Первое время Мария Эстела ничего не говорила, только плакала втихомолку: не такой она, видимо, представляла себе столицу, и не таким рисовалось ей жилье богача-камьонеро из Сантьяго, за которого выдавал себя Хесус. Настоящим камьонеро отец не был и до сих пор: на паях с одним парнем владел он потрепанным грузовичком. Может быть, рисовался Марии Эстеле двухэтажный домик в предгорьях, в Баррио Альто, весь увешанный внутри автомобильными покрывками — вместо деревенских лассо,

пшор и рогов, но при нынешних долгах Хесусу Сото Рамиресу едва хватало доходов на две комнатки близ Парадеро Очо, правда на улице со звучным названием Гран-Авенида. Отец Марии Эстелы продавал на север тюки прессованного кормового ячменя, а Хесус этот ячмень возил, так дело и сладилось.

Гран-Авенида в районе Парадеро Очо застроена была желтоватыми и затхлыми домами для многодетных семей. Те, кто здесь поселился, имели все основания не докучать господу жалобами: чуть поодаль, у шоссе, в дощатых «нобласьонес» жилось еще хуже. Там и в щели дуло, и дождями заливало, и окошки были затянуты полиэтиленовой пленкой, а здесь, слава богу, стены и окна — все как у людей, и крыша над головой, хоть и гнилая. И даже водопровод.

После школы Мануэла работала на текстильной фабрике Меру, в нескольких кварталах отсюда, на Парадеро Сьете. С приходом к власти Народного единства эта фабрика была экспроприирована, хотя и не входила в число двухсот крупнейших предприятий страны. Хозяин ее, француз, разбогатевший на поставках армейской амуниции, отбыл в Европу, и руководить фабрикой стал рабочий комитет, но называлась она еще по старинке — «фабрика Меру»: новое название не успели придумать. Часть зарплаты работникам выдавали натурой, надо было сбывать мануфактуру на рынке, этот порядок введен был еще в годы президентства Фрейя, и Мануэла, находившаяся под сильным влиянием старшей сестры Каролины, начала воевать за то, чтобы этот порядок изменить: «Нечего нам питать черный рынок!» Работницы ее не поддерживали, но на фабрике Мануэла стала заметным человеком. К ней прислушивались даже те, кто был вдвое старше ее.

В нынешнем году Мануэла собиралась на учебу в Гавану и по настоянию старшей сестры ушла с фабрики: надо было позаниматься, повторить школьный курс. Но

подруг своих фабричных не забывала и почти каждый вечер забегала на Меру. Оставались там у нее и комсомольские дела — от организации, которая рекомендовала ее на учебу.

Была Мануэла не то что дурнушкой, но пошла в отца, а дед Хесус красотою не отличался: плоский, узкоглазый, смугло-желтый — настоящий китаец, только горбоносый, с реденькими усами, которые росли по углам рта. Кругленькое смуглое личико Мануэлы было по-своему миловидно, на фабрике ее звали Чинита («китайка»), но сама она на свою внешность махнула рукой, не умела ни кокетничать, ни прихорашиваться, носила что полагало, говорила что вздумается, без лукавства, и если плакивала тайком по своим сердечным делам, то не рассказывала об этом даже Марии Эстеле.

Был такой в ее жизни период, когда секретарь ячейки Хайме Лавадос спился ей каждую ночь, и жизнь вдалеке от этого кудрявого, изящного, как девушка, паренька представлялась ей бессмысленной. А в один прекрасный день Хайме взял и женился. И что странно — в тот же день вся любовь Мануэлы кончилась, и теперь она могла свободно ехать хоть в Гавану, хоть в Антарктиду. Эта свобода не принесла бедной Чините радости, и, хотя Хайме Лавадос ей больше не спился, она разговаривала с ним подчеркнуто холодно и оскорбленно.

— Эй, Мария Эстела! — позвала Мануэла погромче.

Лус зашевелилась по сну, а матеха только всхрапнула. Делать нечего, придется подниматься одной. А забор по дому — край впечатлительный.

Вздохнув, Мануэла встала, надела старую юбку, натянула драпую вязаную кофту, набросила на плечи залоснившийся отцовский пиджак — и сразу стало теплее, сразу повеселела.

Подойшла к раковине в углу у двери, повернула кран — ни капли, ни звука. Бывало, что кран шипел, и имелась

надежда, что вода, хоть тонкой струйкой, пробьется. Постоила в раздумье, оглядела комнату: шикарные обои на углах пузырями, зеркальца, открытки с видами шикарного города Виньи-дель-Мар, где на всей семье бывал только отец, да и то проездом, с грузом... Большой красивый календарь — от Каролины. Увеличенные и оттого расплывчатые, как карандашные рисунки, фотографии мамы, Пия Пирусы, шикарное на матовой твердой бумаге с эмблемой студии фото Гильермо (беженые деньги, должно быть, хвостик заплатил)...

Братец Гильермо был уж совсем не красавец: личико сморщенное, как у обезьянки, огромные бакенбарды, едва улыбочка, тоскливые глаза. А болтун, а вурлашка: кто поверит, что какая-то красотка из Баррио Альто от него без ума, дочь сенатора, что ли. Впрочем, кто его знает, Мануэла плохо разбиралась в подобных делах.

— Ох, — сказала, проснувшись, но не открывая глаз, Мария Эстела, — что-то сон мне дурной приснился... Старика давно нету. Не завел ли кого на выезде? Он такой.

— Что ты говоришь-то, подумай! — возмутилась Мануэла. — С утра пораньше... Он же старый!

Мария Эстела усмехнулась.

— Много ты понимаешь...

Она не договорила, а могла бы договорить. Для нее Хесус был красавцем, от одного взгляда хоть падай с ног. Как падает саногн со шпорами, как возьмет в руки платочек да выйдет танцевать в круг... Здесь, в городе, разве танцуют! Вот родные дети его таким и не видели. А она его, может, за это и полюбила: он душой деревенский, простой.

Говорят, в деревне люди поднимаются с солнышком: раз-два — и уже на полях. Но, наверно, деревня у Марии Эстелы была особая, потому что мачеха умела вставать так спешно, что к обеду ходила вроде как бы со сна. Часами могла бродить в пижаме белее, хватаясь то за то,

то за другое, похвастывалась, похвастывалась, рассказывала всем, кто попадется, обильные и богатые сны. Впрочем, лептливой ее нельзя было назвать: и готовка, и стирка, и мытье, и шитье — все у нее в руках спорилось после полудня. А кукурузную кашу с сушеными фруктами она умела готовить так, что даже Гильермо не брезговал, унысывал за обе щеки.

Вот и сегодня: в илжней юбке, со спущенной лямкой рубахи, печесаная, вялая, бродила Мария Эстела из угла в угол, держа отчего-то в руке пустую коробку из-под стирального порошка «Ринсо», и рассказывала Мануэле свой длинный запутанный сон.

— И вот будто озеро, холодное-прехолодное, даже издали видно, а к берегу не подойдешь, все болотом затянуто, и стоит на краю болота одно толстое дерево, все крученое, старое...

В снах Мария Эстелы непременно с живостью выступали ее родные края, по которым она в глубине своей сонной души тосковала.

— И торчит из воды кузов нашего грузовика. А на кузове, на борту, сидит наш старик, свесив ноги босые, и курит. «Ах ты, — кричу я ему, — старый ты дурень, как тебя туда занесло?» А вода кругом белая, как молоко, и сидит он посреди и смеется...

Вдруг Мария Эстела умолкла.

— Что ты смотришь так на меня? — удивленно спросила она Мануэлу.

— Ты красивая, — пробормотала застигнутая врасплох Чинита и сконфузилась.

Мария Эстела подошла к ней, обняла, так они постояли, помолчали.

— Да, ему все смех, — сердито сказала как ни в чем не бывало Мария Эстела и, отпустив, даже оттолкнув падчерицу, подошла к шкафу. — Уехал, и в ус не дует, а у нас тут майная крупа копчилась, чесноку больше нет,

одна фасоль, да и та белая, ее за неделю не сварить. Что готовить будем?

— Ты придумаешь,— сказала Мануэла.

И в это время издали послышался знакомый мощный гудок. Обе женщины встрепетали.

— Не у вас ли гудят? — спросила Мария Эстела.

— Пойду сбегать,— сказала Чинита.— Может, загорелось что... А может, подожгли.

— Да зачем тебе? — удивилась мачеха.— Ты же все равно уезжаешь!

— Ах, какая ты... — с досадой проговорила Мануэла, села на скамью и стала обуваться.

Тут в комнату влетел Родольфо. Запыхавшись, чуть не падая на мачеху, убежал в свою комнату, схватил парусиновую куртку, опрометью бросился к дверям. Остановился на пороге:

— Ничего не знаете, куры! Бегите, слушайте радио!

— А что такое? — улавлившим голосом спросила Чинита, уже зная.

— Мятееж, Ла Монеду штурмуют танки! Альянде отдал приказ занимать вокзалы и аэропорты, а вы тут чешетесь...

— Вокзалы и аэропорты? — растерянно переспросила Мануэла.

— Проклятие! — рявкнул Родольфо.— Ну, сколько можно объяснять? Вокзалы, аэропорты, фабрики, телефонные станции — все!

— А ты куда?

— К ребятам, в кальямпу. У них оружие... не то что у вас!

И Родольфо выскочил за дверь.

— Господи, мятееж... — растерянно проговорила Мария Эстела.— И что людям неймется?

Молча взглянув на нее, Мануэла выбежала вон.

На улице она ожидала увидеть солдат в грузовиках,

танки, патрульные джипы. Но ничего этого не было. Холодная, замусоренная Грап-Авенида была почти пуста. Редкие прохожие шли, а кто и бежал, все в одну сторону — к фабрике Леру, которая кормила весь этот район.

От самой Парадеро Съете слышалась музыка: над воротами фабрики, как во время праздника, висели репродукторы, гремевшие маршами и песнями Народного единства. Но сегодня от этих песен, казалось, чернело небо.

На площадке у ворот толпились работницы, конторские служащие, домохозяйки с малышами, старики и старики, подростки из соседнего поселка, носившего имя Гевары, торговцы из местных лавчонок, водители автобусов. Не всех призвал сюда фабричный гудок: многие ждали автобусов, но шоферы не торопились уезжать. С ними в стороне беседовал Хайме Лавадос.

— Ола, Чивита, — сказал он, махнув рукой Мануэле, и продолжал разговор.

Как бы Хайме ни был занят, он всегда замечал появление Чивиты и давал ей об этом знать улыбкой или ласковым словом.

Ну, конечно же, догадалась Мануэла, шоферы сейчас важный народ: автобусы могут понадобиться в любую минуту.

Возле проходной сооружена была временная трибуна — помост из досок и пустых ящиков, по обе стороны которой стояли бойцы социалистической партии в униформах и шлемах, с бамбуковыми палками в руках, как во время демонстраций. На помосте под знаменами партий Народного единства возбужденно переговаривались, поглядывая на репродукторы, несколько человек: члены комитета бдительности, секретари партийных групп, представители фабричной администрации.

Неожиданно репродукторы смолкли, наступила гулкая тишина.

— Товарищи! — хриплым сорванным голосом сказал в микрофон человек от КУТ (Единого профцентра трудящихся). — Только что нам сообщили, что мобилизация по призыву КУТ и правительства проходит успешно. Тридцать тысяч производственных и служебных объектов по всей стране сейчас находятся под контролем народа. Таков наш рабочий ответ изменникам в военных муштрах. Никто еще не выигрывал войны с целым народом, никто! И если будет надо, мы бросим к стенам Ла Монеды рабочие дружины. Единый народ — непобедим! Слово имеет представитель коммунистической молодежи товарищ Хайме Лавадос.

Услышав свое имя, Хайме дружески хлопнул по плечу беседовавшего с ним шофера и быстро пошел к трибуне. Он двигался в гуще толпы так свободно, как будто на пути его никто не стоял, — и при этом умудрился еще обмениваться веселыми репликами с девочками. Год назад Мануэла умерла бы от ревности, но сейчас она просто им любовалась: да, этот парень был рожден для митингов и демонстраций, он был счастлив в толпе. Легким прыжком Хайме оказался на трибуне, пригладил волосы, улыбнулся своей медовой улыбкой, отступил на шаг и, сунув руки в карманы узких белесых джинсов, заговорил.

— Товарищи! Давайте разберемся, что привело нас сюда, что мешает нам разойтись по домам, к своим семьям и своим очагам. Тревога за судьбы родины — это верно. За наше с вами будущее, которое определяется сейчас у стен Ла Монеды, — тоже правильно. Тревога за народную власть. А что такое для нас с вами, товарищи, народная власть? Десяток семей контролировал всю экономику нашей родины, — мы с этим покончили. Вся тяжесть финансовой политики государства ложилась на плечи бедноты — в то время как олигархи наживали колоссальные богатства, — мы с этим покончили. Десятки тысяч безземельных крестьян с рождения и до смерти были обречены

на пицету,— мы с этим покончили. Медь, уголь, железная руда и селитра наших гигантских рудников — все это хищнически разграблялось высокомерными иностранцами,— мы с этим покончили. Чилийские дети сотнями и сотнями гибли от недоедания,— мы покончили и с этим, теперь каждый ребенок в нашей стране ежедневно получает поллитра молока, это немного, конечно, но ведь нельзя забывать, что своего молока нам не хватает, мы закупим для детей молоко за границей, что обходится нам в десять миллионов долларов в год! Богач, олигарх, латифундист, преуспевающий адвокат, модный врач — все эти люди купались в роскоши, в то время как трудящиеся получали жалкие гроши,— мы с этим покончили. Не пайдется такого предприятия в нашей стране, где зарплата за годы Народного единства...

Что такое? Мануэла встрепелась. Неужели Хайме (да еще в такой день!) счел возможным вернуться к этой спорной болезненной теме?

— ...не была бы увеличена на пятьдесят, а то и более процентов! — звенящим голосом выкрикивал Хайме. — Голодный пролетарий с пустыми карманами, бредущий вдоль сверкающих магазинных витрин,— это картинка из невозвратного прошлого! Теперь проблема в корне иная: нередко в магазинах не хватает товаров, чтобы удовлетворить...

Этого Чинита уже не могла вынести.

— Неправильно! — закричала она. — Неправильно ты говоришь!

И, расталкивая людей локтями, она ринулась вперед к трибуне.

Люди расступались перед Чинитой, переговариваясь: «Кто это? Дочка дона Хесуса? Так ведь она уехала учиться в Москву! Да нет, вот-вот уезжает, и не в Москву, а в Гавану. Что ж, не могла она, что ли, одеться получше?» Так говорили люди, а может быть, это Мануэла только





казалось. И, не стыдясь своей обвинительной домашней юбки, отцовского индиака, она подпрыгнула на помост.

— Неправильно ты говоришь, товарищ Лавадос! — гневно сказала Чипита, вырывая из рук Хайме Лавадоса микрофон. — Не время сейчас хвастаться такими вещами, которых следовало бы стыдиться!..

— Какие вещи? — растерянно спросил Хайме. — О чем ты говоришь, товарищ Сото?

— О зарплате! — выкрикнули из толпы.

— Вот именно! — Мануэла полностью завладела микрофоном, отстранила Лавадоса, подошла к самому краю помоста. — Вот именно об этом я и хотела сказать!

— Знаем, знаем! — зашумели внизу.

— Дайте ей говорить!

— Опять Китайка села на своего конька!

— Пусть говорит!

Хайме, покраснев, развел руками и отступил к группе руководителей.

— Я скажу! — крикнула Мануэла. — Я все-таки скажу! И к сегодняшнему мятежу это имеет прямое отношение! Пустые магазины, пачки денег в карманах пролетариев... экое достижение народной власти! Но достижение это, а козырь в руках мятежников! Нельзя так потребительски, так преступно относиться к народному государству, как относимся мы! Требуя повышения зарплат на пятьдесят... да что там — отчего не на сто пятьдесят процентов? И сегодня, сейчас, ведь власть-то народная!.. Так поступая, мы проедаем народное достоиние! Вот что мы делаем! И не надо выдавать это за достижение народной власти! Не достижение это, а слабость! Товарищ Альенде идет нам навстречу, потому что он не может иначе, но мы-то можем иначе, товарищ Лавадос! Можем! И должны! Вот здесь, на Леру! Еще не добились того уровня производства, который был при французах...

Кто-то дернул ее за рукав пиджака. Мануэла отмахнулась локтем.

— Не мешайте, я все равно скажу! Но добились, я знаю! Снизили все показатели, а требуем повышения зарплаты на сорок процентов, во второй уже раз! С чего это? С каких это прибылей?

— Ей деньги не нужны! — насмешливо крикнул кто-то. — Она уезжает к Фиделю!

— А не пускать ее, если так! Пусть поработает еще годик на старой зарплате!

Вновь Мануэлу потянули за рукав. Резко обернувшись, раздумывая, с затуманенными глазами, она с трудом узнала Хайме Лавадосу.

— Чина, ты не о том, — сказал он вполголоса. — Не время и не место!

Чипита крикнула в микрофон: «Нет, время! Нет, место!» — и вдруг с удивлением обнаружила, что ее никто не слышит. Звук в репродукторах пропал. Она постучала по микрофону ногтем — и тут динамики над воротами затрещали, зарокотали, и голос Альенде произнес:

— Трудящиеся Чили! Предательский мятеж кучки авантюристов, посягнувших на нашу демократическую традицию, на наш конституционный строй...

Чипита затаила дыхание.

— ...практически локализован. Правительственные войска под командованием генерала Карлоса Пратса Гонсалеса полностью блокировали центр столицы. Другая группа верных конституции войск во главе с генералом Оскаром Бошилей штурмом взяла казармы мятежного бронетанкового полка...

Мануэла стояла на трибуне, держа в обеих руках микрофон, и беззвучно шевелила губами, повторяя каждое слово.

Сесар не смог, разумеется, проскочить к Ла Монеде. Когда он подъехал к центру, улицы Театинос, Моранде, Амунатеги были закрыты для проезда. На перекрестках расставлены были танкетки корпуса карабинеров, курсанты пехотного училища с автоматическими винтовками двумя рядами стояли поперек улиц, солдаты полка «Буин» с белыми повязками на левом рукаве прохаживались по пустынным мостовым внутри кольца, добродушно переговариваясь с гражданскими, толпившимися по ту сторону оцепления. В сравнении с юндами-курсантами, у которых был напряженно-отсутствующий вид, солдаты были настроены смешливо. Белые повязки сбили Сесара с толку: он решил, что перед ним мятежники, и не на шутку разволновался. Значит, Ла Монеда пала? Что же тогда с Каполиной?

Визг тормозов его «тойоты» привлек внимание зевак: в толпе начали оборачиваться, послышались едкие шуточки:

— Ишь разлетелся!

— Куда спешишь, борода? Опоздал, все уже кончено!

— Подмога Суперу!

Поняв, что проехать не удастся, Сесар вышел из машины, присоединился к зевакам. Отпустив еще несколько насмешливых замечаний по поводу его ижегольского небесно-голубого костюма, пышной седоватой шевелюры и исклокоченной бороды, толпа забыла о существовании новопривывшего.

В стороне группа молодых людей скандировала:

— Сольдадо, амиго, аль пуэбло эста континго! Солдат, дружище, народ с тобой!

Сесар не любил толпу, заряженную примитивными политическими страстями. Вокруг такой вот кучки активистов может собраться и стотысячная толпа.

По реакции солдат, благосклонно поглядывающих в сторону этой группы, по отдельным репликам в толпе Сесар понял, однако, что Ла Монеде удалось выстоять и что мятежники окружены.

Впрочем, со стороны площади Конституции еще слышны были одиночные выстрелы и трескотни пулеметных очередей. Всякий раз, когда рокотал крупнокалиберный пулемет (со времен службы в армии Сесар помнил, что его называют «пилой Гитлера»), лица курсантов каменели, а публика тревожно прислушивалась.

Внезапно внутри оцепления послышался лязг гусениц, и, окутанный чадом, из-за угла выкатил танк. За ним еще один и еще: три танка с несено развернутыми башнями, как бы озираясь, катили по Амуратеги.

Толпа ахнула и хлынула в переулки и просады между домами, строй оцепления дрогнул и распался. Одна только кучка активистов, чуть уплотнившись, стояла поодаль, однако их голоса перестали быть слышны. Солдаты и курсанты, пригнувшись, побежали к перекрестку, под прикрытие ташкеток, а Сесар, прижавшись к стене дома, в оцеплении смотрел, как передний танк, не сбавляя хода, катится на его золотистую «тойоту», броненную посреди улицы. «Бедная Пирусита, бедная моя девочка! Зачем тебе все это нужно?»

Между тем карабинеры справились с замешательством. Две ташкетки сползли с перекрестка, перегородили дорогу, и передний танк затормозил, за ним — остальные. Распахнулся люк, перемазанный черным человек в кожаном шлеме высунулся по грудь наружу и, сложив ладони рупором, что-то крикнул. Моторы так нещадно ревели, что Сесар разобрал только несколько бравных слов, получилось что-то вроде: «К дьяволу все это дерьмо! Пропустите, едем в казармы!»

Тут Сесар обнаружил, что он каким-то чудом оказался внутри оцепления. Дорога к Ла Монеде была для него

открыта. Никто не смотрел в его сторону: курсанты, солдаты и карабинеры, не говоря уже о зеваках, которые вновь появились на перекрестке,— все с напряженным вниманием наблюдали, как танки мятежников медленно объезжают «тойоту» цвета старой бронзы под аккомпанемент разносортных ругательств. «Какой ублюдок, сын старой шлюхи, бросил здесь эту мыльницу? Дави ее к чертовой матери!» Такистам даже сочувствовали (в конце концов, люди спешат уйти от беды), «тойота» же, напротив, вызвала всеобщую неприязнь. Но все это Сесара мало интересовало. Сунув руки в карманы, бодрым шагом, не оглядываясь, он дошел до угла, повернул направо — и, оглянувшись, помчался бегом, как школьник, в сторону площади Конституции. «Пропадите вы пропадом,— приговаривал он на бегу,— со всеми вашими митингами и мятежами! Давите мою «тойоту», топчите ее, пинайте, можете даже поджечь... Отдайте мне Пируситу!» А может быть, он ничего не говорил, только хрипло дышал, но ему казалось, что он слышит свой собственный крик: «Отдайте мне Пируситу!» Вид танков вблизи его потряс, он был уверен, что на площади перед дворцом увидит что-то ужасное.

Ему удалось пробежать почти до дворца. Он, не задумываясь, пересек бы открытое пространство площади Конституции, но вынужден был остановиться: навстречу ему двигалась вереница открытых джипов. Спрятаться было решительно некуда. Сесар отступил к невысокой чугунной ограде и постарался принять позу праздного любопытствующего горожанина, но люди в машинах не обратили на него ни малейшего внимания: они смотрели прямо перед собою, как будто являлись участниками какого-то торжественного и печального церемониала.

В переднем джипе стоял с пистолетом в руке низкорослый генерал с четырехзвездными нашивками на плечах. У него было бюргерское лицо с простодушным носом

и погустыми усами. Фуражка его с высокой тульей сбилась на затылок, ворот кителя расстегнулся. Сесар узнал его: Карлос Пратс, командующий сухопутными войсками. Два дня назад его фотографии мелькали во всех газетах: в том же песочного цвета мундире и тоже с пистолетом в руке Пратс понуро стоял возле лимузина со спущенным передним колесом, а рядом, подбоченясь, торжественно улыбалась дама в шикарном палантинге. «Генерал со слабыми нервами» — эта подпись была еще самой безобидной. Отец рассказал Сесару, что машину Пратса преследовали — точно так же, как это было с генералом Шнейдером, убитым террористами в семидесятом году. Пратс выстрелил по колесу одного из мчавшихся сзади автомобилей — за рулем оказалась великосветская дама Александрина Кокс...

За джипом Пратса следовали машины с арестованными танкистами. Конвойные в касках и зимних шинелях сидели на обоих бортах, и разглядеть мятежников было трудно. Один из них, привстав, в упор посмотрел на Сесара, лицо его поражало своей иступленностью: запавшие глаза, впалые щеки, глубоко вырезанные морщины — все как бы опаленное, выеденное кислотой ненависти.

Человек глубоко штатский, Сесар презирал военных и считал, что нет ничего глупее этой профессии. Как может уважающий себя человек обшивать одежду галунами, увешивать золочеными пурами и металлическими побрякушками? Чванство и нетерпимость — вот что, по мнению Сесара, отличало всех военных, и для него были равны тот коренастый генерал-победитель и побежденный, полумертвый от бессильной ярости полковник. Оба они были никому не нужны и оттого готовы смертельно враждовать друг с другом и, кажется, со всем миром.

Кортеж миновал. Сесар помедлил, не рискуя еще ступить на опустевшую, в черных масляных пятнах мостовую — и тут услышал за своей спиной голоса.

Два офицера разговаривали, выйдя из переулка и еще не видя Сесара.

— Герой, — насмешливо сказал один. — Где была его храбрость в среду на Костанера?

— Пытался себя реабилитировать, — ответил второй.

— Перед нами?

— Ну, нет. Перед Альенде, разумеется. Доказывал, что он еще на что-то годится.

— Жаль, Сольминьяк промахнулся... — проворчал первый. — Эти чертовы танкисты... им надо больше времени проводить в тире. Совсем разучились держать оружие в руках!

Сесар присмотрелся — это были инструктора пехотного училища, оба с белыми повязками на рукавах. Сесар хотел отойти подальше, чтобы не создавалось впечатление, что он подслушивает, но поскользнулся: под ногами его была лужа крови. Передернув плечами от омерзения, Сесар сделал шаг в сторону. Рядом лежала кинокамера, Сесар машинально поднял ее, повертел в руках.

Один из офицеров повернулся.

— Кто вы такой? — резко спросил он. — Что вы здесь делаете? Стоять на месте!

— Похож на мириста, — пробормотал, понизив голос, второй и подошел к Сесару.

— Скорее на Карла Маркса, — заметил первый.

Они стояли, недружелюбно оглядывая Сесара.

— Руки! Покажите руки.

Сесар взял камеру под мышку, протянул руки ладонями вверх. Хорошо, подумал он, что вчера вымыл их растворителем... если бы под ногтями осталась краска — кто знает, как бы они к этому отнеслись.

Первый взял его за рукав, повернул руку тыльной стороной, внимательно рассмотрел золотой перстень с монограммой.

— Репортер? — уже более вежливо спросил он.

Сесар кивнул.

— Извините, ищем снайперов. Можете идти.

Между тем на площади стали появляться люди: видимо, оцепление было снято. Сесар вышел на открытое пространство, пересек площадку, где обычно стояли стада автомашин, и направился к центральному входу Ла Монеда.

Зимой, под тяжелым темным небом, Ла Монеда смотрелась лучше, чем летом: этакая рассеявшаяся каменная глыба, покрытая сизым пазетом если не древности, то уж, во всяком случае, подлинности. В свое время Сесар сделал здесь несколько этюдов, но то была летняя Ла Монеда, смотревшаяся под безжалостным солнцем как театральный задник для оперного спектакля «из позднеколонизальных времен».

Ничего ужасного Сесар на площади не увидел: ни трупов, ни пятен крови, только танки, брошенные мятежниками, сутулясь, все еще держали под прицелом своих орудий дворец, да тротуар перед фасадом был густо усыпан осколками стекла.

Часовые с карабинами наперевес молча преградили ему дорогу.

— Мне нужно пройти на ту сторону,— сказал Сесар.— Извините, я очень спешу.

В его словах не было ничего необычного: сотни людей за день проходили этим путем с площади Конституции на площадь Бульнеса.

— Ничего, обойдешь,— грубо сказал карабинер, внимательно посмотрев на камеру, которую Сесар держал в руке.— Здесь тебе не проходной двор.

Сесар постоял на тротуаре, подумал.

— Давай, давай отсюда,— сказал карабинер.

И в это время из-за угла с улицы Моранде вышла Каролина. В стареньком деревянном почто, с кожаной сумкой на длинном ремне, с вольно распущенными воло-

сами, она оглядывала площадь, прищурясь, с таким видом, будто вышла из конторы после рядового рабочего дня. Рядом с нею была высокая худая подруга, которая, Сесар знал, очень его презирала. Поэтому он не кинулся к Пирусите, а остановился поодаль.

Подруга первая заметила Сесара, она что-то с усмешкой проговорила и показала глазами на кинокамеру. Каролина вспыхнула, на лице ее, как это часто бывало при виде Сесара, отразились одновременно растерянность, стыд и радость.

— Ола, папито! — крикнула она и махнула рукой. — Ты уже здесь? Как тебя пропустили?

Сесар подошел.

— Вот, приехал снимать натуру, — сказал он, показав на камеру.

— Правда? — Каролина огорчилась. — Но это... это, по-моему, нехорошо...

— Ну как ты могла поверить? — рассмеялся Сесар. — Нашел на улице.

Сарита критически оглядела его яркий весенний костюм, стоптанные башмаки, артистическую бороду.

— Ладно, до встречи, — сказала она, повернулась и, крупно шагая, пошла прочь.

— Почему она меня так не любит? — спросил Сесар. — Я что ей, враг?

Каролина молча обняла его, прижалась к нему и тут же отстранилась.

— Страшно было? — спросил Сесар. — Нанугали тебя дураки?

— Нет, ничего, — проговорила Каролина.

Она отошла на шаг, показала рукою на тапки.

— Вот как мы их! — с гордостью сказала она. — Долго будут помпиги!

Сесар молчал, любуясь ее лицом.

— Нет, по какой Прате молодец! — возбужденно го-

ворила Каролина. — Представляешь, с пистолетом — против танков!

«Есть и другие миссия», — подумал Сесар. А вслух сказал:

— Ко мне?

— К тебе! — ответила Каролина, смеющимися глазами глядя ему в лицо. — Я ужасно проголодалась.

5

Грибной поселок (или по-местному кальямпа) Роса Бланка вырос лет шесть назад на пустыре между шоссе и кварталами коммуны Сан-Хуан в стиле итальянского неореализма: без разрешения властей, за одну ночь, под сенью национального флага, были построены десятки дощатых временок. Строили безработные, пришлые из сельских местностей, иммигранты, люмпены, которым не нашлось места даже в квартале Лота Баха. Наутро карабинеры Фрея оцепили кальямпу, уже получившую романтическое название «Роса Бланка», подогнали бульдозеры, и только вмешательство левых депутатов, прибывших в повонспеченный поселок, спасло его от уничтожения.

За шесть лет доски почернели и стали трухлявыми, железные крыши проржавели насквозь, флаги на шестах выцвели и побелели, население поселка утроилось — словом, кальямпа Роса Бланка жила. Прочную поддержку здесь имело Левое революционное движение (МИР). С победой Народного единства миристы вышли из подполья и завладели кальямпой в открытую. Была в Роса Бланка своя власть — «командо комуналь», свое воинское формирование — батальон Армии национального освобождения, имелись и свои кумиры — команданте Мики из такой же кальямпы, команданте Пепе из лесной зоны Пангульи.

Полповластным хозяином в Роса Бланка стал команданте Рауль, называвший себя руководителем обездоленных. Всегда в полувоенной форме цвета хаки, с револьвером в кобуре на поясе, команданте Рауль был высоколоб, бородат, глубоко посаженные глаза его смотрели печально и по-крестьянски хитро. О нем рассказывали легенды: в годы Фрея команданте Рауль совершал фантастические экспроприации, предпочитая очищать провинциальные отделения банков. Тюрьма, освобождение по амнистии осенью семидесятого года, после победы Альенде. Явившись в Роса Бланка, команданте Рауль установил здесь порядки военного поселения: все мужское население кальямпы было записано в Армию национального освобождения, проводились военные учения, имелся план обороны поселка, круглосуточно охранялись все входы и въезды в кальямпу, помещения «командо комуналь» и склады оружия. Ни на шаг от команданте не отходили его телохранители — немец Конрад и аргентинец, называвший себя Аурелио.

Когда Родольфо примчался в кальямпу, на площади — замусоренной вытоптанной лужайке возле штаба — уже начался митинг: весь батальон был выстроен поротно, и команданте Рауль, заложив руки за спину, стоял возле высокого флагштока и произносил речь.

— Реакция решилась на самоубийственный шаг. Перед лицом возросшего потенциала революционного сознания рабочих, который сегодня высок, как никогда...

Команданте говорил вятно, но нарочито негромко, и все бойцы напряженно вслушивались в каждое его слово. Впрочем, оба его телохранителя, сухощавый смуглый Аурелио и белобрысый гигант Конрад, сидели в стороне на крылечке штаба и вполголоса беседовали о чем-то своем.

Стараясь не привлекать к себе внимания, Родольфо отыскал свое подразделение (там стоял и манил его ру-

кою закадычный друг Виктор Бала Эскондида), пробрался на свое место и вполголоса спросил Виктора:

— Что, идем на казармы?

Бала Эскондида пожал плечами, и Родольфо стал слушать, как все.

— На это мы ответим немедленным революционным контрпаступлением! — говорил команданте Рауль. — Сегодня мы начинаем городскую войну, завтра война эта станет общенародной, а послезавтра — и это неминуемо — выльется в тотальную битву с армией.

— Теряем время, — шепнул Родольфо. — Там танки на площади, а здесь урок политграмоты.

Бала Эскондида слова промолчал.

— Мы располагаем, — говорил команданте, — полным планом герильи по всей стране. Мы подождем, если будет пужно, Чили со всех четырех сторон. Сегодня они сказали: «Гражданская война». Что ж, пусть гражданская война. Мы не боимся этого. Если Ла Мопеду можно взять с одного наскока, то парод наскоком не возьмешь...

— А что, разве Ла Мопеда... — начал было Родольфо, но Виктор сделал зверское лицо и прошипел:

— Чорсадо... Заткнись!

Обиженный, несчастный, Родольфо огляделся. У четверых парней из его подразделения были автоматы «вальтер»... значит, оружие уже раздавали. Положим, «вальтеров» на всех хватить не может, но он не отказался бы и от какого-нибудь плохонького пистолета: не с голыми же руками идти!

Пока он предавался таким размышлениям, команданте закончил свою речь, махнул рукой, раздались резкие выкрики командиров, началась суতোка, вызванная перестроением плохо обученных людей, и через минуту Родольфо обнаружил себя шагающим рядом с Виктором по обочине шоссе. Бойцы подразделения шли за ними беспо-

рядочной гурьбой, возбужденно переговариваясь. Шоссе было пустынно, над равниной висела дождевая хмарь.

— Куда мы идем? — с трудом поспевая за Виктором, спросил Родольфо.

— Брать обувную фабрику, — ответил Виктор. Его сухое бледное лицо с заметным шрамом на правой щеке было серьезным и даже торжественным: впервые команданте доверил ему руководство операцией. — «Кальсадос Батя», слышал?

— А как же оружие? — жалобно спросил Родольфо. — Я остался без автомата.

— В кого ты стрелять собираешься? — усмехнувшись, сказал Виктор. — Солдат здесь нет и в помине. Вот забьем армейские арсеналы — заработаешь себе автомат.

— Я просто думал... — пробормотал Родольфо, — зачем нам этот «Батя»? Надо в центр идти, на подмогу...

— Ну да, и оставить врага у себя в тылу.

Родольфо не нашел, что ответить. Вообще спорить с Виктором было делом бессмысленным. Этот парень многое повидал в своей жизни. Учился в университете в Консепсьоне, там сблизился с миристами, учебу бросил, участвовал в серьезных операциях еще при Фрее, поймал карабинерскую пулю, врачи не сумели ее найти, поэтому и прозвали Виктора Бала Эскопдида, что означает «пропавшая пуля». Команданте Рауль звал его просто Бала и выделял среди остальных бойцов. Вот — поручил экспроприацию, а там, глядишь, и возьмет к себе в штаб... тогда к Виктору и не подступишься.

Родольфо для команданте попросту не существовал. Лишь однажды, во время учений, команданте подошел к нему, завел разговор, от которого у Родольфо остался неприятный осадок. Сочувственно улыбаясь, команданте расспрашивал его о семье, о брате, о сестрах. Увы, происхождением своим Родольфо Сото не мог похвастаться: отец — камбонеро, мачеха — кулацкая дочь, брат — мелкий све-

куляют на рынке Вега Сентраль, Чипиту можно пока не считать, девочка и есть девочка. Одна только семейная гордость — Каролина. Команданте спросил его, большой ли человек Каролина там, в коммунистической партии, до каких личных благ дослужилась, не брезгует ли засажать к родным в Сан-Хуан, принимает ли родственников у себя, бывают ли у нее там большие люди... Разговор этот был неприятен: Родольфо любил Нья Пирусу и чувствовал, что команданте настраивает его против сестры, потихоньку подводит его к мысли о том, насколько она обуржуазилась, насколько вжилась в порочную практику реформизма. А на другой день команданте Рауль вновь перестал замечать Родольфо и смотрел на него, как на пустое место. Это заставляло парня страдать: может быть, он слишком тепло отзывался о Каролине, слишком ревниво ее защищал?

— Ты, Фито, в первый раз идешь на такое дело, — говорил ему между тем Виктор, — и не понимаешь важности задачи. В октябре прошлого года мы экспроприровали три фабрики в Сан-Хуане и передали государству. В апреле этого года — еще четыре, и опять государству. Разве это не подмога? Мы, и только мы, выкуриваем буржуазию, расширяем базу революции! Без нас Альенде еще долго топтался бы на месте. Мы двигаем революцию вперед. Вопросы есть?

Вопросов не было. Когда Бала Эскондида говорил, все становилось предельно ясным. Но стоило ему замолчать — Родольфо начинал терзаться сомнениями. Правда, сомнения эти были такого рода, что выразить их словами Родольфо даже не пытался.

Взять ту же фабрику, к которой они сейчас подошли. Убогое строение, по виду жалкая мастерская, не имевшая, разумеется, никакого отношения к звучному имени Батя. Зачем такая рухлядь государству? Но Виктор действовал решительно и уверенно: расставил посты,

собрал в цеху рабочих, объявил об экспроприации и предложил избрать временную администрацию.

Прибежал хозяин — аргентинец итальянского происхождения, лысый, долговязый, в распахнутом длинном пальто.

— В чем дело? — закричал он с порога. — Мое предприятие экспроприации не подлежит! Правительство дало гарантии!

— А мы не давали, — спокойно возразил Виктор. — Мы нас не тронули ни в октябре, ни в апреле, ведь верно? Не паша вира, что реакция подняла голову еще раз.

— Да, по какое отношение я имею к вашей реакции? — возопил, подняв руки, итальянец. — Я делаю башмаки, и никакой реакции я не знаю.

— Два ваших сына служат во флоте, — сказал Виктор, — это верно?

Итальянец опустил голову.

— Так вот, значит, и ваша семья причастна к мятежу и должна за это расплатиться.

— Но на флоте все спокойно... — пробормотал итальянец.

— Откуда вам это известно?

Хозяин молчал. Потом пробормотал:

— Беззаконие... Капитал у меня меньше четырнадцати миллионов эскудо, треть этой суммы не наберется, даже если вот это пальто продать.

Итальянец знал законы. Четырнадцать миллионов — таков был официально установленный потолок, выше которого предприятие считалось крупным и могло быть национализировано.

— Хорошо, — пасмешливо сказал Виктор, — сейчас подсчитаем. Треть от четырнадцати — приблизительно пять миллионов эскудо... — Хозяин хотел возразить, но сдержался. — Значит, пять миллионов, согласны? Это по официальному курсу около трехсот тысяч долларов. А доллар

сколько стоит на черном рынке? Три тысячи эскудо штука. Помножим ваши триста тысяч на три тысячи. Э, да у вас, оказывается, девятьсот миллионов капиталов! Да вы просто Агустин Эдварде Восьмой, акула Южной Америки! И как мы вас прошлый раз просмотрели!

Столпившиеся вокруг миристы засмеялись.

Лицо итальянца исказилось.

— Берите, бандиты. Придет сюда морская нехота — кровью заплачете.

— А за бандитов ты, приятель, ответишь, — проговорил Виктор, поигрывая пистолетом. — Но не сейчас. Сейчас нам некогда.

Родольфо стало жаль старика, который побрел, нутаясь в полах пальто и размахивая повисшими, как плети, руками.

— Слушай, Бала, — сказал он Виктору, — зачем мы его так? Пусть бы себе шил бацмаки... Кому он мешает?

— Экий ты сердобольный, — язвительно ответил Виктор. — Пожалел стервятника. А их, — широким жестом он показал на рабочих, — их ты пожалел? О них подумал?

Рабочие-обувщики молчали.

— Похоже, нас теперь придется жалеть, — проговорил один из них, самый старый.

— Это как? — вскинулся Виктор.

— Да так. Похозяйничаете с полгода, закроете за убыточностью, а нас — на улицу. Первый раз, что ли? При хозяине мы худо-бедно, а кусок хлеба имели.

— Это что же, — Виктор понизил голос, — хозяин без убытка работал, а парод будет с убытком?

— А что ж, — закройщик развел руками, — кругом ведь так. Пока под хозяином, и сырье поступает, и торговцы товар берут. А комитет начнет запрашивать — ни сырья, ни сбыта. Все поползет по швам, как гнилье.

Обувщики и миристы — все молча слушали. Родольфо испугался, что Бала в ярости пристрелит старика, по

Виктор вдруг обернулся и, восхищенно улыбаясь, сказал:

— Видал? — Родольфо не сразу понял, что обращаются именно к нему. — Видал, как рассуждает? Народ-то, оказывается, в чем виноват? В том, что со спекулянтами-обувщиками не ладит.

— Не ладит, — старик закивал. — Не умеет народ, это точно.

— А ты бы поладил? — престоуднино спросил Виктор.

— Я бы?

Старик задумался.

— Он бы поладил, — заверил кто-то из обувщиков. — Он смог бы.

— Вот в чем корень, оказывается! — торжественно сказал Виктор, обращаясь опять-таки к Родольфо. — Въелась в них эта хозяйская психология. Чем мельче предприятие, тем глубже разврат: каждый видит, что смог бы хозяйничать сам. Все надо экспроприировать, все подчиную. Я бы даже так сказал: мелкие в первую очередь. Трупный яд капитализма вырабатывается именно здесь.

6

Около полудня президентский кортеж — три «Фиата», три такетки корпуса карабинеров — прибыл на площадь Конституции. В передней открытой машине бойцы ГАП обсуждали расположение брешенных танков.

— Нет, без похоты им не на что было рассчитывать, — морща нос, сказал Рамон. — С флангов не прошли бы, ужо, там можно из бауки в бок получить...

— Зачем с флангов? — возражал рябой пулеметчик Марио, по прозвищу Тулькан: собственно, Тулькан — это был городок в Эквадоре, где Марио родился, но всем ребятам из ГАП казалось необыкновенно забавным, что

Марио — «аж из самого Тулькапа», так прозвище к нему и пристало. Впрочем, долго смеяться над Марио не рекомендовалось: вдруг некрасивое лицо его озарялось веселой алостью, глаза светлели — и обидчику становилось ясно, что Марио за себя не ручается. — Затем с флангов? Видишь, как они стоят? Собирались лупить по фасаду из орудий.

— Ну, такие стены за два дня не размолишь, — недовольный, что с ним спорят, сказал Рамон: он считал себя великим стратегом. — Только с воздуха.

— Да, — проговорил Марио, посмотрел на небо и отчего-то вздохнул. — Только с воздуха.

Второй «фиат», шедший следом, вел шофер президента Хано. На свободном сиденье рядом с ним лежал автомат. Сзади негромко разговаривали Альенде и Оливарес. Президент был в отличном настроении. Речь шла вначале о какой-то «смуглянке», которую Альенде грозился забрать у Пабло Неруды силой.

— Не отдаст, — флегматично говорил Аугусто. — Еще собак спустит.

— Но, может быть, подарит — теперь, в свете новых обстоятельств? Как ты думаешь, Перро?

— И не подарит.

Смуглянкой Альенде называл корабельный ростр (по слухам, с самой «Мари-Селесты»), которым очень гордился Пабло Неруда. Это была дубовая мастерски вырезанная женская фигура с миловидным темным личиком, на котором сияли фаянсовые глаза. Пабло часто поддразнивал ею президента: «А смуглянка-то плачет! Не воображай, что о тебе». Действительно, каждую зиму из фаянсовых глаз по дубовому личику смуглянки текли чистые крупные слезы.

— Не понимаю... — говорил Альенде. — Лауреат Нобелевской премии, великий человек... Ну на что она ему?

Шофер Хано прислушивался к этому разговору и, не

совсем понимая, в чем суть, тем не менее широко улыбался. Он любил, когда президент ехал во дворец веселым: тогда и все вокруг становилось для Хапо праздничным.

Движение кортежа между тем замедлилось: улицу запрудила толпа. Люди обступили президентскую машину, улыбаясь, заглядывали в окна, махали рукой, кричали: «Товарищ Альянде, двигай вперед!» Это был клич двухлетней давности, когда страна еще жила, окрыленная успехом национализации меди, и пулеметная стрельба на площади Копетитудин казалась немыслимой. Альянде любил этот клич, в своих речах напоминал о нем задиристо и весело: «Я буду двигать вперед, я не поставлю погу на тормоз, товарища!»

— Позволь, Хапо,— сказал вдруг Альянде,— а куда ты нас везешь?

— К гаражам, на Моранде, товарищ президент,— ответил Хапо, на всякий случай притормаживая.— В смысле — к боковому входу, как обычно.

— Ну зачем же обычно? — укоризненно сказал президент.— Поезжай к главному. Сегодня мы можем позволить себе такую роскошь — пройти через главный вход.

Воле арки главного входа в торжественном ожидании стояли командующие родами войск: Карлос Пратс, Сесар Руис, Рауль Монтеро. Рядом — на голову выше их всех, худой, как Дон-Кихот, с красной седоватой бородкой — министр обороны Хосе Тоа.

Выйдя из машины, президент долго тряс руку Пратса, поздоровался с генералом Руисом, с адмиралом Монтеро. Дружески похлопал по плечу Хосе Тоа, старого своего товарища по социалистической партии еще с начала пятидесятих годов.

— Благодарю, благодарю вас, друзья мои,— проговорил, обращаясь ко всем сразу.

Наступила пауза. Президент повернулся, широким

жестом показал на площадь: возле танков, стоящих поодаль, как муравьи вокруг дохлых жуков, копошились механики.

— Скверный эндшпиль, не правда ли, господа? — весело сказал президент. — Черные начинают и проигрывают.

Командующие вежливо заулыбались, только адмирал Монтеро, всегда хмурый, даже мрачноватый, сохранил невозмутимое выражение лица.

— Прошу наверх, — сказал Альенде, — ко мне в кабинет.

И, вскинув голову, даже выставив слегка свой маленький, совсем не энергичный подбородок, Альенде вступил во дворец. Был он очень элегантен в строгом темном костюме, который падал только по торжественным случаям, с белым платком, торчащим из нагрудного кармана.

Под аркой замерли навытяжку карабинеры.

— Молодцы! — сказал президент, обращаясь к лейтенанту Рейесу. — Не испугались, а?

— Танки не страшны, президент, — ответил лейтенант, — если в танках — павоз.

Словечко это вызвало в свите президента смехи.

— Вы ж не знали заранее, что там внутри, — заметил Альенде. — Танки есть танки.

И, пройдя вдоль строя карабинеров дворцового гарнизона, Альенде повернул направо и по узкой крутой лестнице взбежал на второй этаж. Десятиборец, чемпион страны в молодости, человек, педантично следивший за своим здоровьем, он ни разу не остановился, чтобы перевести дыхание, и из всей свиты только Хосе и Рамон за ним поспевали. Командующие поднимались неспешно, сохраняя свое достоинство, следом за ними, оживленно беседуя, шли оба Дон-Кихота — Хосе Тоа и Аугусто Оливарес.

Наверху президент мельком глянул в сторону Крас-

ного зала, замедлил шаги. Кресла полукругом, портреты президентов на стенах, фарфоровые вазы, старинные мраморные часы — все было в целости, хотя на полу блеснули осколки стекла.

Портреты президентов республики... галерея персонажей исторической драмы, имеваемой «непрерывный конституционный процесс».

Тучный, седоусый, с багровым лицом Карлос Ибаньес дель Кампо, победивший на выборах пятьдесят второго года кандидата Фронта народа Сальвадора Альенде с восьмикратным перевесом голосов. Титул «Муссолини Нового Света» был к тому времени напрочь забыт суетливым генералом: он вступил в Ла Монеда, потрясая пшавброй (символ чистки политических конюшен) и шумя о «победе народа над империализмом»...

Печальный пожилой холостяк Хорхе Алессандри, примерный сын своей властной мамы, «друг простых людей», владевший контрольными пакетами акций тридцати шести компаний, — ему в пятьдесят восьмом удалось обойти Сальвадора Альенде на тридцать с лишним тысяч голосов.

Остроносый, суховатый Эдуардо Фрей, респектабельный «революционер в условиях свободы», — последний, кому выпала честь преградить путь «вечному кандидату» Альенде в шестьдесят четвертом году.

Видимо, стране нужно было пройти через все эти разновидности социальной демагогии (солдафонской, ханжеской, иезуитской), чтобы наконец сказать свое «да» Народному единству.

Народный фронт. Фронт народа. Фронт народного действия. Народное единство. Этапы, ступени. Тяжелая поступь идеи, колоннада гигантского храма, перспективой своей уходящая в те далекие времена, когда отцы нации Бернардо О'Хиггинс и Мануэль Родригес указали чилийцам путь от завоевания политической свободы к свободе

экономической. И у подножия этой колоплады — оп, Сальвадор Альенде Госсенс, рядовой политик, прекрасно отдающий себе отчет в том, что высшие почести предназначены не лично ему, а тем, кого он представляет.

Путь Альенде сюда, в Ла Монеда, начался задолго до его первой предвыборной кампании пятьдесят второго года, и даже до тридцать шестого, когда идея народного единства получила свое первое воплощение в Народном фронте. 24 июля 1931 года... Войска диктатора безуспешно пытаются взять штурмом университетский городок в Сантьяго. Двадцатитрехлетний студент-дипломник, обдумывающий тему «Психическое здоровье и преступность», говорит себе: президентский дворец — дом безумия, оттуда исходят не только свирепые приказы и противоречащие одно другому установления, — вся нищета страны, материальные лишения, духовные и физические страдания миллионов мужчин и женщин, молодежи и детей исходят из стен Ла Монеда. Как же согласовать эту вопиющую очевидность с предсказанием Симона Боливара, предрекавшего Чилийской республике долгую славную жизнь? Может быть, республика не погибнет? Может быть, она возрождается в кровавых муках? Но не для того же, чтобы открыть дверь в Ла Монеда бесконечной череде лживых политических львов, которые на словах предают апатфеме «позолоченного негодая олигархии», а на деле служат олигархии верой и правдой? Нет, демократический процесс должен привести к тому, что однажды вместе с президентом, облеченным доверием широкого большинства, в Ла Монеда войдет сам народ. Войдет не с оружием в руках, но с конституционным мандатом, и тогда (и только тогда) начнется подлинно демократическая история Чилийской республики, история социалистических преобразований.

Это было одно из тех прозрений, на которые так щедра молодость. Прозрение тем более несвоевременное, что

посреди еще были долгие месяцы диктатур, претендующих на конституционную видимость, и президентств с обликом диктатуры. Но в свои двадцать три года Альянде стал убежденным социалистом, ему знакомы были слова Энгельса о мирном вращении старого общества в новое в тех странах, «где народное представительство сосредоточивает в своих руках всю власть, где конституционным путем можно сделать все что угодно, если только имеешь за собой большинство народа...». Альянде видел это большинство в действии — на баррикадах у ворот Национального университета под самодельными транспарантами с гордыми словами Боливара «Здесь никогда не погибал дух свободы», на рабочих митингах в предместьях, украшенных красными знаменами, — и утвердился в убеждении: такое большинство способно прийти в Ла Мопеду конституционным путем.

Понадобилось без малого сорок лет, чтобы теперь от имени этого большинства можно было с гордостью сказать: «Мы стали правительством и идем к завоеванию власти».

Был трудный период — после выборов четвертого сентября шестьдесят четвертого года. Фрей опередил его на четыреста с лишним тысяч голосов: преимущество особенно весомое в сравнении с предыдущими выборами, когда от президентского кресла Альянде отделяли всего лишь тридцать тысяч. Надежды левых партий на общего кандидата не оправдались. Пришлось пережить холодок в отношении к нему коммунистов, раздражение лидеров социалистической партии, разброд в стане менее крупных союзников.

В Баррио Альто, на Витакура и Провиденсии пьют шампанское, танцуют и веселятся, поздравляют друг друга с очередной неудачей «вечного кандидата», на площадях золотая молодежь с хохотом плецется в чашах фонтанов, а в скромном доме Альянде на улице Старой

гвардии царит тяжелая тишина. Умолкли друзья, возмущавшиеся тем, что за Фрея голосовали доллары ЦРУ, что пропаганда олигархии свирепствовала, как никогда в истории Чили, что предательство Вальдо Греса обеспечило Фрею видимость поддержки слева, что в побластливых и кальянных как раз перед выборами безмянные добродетели раздавали пакеты с одеждой и продуктами («дар народа США»)...

Все было так, и пропаганда Фрей действительно не брезговала ничем. На улицах расклеены были афиши: «Чемпионат мира! Фрей (Чили) — Альенде (Россия). 2:1. Повторим успех наших футболистов на выборах!» Или так: «Чилиец! Ты хочешь, чтобы это произошло у тебя в стране? Голосуй за Альенде!» — и фотографии «кубинских ужасов», разумеется фальсифицированные, но пока избиратели разберутся... Радиопередачи начинались с автоматной очереди и истошного женского крика: «Убили моего сына! Это коммунисты!»

Но ведь на то и политическая борьба: значит, мы не нашли убедительных способов высмеять эту бесстыдную ложь, чтобы вся страна издевалась над этими грубыми предвыборными трюками...

Помощник государственного секретаря США заявил: «Альенде никогда не станет президентом...»

Друзья утешали: «Ты же набрал почти миллион голосов, такой поддержки левые еще никогда не имели...» Но в их глазах читалось: «Нужно было больше, намного больше...» Неудачника осуждают, от него стараются отстраниться. Один из соратников был настолько откровенен, что сказал на прощание:

— Фрей тебя обокрал. Он взял почти все твои деньги, он постарался быть похожим на тебя... А ты слишком вяло отстаивал свою непохожесть.

Но вот ушел и он, и «вечный кандидат» остался один — со своей семьей, с дочерьми, которым он должен был смот-

реть в глаза... Для них, молодых, этапы биографии отца остались в давно прошедших, чуть ли не в доисторических временах. Наверное, им казалось, что для второй половины века отец слишком старомоден, не динамичен, не современен... Ну, разумеется, он преувеличивал: дочери переживали вместе с ним, жалели его. Именно жалели.

Тепча сказала:

— Чичо, не надо грустить. Ты своего добьешься. Другого, такого, как ты, в Чили нет.

— Для тебя — конечно, — с горькой улыбкой ответил он.

И запоздавший репортер, который пришел спросить Альенде о дальнейших политических планах, получил такой ответ:

— Когда я умру, на моем надгробье будут высечены слова: «Здесь покинута Сальвадор Альенде, будущий президент Чили».

Да, все это пришлось пережить: разочарование союзников, усталые соблазновения друзей, потерю уверенности в себе. Но в глубине души Альенде чувствовал — Тепча права, для левых он единственный приемлемый кандидат. Социалисты помнили, что он был одним из тех, кто стоял у колыбели партии: коммунисты ценили его как сторонника единства рабочих партий; левые радикалы и демохристиане видели в нем живое олицетворение непрерывности конституционного процесса, — и для всех, кто его знал, он был безукоризненно честным человеком, обладающим терпимостью, тактом и широтой взглядов. А самое главное — олигархия боялась именно его успеха и радовалась именно его неудаче. Правая печать обвиняла Альенде во всех смертных грехах, кроме разве что кровосмесительства, и в шутку он говорил: «Если поздно вечером я ложусь спать, ни разу сегодня не обогатившись, значит, этот день я прожил впустую — или допустил какой-то промах». Он мог бы сказать о себе словами Неруды: «Кто

не громоздил ядовитые камни по течению моего бытия?» Это означало лишь одно: его победы со страхом ждали те, кому и полагалось бояться его победы.

Такие дни, как сегодня, выпадали в его жизни не часто. Он счастлив был, как ребенок: случилось то, что должно было случиться. Высокое чистое торжество справедливости, еще одно доказательство его правоты.

Нет, господа: мирный путь чилийской революции себя не исчерпал. И, как это ни парадоксально звучит, сегодняшняя суперовская авантюра — лишнее тому подтверждение.

...Шаги за спиной заставили его обернуться. Нет, это были не командующие, они не спешили подниматься по лестнице. К нему приближался канитал первого рапга Артуро Арайя, военно-морской адъютант.

Арайя щелкнул каблуками, наклонил лобастую лысоватую голову. У него была внешность умного драматического актера: гладко выбритое, широкое, немного отечное лицо его не имело определенного выражения и казалось полусонным.

— Ну, что, пессимист? — лукаво спросил его Альенде. — Хватает у нас рычагов власти? Кто же был прав?

Арайя развел руками.

— Разумеется, вы, президент, — ответил он без тени улыбки. — Я не посмел оказаться правым.

Погрозив ему пальцем, Альенде прошел через комнату адъютантов, Рамон Патучо остался возле лестницы, а Хосе занял свое место в приемной: оттуда в кабинет президента вела другая дверь.

В кабинете — просторном помещении с красно-зелеными стенами — Альенде сел за стол с микрофоном, жестом пригласил командующих и министра садиться.

— Можно подвести итоги, — обратился он к Хосе Тоа, — или, как обычно, еще рано?

Тоа понял намек (он имел пристрастие к фразе «под-

подить итоги еще рано») и, потрогав бороду, улыбнулся милой, застенчивой улыбкой.

— В самых общих словах,— проговорил он,— мятежники потерпели сокрушительное поражение.

— Ну, если вы так считаете,— добродушно заметил Альенде,— значит, так оно и есть.

В том, что президент позволял себе сейчас по-дружески подшучивать над добрейшим Тоа, проявлялось не только его отличное настроение. Президент знал, что отношения между социалистом Тоа и профессиональными военными складывались далеко не идеально. Надо было создавать непринужденную обстановку, как-то по-человечески приближать военных к штатскому министру. Трудно сказать, насколько это удавалось: командующие оставались замкнутыми и серьезными, как будто разговор двух гражданских их не касался. Даже Пратс — в бытность свою министром внутренних дел он частенько общался за советом к Хосе Тоа, эти деловые отношения переросли в дружеские, и теперь генерал и министр дружили, как говорится, «домами», — так вот, даже Карлос Пратс в присутствии коллег сохранял кастовую невозмутимость.

— Частности же таковы,— продолжал Хосе Тоа.— Мятежники сделали пятьсот выстрелов по дворцу, двадцать два человека погибло, из них семь военных, остальные гражданские... сорок пять ранено. Среди погибших — оператор аргентинского телевидения Леонардо Энриксен. Офицеры-мятежники арестованы и предстанут перед военным трибуналом.

— Двадцать два человека... — повторил Альенде.

Наступило молчание.

— Число жертв могло быть и большим,— сказал Тоа,— если бы не решительные действия правительственных войск.

— Как поступили с солдатами, втянутыми в мятеж? — спросил Альенде.

— Среди солдат арестов нет,— отвечал Хосе Тоа.— Выяснилось, что зачинщики угрожали им военным судом.

— Этого следовало ожидать,— заметил президент.

— Необходимо отметить личную храбрость генерала Пратса, руководившего операцией в центре столицы, и дивизионного генерала Бошилья, штурмовавшего с артиллерийским полком «Такна» казармы мятежников. Особо хотелось бы сказать об умелой организации обороны дворца правительства, которой руководили заместитель министра внутренних дел товарищ Вегара и лейтенант корпуса карабинеров Серхио Рейес.

— Вне всякого сомнения,— сказал Альенде,— именно опыту и мужеству всех названных лиц мы обязаны сегодняшней победой. Я попрошу вас, генерал,— он повернулся к Пратсу,— представить списки всех отличившихся сегодня солдат и унтер-офицеров полков «Такна» и «Буин», а также курсантов пехотного училища.

Пратс молча кивнул.

— Какова обстановка в гарнизоне Темуко?

— В Темуко все спокойно,— ответил Пратс.— Какой-то майор из штаба округа подстрекал гарнизон поддерживать мятеж, но встретил отпор офицеров.

— Какой-то майор? Хотелось бы знать, кто именно.

— Я это выясню,— коротко ответил Пратс.— Он безусловно понесет наказание.

— Надеюсь. А что происходит на базе ВВС в Килтеро, сеньор Руис?

Лысоватый плотный командующий военно-воздушными силами посмотрел на Альенде своими немигающими глазами, выдержал паузу.

— Вы прекрасно осведомлены, президент,— как бы пехотя ответил оп.— Собственно, несколько летчиков из патриотических побуждений вызывались лететь к Сантьяго...

— С какой целью?

— Налести бомбовые удары по указанию командования. Командование базы запросило меня, я ответил, что в этом нет необходимости.

Альенде помолчал.

— А транспортный самолет в Лос Серрильос был подготовлен к вылету... тоже из патриотических побуждений? Руис усмехнулся.

— Этот вопрос можно было бы адресовать адмиралу Монтеро, — ответил он. — «Геркулес-130» был выведен на полосу по требованию военно-морского флота.

Президент повернулся к Монтеро.

— Военно-воздушная база, — сухо отвечал адмирал, — слишком ретиво откликнулась на просьбу капитана фрегата «Васкес». Командование флота ни о чем подобном авиацию не просило.

— Чего же хотел капитан «Васкеса»? — терпеливо спросил Альенде.

— Мне ничего об этом не известно, — твердо ответил генерал Руис.

— Охотно верю вам, генерал, — язвительно проговорил Монтеро. — Но капитан «Васкеса» сообщил командованию базы ВВС о своем намерении послать самолетом через Лос Серрильос в столицу отряд морской пехоты.

— Для поддержки правительства, не так ли? — спросил президент.

— Боюсь, что нет, — ответил адмирал. — Капитан «Васкеса» арестован, ведется следствие.

— Еще раз повторяю, — резко сказал Руис, — мне лично об этом ничего не известно.

В наступившей тишине раздался короткий телефонный звонок, и Альенде взял трубку.

— Я, кажется, предупреждал, — гневно заговорил он, — чтобы никого... — Пауза. — Ах, вот оно что, — тон его голоса вновь стал ровным, — соединяйте, конечно.

Альенде выждал немного, обвел присутствующих веселым взглядом.

— Приветствую вас, сеньор Айльвин, — заговорил он. — Да, абсолютный провал. Абсолютный и окончательный. Правительство полностью контролирует положение. Благодарю вас, вы очень любезны. Благодарю вас. Нельзя не оценить всей важности этого заявления.

Президент положил трубку, присутствующие почти-тельно молчали.

— Христианские демократы в лице Патрисно Айльвина, — сказал он, — осуждают действия мятежников и заверяют в своей полной поддержке конституционной системы.

— Весьма своевременно, — улыбаясь, проговорил Хосе Тоа. — Весьма своевременно.

7

Ресторан «Каринтия» находится на одиннадцатой миле, недалеко от авеню Лас Кондес. В соответствии с названием внутренняя отделка его выдержана в так называемом альпийском стиле: олени рога на стенах, тяжелые стулья с высокими спинками, тщательно выскобленные некрашенные деревянные столы. Сводчатые перекрытия с арками делят помещение ресторана на несколько обособленных маленьких залов. Официанты одеты по-тирольски, хозяин «Каринтии» — австриец, роскошный толстяк, охотно откланивающийся на имя дош Энрике и не устающий повторять, что вино и пиво ему поставляют из самой Европы (что не вполне соответствует истине). Если вы закажете здесь бутылку «Гато негро», это будет воспринято как оскорбление заведения. Ждать вам придется долго: на ваши вопросы официант будет повторять, что сейчас за ним *куда-нибудь* пошлют. Но это не высокомерие хозяина-европейца: в целом дош Энрике неглуп и уживчив, он

умеет ценить гостеприимство страны, обеспечившей ему безбедную жизнь, приличный доход и счет в швейцарском банке. Охотно подсаживаясь за столики к своим старым клиентам, дон Эприке не вмешивается в разговоры о политике. Единственный политический намек, который он себе изредка позволяет, звучит примерно так: «Когда «Каринтию» национализуют, здесь будут подавать куранто». Куранто (странная, с точки зрения европейца, смесь баранины со свиной и с морскими ракушками) в заведении дон Эприке немыслимо, зато здесь можно заказать «пастосские сосиски», ростбиф, телячьи ножки с капустой или минцель по-вепски. Пиво здесь подается в тяжелых фарфоровых кружках, и пиво, надо сказать, превосходное: пастосский «пильзенер». Между тем сам дон Эприке является горячим поклонником красных чилийских виш (что по слишком выгодно отразилось на цвете его лица и толстой шее), он знает толк и в «Токорпалесе» и в том же «Гато negro».

Постоянные посетители «Каринтии» живут по соседству, в Баррио Альто, они по телефону заказывают столики («тот самый, Эприке, ты знаешь») и оставляют машины на Лас Кондес. Долгие годы здесь, в «Каринтии», не было молодежи, влюбленные парочки обходили это заведение стороной: дорого илюдно, можно натолкнуться на папу с мамой, а это не всегда удобно. Последнее время, однако, ситуация изменилась: в «Каринтию» стала захаживать молодежь — длинноволосая, в джинсовых костюмах и кожаных куртках. Нередко в центре молодежной компании оказывался какой-нибудь толстячок средних лет в черной паре, при галстук, с чемоданчиком «атташе-кейз»: в разгар застолья чемоданчик открывался, пышные пачки эскудо и тошечные плотные — долларов мгновенно исчезали в карманах джинсовых и кожаных униформ.

Столик у выхода на Лас Кондес занимали молчаливые пары в черных свитерах и черных кордовых брюках с

черными же лакированными поясами, их мотоциклетные каски ярко-желтого цвета и дубинки с коваными металлическими накопечниками горой лежали тут же, в углу. Это были боевики «Роландо Матуса», личные гости дон Эрике, с утра до вечера евшие и пившие за его счет. Эту банду матусовцев на всю дошу Эрике посадил один почтенный клиент, денутат от Национальной партии, личный друг самого Харпы. Он запугал хозяина «Карипти» слухами о том, что миристы собираются громить Баррио Альто, и убедил его, что заведению нужна эффективная защита, поскольку на карабинеров надежда невелика. Однако с тех пор прошло уже несколько месяцев, и ни одного мириста в этих местах дон Эрике не видел...

Габриэла была здесь частой гостьей, дон Эрике давно уже приметил эту красивую рыжеволосую и зеленоглазую совсем юную особу, которая свободно чувствовала себя в компании деляг с «аттание-кейзами», но не чуралась и своих сверстников в джипсовой униформе. Знал дон Эрике и отца этой девчушки, вполне respectable клиента, единственным недостатком которого было неумение со вкусом одеваться: вечно какая-то кричащая деталь в его костюме выдавала неевропейца.

Дон Херардо Марин Эррасурис появлялся в «Карипти» с молодежавыми особами, приветственно махал дочери рукой, но никогда не садился с нею рядом. А Габриэла издали критически оглядывала очередную пзбранницу отца. Мать Габриэлы, известная мексиканская актриса, ослепительная красавица, умерла лет десять назад, и дон Херардо никак не мог от этой потери оправиться.

Свой крохотный «репо» Габриэла никогда не ставила на стоянке: вечно бросала у входа, как трехколесный велосипед, поперек дороги, с вывернутыми колесами, нередко с распахнутыми дверцами, и дон Эрике посылал мальчишку присматривать за машиной: еще не хватало, чтобы у его ресторана произошла автомобильная кража и



доброе имя «Каринтии» попало в газеты. Это обходилось хозяину в лишнюю монету, он приписывал ее к счету Габриэлы, по которому всегда платили другие. Особенно часто платил за Габриэлу крупный, мордастый, наголо остриженный детина с близко посаженными маленькими глазками, в компаниях его звали Гато («кот»), надо полагать, это было не настоящее его имя. Впрочем, у Габриэлы тоже была кличка — Марисоль: в то время молоденькая Баррио Альто с увлечением играла в конспирацию — перестуки, перезвоны, сигнальные дудки, тайные системы оповещения. Для юной Габи, однако, хватистый и матерый Гато был совершенно неподходящим партнером по играм, и на месте отца дон Эприке постарался бы это знакомство прервать.

Сейчас Габриэла-Марисоль сидела за столиком под аркой одна и пила «пильзенер», облизывая с губ пену. По мнению Эприке, девочка разыгрывала из себя Мату Харн, но вряд ли та почтенная дама так злоупотребляла пивом. Впрочем, полнота Габриэле пока еще не грозила.

Все это дон Эприке видел, стоя за декоративной стенкой, отгораживавшей его кабинет от малого зала. Само слово «кабинет» дон Эприке произносил с оттенком иронии, хотя отгороженное помещение было достаточно просторно и обставлено с европейским комфортом. Перегородка была вполне звукопроницаемой, и, находясь в своем уединении, хозяин «Каринтии» мог полностью контролировать обстановку в залах, а при необходимости и посмотреть в специальное окошечко, замаскированное со стороны зала плашкой, к которой были прибиты огромные оленьи рога. В это окошечко дон Эприке сейчас и смотрел, подстерегая своих постоянных клиентов.

Как знать, думал дон Эприке, не останемся ли мы сегодня без гостей: день для Баррио Альто выдался черный. С утра здесь лягующе рудели максоны, лилось шампанское в честь «храбрых тапквистов», а к вечеру Баррио

Альто приуныл. Впрочем, может быть, именно уныние приведет гостей в «Каринтию» на вечерний огонек — посидеть, позлословить, оплакать крушение утренних надежд.

К сегодняшнему триумфу Альенде дон Энрике отнесся спокойно: у него сложилось убеждение, что дни «товарища президента» так или иначе сочтены. Более того, размышляя дон Энрике, не является ли жалкая авантюра такистов всего лишь попыткой усыпить бдительность Альенде, внушить ему блаженную мысль о своем всемогуществе? Если так, то задумано и исполнено довольно хитро. Честно говоря, дону Энрике было даже жаль «товарища президента»: как-никак, его с Альенде связывало старинное, хотя и краткое знакомство — обстоятельство, которым дон Энрике тайно гордился.

В далеком 1935 году белообрый, худощавый и бойкий сын австрийского колониста, еще не «дон» и даже не «Энрике», а Генрих, задумал посвятить себя рыботорговле и, скопив немного денег, отправился рыскать по северным провинциям в поисках надежных и не слишком избалованных близостью к столице поставщиков. Молодость, милая молодость, где ты? Сейчас дон Энрике с содроганием вспоминает все тяготы и мытарства, которые ему пришлось пережить.

В небольшом приморском поселке Кальдера, забравшись от столицы чуть ли не на тысячу миль, дон Энрике приуныл. Рыбного Эльдорадо ему так и не удалось обнаружить: местные рыбаки весь свой улов «на корню» продавали торговцам из Копьяпо, а тех совершенно не устраивало появление в Кальдере толстого бродячего австрияка. Как-то вечером несколько здоровенных парней подкараулили дона Энрике и, накинув ему на голову пропахший рыбой мешок, изрядно намяли ему бока — так, что он еле доковылял до дома. Опасаясь внутренних повреждений, дон Энрике попросил хозяйку послать за каким-нибудь медиком. К его удивлению и радости, вместо полуграмот-

ного заскорузлого лекаря явился плотный, по-столичному одетый человек, в полутьме рыбацкого домика показавшийся ему пожилым. Над незадачливым коммерсантом склонилось добродушное участливое лицо с заметно определившимся двойным подбородком, при свете континки поблескивала оправа очков и слегка золотились усы. «Вы немец?» — слабым голосом спросил дон Эприке. Врач покачал головой. Уверенными, сильными руками он опцупал постанывавшего коммерсанта и, выпрямившись, весело сказал: «Все в порядке, сеньор, на этот раз обошлось. Если будете избегать одиноких прогулок, благополучно доживете до апоплексии, к которой, как мне кажется, вы склонны». Дон Эприке почувствовал себя задетым и пробормотал: «Как и вы, доктор?» Врач усмехнулся, но спорить не стал. Когда дон Эприке, привстав на постели, начал совать ему деньги, врач наотрез отказался их взять: «Оставьте, рады всех свитых. Мне не пужны деньги. Я путешествую... за государственный счет». «Это невозможно, — настаивал дон Эприке, цепетильный в денежных вопросах, как и все его соотечественники. — По всему видно, что вы опытный врач. Неужели вы никогда не брали денег со своих клиентов?» «Вы льстите мне, сеньор, — со смехом возразил доктор. — Четыре раза я участвовал в конкурсах на должность ординатора, но отцы города Вальпарайсо сочли меня недостойным. А практику я получил в городском морге. Мои клиенты были куда менее платежеспособны, чем вы. Давайте остановимся на том, что я буду считать вас своим несостоявшимся клиентом». И, пожелав дону Эприке благополучного выздоровления, доктор ушел.

Дон Эприке принялся расспрашивать хозяйку. Оказалось, что это социалист, важный государственный преступник, сосланный в Кальдери по личному указанию президента Алессандри. «И какой добрый человек, — сказала хозяйка, — у соседки моей Хуаниты принял двойню и тоже денег не взял. Дай ему бог долгой жизни».

Наутро дон Эприке решил навести ссыльному врачу ответный, так сказать, визит: культурные люди должны быть любезны друг с другом, в каких бы обстоятельствах они ни находились. Должно быть, доктор действительно был важным преступником: на окраине Кальдеры для него была поставлена армейская палатка, и, надо полагать, обитатель этой палатки, столь неудобной для жизни на берегу океана, находился под неусыпным наблюдением властей. Возле палатки под открытым небом был вкопан в землю грубо сколоченный стол, недалеко толпа босоногих ребятишек с восторгом и обожанием наблюдала, как доктор, стоя лицом к океану, делает утреннюю зарядку. Дон Эприке залюбовался его великолепным мускулистым торсом, а когда доктор обернулся, стало ясно, что это молодой человек, лет около тридцати, в полном расцвете сил. Если бы дон Эприке читал газеты, ему показалось бы знакомым это округлое ясное лицо со скорбно сложенными губами и аккуратной щеточкой рыжеватых усов. В те дни вся прогрессивная печать страны требовала возвращения этого человека из ссылки, в сепате делались запросы о его судьбе. Но обо всем этом дон Эприке узнал только впоследствии, по возвращении в Сантьяго. А там, в Кальдере, практичному австрийцу пришла в голову мысль о том, что бесполезно познакомиться поближе с государственным преступником: Латинская Америка — страна неожиданных поворотов, и сегодняшний ссыльный мог завтра оказаться большим и влиятельным человеком в столице.

Близоруко прищурясь, опальный доктор взгляделся в лицо подошедшего и, узнав его, приветливо заулыбался: «А, мой несостоявшийся клиент! Рад видеть вас в добром здравии. Не рано ли вы поднялись со своего одра?» Дон Эприке заверил доктора, что он чувствует себя превосходно, и, извинившись, доктор вошел в свою палатку и вернулся через минуту одетый. В легкой рубашке защитного цвета, в светлых брюках и сандалиях на босу ногу, под-

тинутый и легкий в движениях, но легкий не суетливо, а как бы нарочито замедленно, доктор похож был на рыбака-спортсмена, прибывшего сюда на собственной яхте, которая сейчас стоит, покачиваясь, где-нибудь поблизости, за скалой. Лишь цепкий взгляд сметливого человека, привыкшего оценивать людей по одежде (а дон Эрике обладал этой способностью смолоду), мог уловить отпечаток многолетней, застарелой и в то же время аккуратной бедности: казенная рубашка была застирана до ветхости, брюки заштопаны в нескольких местах.

Они уселись за стол, на котором оказалась бутылка местного светлого вина, блюдо вареной рыбы. Завязался разговор. У доктора был завидный аппетит. Отдавая должное еде и вину, он с живостью расспрашивал гостя о том, что происходит сейчас в столице. «Все только и делают, что бастуют,— сказал ему дон Эрике,— совершенно отвыкли работать». Такой подход к столичным делам, видимо, позабавил ссыльного. Он весело посмотрел на гостя и с улыбкой, легко и непринужденно, сменил тему разговора. Дон Эрике посетовал на неудачу своей деловой поездки, доктор выслушал его с сочувствием. «Да, сеньор, эта идея была обречена. Везти отсюда рыбу в Сантьяго — не проще ли открыть здесь, в Кальдере, на берегу океана, ресторан и привозить сюда клиентов из столицы?» Дон Эрике на минуту задумался. Сейчас уже трудно судить, но, может быть, идея «Каринтии» в тот день пустила первые корешки в его душе. «Нет, это будет невыгодно,— сказал он с уверенностью.— Прогорим». Доктор захохотал. «А почему вы решили, сеньор, что я папрашиваюсь к вам и компаньоны?» «Я был бы рад,— искренне сказал дон Эрике, ему был симпатичен этот веселый человек.— Но вам это ни к чему, ваша профессия — живые деньги. О, если бы я был врачом... гинекологом, например, в Вальпараисо или лучше в Випья-дель-Мар! Стабильные заработки, солидная клиентура, известности, связи... Разве

стал бы я мотаться по провинция, питаться бог знает чем, спать на омерзительных лохмотьях?..» «Полно, вы слишком мрачно смотрите на мир, — добродушно возразил доктор. — Вы молодцы, легки на подъем, здоровы, у вас вся жизнь впереди, чего же лучше?» Веселый хмель ударил дону Энрике в голову. «О да, — сказал он с жаром, — я многого добьюсь, я это чувствую. Сейчас я небогат и мало кому известен, но лет через тридцать... посмотрим! Солидные люди будут считать за честь пожать мою руку!» О молодость, милая молодость... Сейчас дон Энрике не мог без растроганной улыбки вспомнить о своих тогдашних пылких речах. Да, он достиг кое-чего, и старость его обеспечена, но люди солидные говорят ему, старику, «ты, Энрике» и никогда не протянут руки...

Доктор смотрел на него участливо, и, почувствовав это, дон Энрике смутился. «А вы? — спросил он. — Наверно, у вас тоже есть большие надежды. Недаром же вы тратите свои лучшие годы в этой дыре!» «Надеюсь, недаром, — ответил доктор. — Но я уверен, что через тридцать лет все те, кого вы называете солидными людьми, будут чувствовать себя неуютно. Во всяком случае, я сделаю все от меня зависящее, чтобы им пришлось туго». Дон Энрике недоверчиво посмотрел на хозяина — лицо его было серьезно. «Да полно вам, доктор! — воскликнул дон Энрике. — В вас говорит жажда мести. Они вас послали сюда и поступили прескверно. Но вы помнитесь с ними, вы же благоразумный человек!» «А с этими как прикажете быть?» — спросил доктор, делая широкий жест рукой в сторону каменистого берега. Дон Энрике повернулся — и никого не увидел. «Да, да, именно с этими! — с нажимом повторил доктор. — Разве для такой жизни они родились?» Теперь дон Энрике понял: острый доктор имел в виду ребятник. Одетые в серое, драповое, большие и маленькие, они сидели поодаль, кто на корточках, кто на крупных камнях, и не сводили глаз с доктора и с его собеседника.

Дон Эприке поспешно сунул руку в карман и, пробормотав «Ах, эти... ну да, конечно...», достал несколько мелких монеток. «Не делайте этого, — остановил его доктор. — Им не пужна ваша милостыня...» Лицо доктора стало пасмурным и недобрым, глаза сквозь очки холодно и колко блестели. Внезапно дон Эприке почувствовал, что потерял к этому человеку интерес и что это — взаимно. Он поднялся и стал прощаться. Нет, милый мой, думал он, тряся руку доктора и бормоча слова благодарности, просчитаешься ты, не на ту карту ставишь. Наивный человек: думаешь, толпа оборванцев подымет тебя на волне. Что ж, и такое бывает. Но голытьба и есть голытьба: почувствовав поощрение, она ринется бить витрины и хватать все, что плохо лежит. А когда солидным людям надоест все это терпеть, наступит расплата... Отойдя от палатки подальше, дон Эприке остановился, свистнул, подзывая к себе ребятню. Надо отдать должное смышленным рыбацатам: многие из них заранее почували, чем копчится дело, и побрели вслед за доном Эприке, держась в отдалении. Дон Эприке кинул им горстку монет, началась свалка. Любопытства ею у него не было никакого желания, и он бодро, с усмешечкой зашагал к поселку, и до самого дома его преследовали детские крики: «Дай еще! Дай мне! Мне! Дай! Дай!»

И вот ошалевший доктор стал хозяином Ла Монеды, а люди его подбираются к «Кариятин» — храму, который дон Эприке воздвигал всю жизнь... Любопытно, узнал бы Альенде при встрече своего «несостоявшегося клиента»? Вряд ли: растолстел дон Эприке, обрюзг, и апopleксия действительно висит над ним как дамоклов меч. Сам Альенде очень мало изменился внешне: такой же плотный, подобранный, только больше обвисли щеки да поседели виски и усы. Ах, не стоило тебе, доктор, пренебрегать обществом солидных людей. Стоишь ты сейчас во главе разносортного сброда и гадаешь: то ли свои затопчут, то

ли чужие тебя уберут, и все опять пойдет мирно, по-старому. Черная кость так и останется черной костью, президентскими указами ее не выбелишь...

...Между тем рыжеволосая сеньорита кого-то ждала: она с нетерпением поглядывала в дальний конец большого зала, где был выход к стоянке машин.

В половине шестого в малый зал вошел молодой человек в ярко-рыжей куртке и таких же рыжих чрезмерно узких штанах, которые, видимо, с большим трудом были натянуты на его кривые ноги. У посетителя было смуглое плебейское лицо с бакенбардами, доп Эприке видел этого парня впервые. Вдобавок появился он через боковую дверь, которой обыкновенно пользовались в служебных целях, так как она выходила в узкий переулок, ведущий к улице Фернандо Коэн, где невозможно было припарковать автомобиль. Осмотревшись, молодой человек прошел под арку малого зала и здесь увидел сеньориту Ларин. Лицо его засияло.

— Ола, гайо! — крикнул он. — Вот я тебя и нашел!

Словечко «гайо» было в ходу среди золотой молодежи Баррио Альто (так называли здесь друг друга, без различия пола, мальчишки и девочки «из лучших семей»), произносилось это слово, насколько доп Эприке мог судить, с другой интонацией.

Не нужно было быть опытным физиономистом, чтобы определить, что явился совсем не тот «гайо», которого сеньорита ждала.

— А, это ты, Мемито, — безразлично проговорила Габи и отпила крохотный глоточек пива. — Как-то ты странно вошел. Через кухню, наверно?

— Нет, — широко улыбаясь, ответил парень и подсел к ее столику. Он, видимо, не чувствовал, сколько яду было в словах сеньориты Ларин и в ее крохотном демонстративном глоточке. — Я первый раз сюда попал, но мне здесь

придется. Уютное местечко. Высоковато, правда... И кормит хорошо? А то поесть хочется. Ты ела?

От каждой его фразы Габриэлу коробило. Мемито говорил на языке равнины, это был тот же благородный кастильяно, но все в нем — и построение фразы, и интонация — казалось ей плебейским, заскорузлым.

— Откуда ты узнал, что я здесь? — вместо ответа спросила она.

— Твой отец мне сказал... по телефону.

— А кто тебе позволил разговаривать по телефону с моим отцом?

Мемито насупился.

— И десять дней тебя не видел, черт меня побери. Не думал я, что ты меня так встретишь. И не зови меня Мемито, ты знаешь, что я этого не люблю. Нарочно только явись.

— А разве там, у вас внизу, Гильермо и Мемо — это не одно и то же? — издеваясь, спросила Габриэла.

— У нас внизу — точно так же, как у вас па-верху.

— Ну, так в чем же дело?

Парень молчал. Право, дон Энрике от души ему посочувствовал: рядом с прелестной сеньоритой Ларип все плебейство этого Мемито так и выступало, так и шибало в нос, и не помогали шикарные кожаные доспехи, они сидели на нем так, будто сняты были с чужого плеча. Сам вышедший из низов, дон Энрике был демократом, но он понимал, что существуют непреодолимые сословные преграды: клиенты «Кфаринтии» охотно балагурили с ним за столиком, но в дом к себе не пустили бы — даже на порог.

Видимо, сеньорита попяла, что перегнула палку.

— Ладно, не дуйся, — дружелюбно сказала она. — Пришел так пришел. Но на будущее, гайо, — сеньорита подчеркнула это слово, дав наглядный урок, как его произ-

послать, — имей в виду, что больные являться сюда тебе не следует.

— Почему? — простодушно спросил Гильермо.

— Да потому, что это одиннадцатая мила. Потому что ты здесь бросаешься в глаза. И, боже мой, что за наряд, гайо, что за вкус?

— А чем тебе не нравится мой наряд? — сверкнув глазами, спросил Гильермо. — Что, Гато одевается лучше? Габриэла фыркнула.

— При чем тут Гато? Гато здесь не бывает.

Вдруг она, прищурясь, посмотрела ему в глаза.

— Мемо, дорогой, — проговорила она, понизив голос, — что я сейчас придумала! А ты, случайно, не переодетый упельенто?

Это словечко парню не пришлось объяснять: наверняка не раз он слышал его на улицах. Упельентос — так Баррио Альто называл людей Народного единства (производное от «У Пе» — «Унидад Популар», с ядовитым оттенком чего-то немытого, нечесаного, покрытого коростой), отпоя это слово ко всем миристам, люмпенам, рабочим, беднякам с равнины.

Гильермо и глазом не моргнул.

— Да, я переодетый упельенто, — сказал он с улыбочкой. — А ты разве не знала? Я для тебя переоделся в эту чертову кожу, чтобы прикрыть свои розовые лишай. В Винья на пляже ты их прекрасно видела.

— Ну, не надо так обострять, — несколько смутившись, проговорила Габриэла. — Ты чист, как стеклышко, я это прекрасно помню. Я просто хотела спросить: уж не из тех ли ты, с улицы Макенпа? Слишком ты интересуюсь персоной Гато.

Всему Сантьяго было известно, что на углу Театинос — Макенпа помещается Управление службы расследований — ведомство Альфредо Жуаньяна.

— Конечно, интересуюсь, — спокойно отвечал Гильер-

мо. — Вы обещали мне дело. Я десять дней сидел и ждал как идиот. Тут такие события... а я о них узнаю по радио.

— Да, события... — задумчиво повторила Габриэла. — Кстати, что ты обо всем этом думаешь?

— А что тут думать? Все ясно. Армейские сыграли с нами шутку. Специально спустили со сворки этого Супера и вас, чтобы посмотреть, как будут действовать уцелевшие. А потом ошпарили всю кучу кипятком.

— Ерунду говоришь, гайо, — перебила его Габриэла. — Слишком хорошо ты думаешь об армейских. Все они танцуют под дудку коротышки Пратса, а он с потрохами продался правительству. Некому с нами шутки шутить, не будь оптимистом.

— Некому так некому, — согласился Гильермо.

И, пододвинув свое хитренькое волосатое личико поближе к лицу сеньориты, спросил:

— Ну, а где же ваши тридцать два батальона боевиков, девяносто шесть рот? Где ваши разведчики, взрывники, бомбисты?

Габриэла молчала, прихлебывая из кружки пиво.

— Где же все это, гайо? — не унимался Гильермо. — Бегала по крышам там несколько идиотов, морды себе тряпками завязали... Если это и есть все ваши дела, то мне такого не надо.

— А напрасно, — облизнувшись, сказала Габриэла. — Тебе бы так пошло...

— Ладно, — стукнув кулаком по столу, перебил ее Гильермо. — Или дело давайте, или катитесь вы к чертовой матери, трепачи.

— Мемо, миленький, — Габриэла улыбалась, ласково глядя ему в лицо, — пу, помилуй, что ты говоришь? Какое я тебе могу дать дело?

— Не о тебе разговор. Я должен увидеться с Гато.

— А с Пабло Родригесом не хочешь? Или, па худой папеч, с Шефером?

— Шутнишь, гайо,— проворчал Гильермо.— Эти уж давно в эквадорском посольстве отсиживаются. Обкакались — и в кусты.

— Откуда тебе это известно? — осведомилась Габриэла.

— Да весь город об этом говорит. Ты же не знаешь, что внизу делается. Я здесь бросаюсь в глаза, пусть так, а ты только сунься туда — в своих брючках да в своем «ро-но»... да еще вот в этом... — он брезгливо приподнял «это» двумя пальцами со спинки соседнего стула, — в этом мохеровом попчо...

— Слушай-ка,— сказала Габриэла, перекладывая пончо подальше от его рук.— Давно хочу тебя спросить, гайо: что ты вяжешься с нами? Куда ты лезешь? Тебе же самое место среди упельестос!

Гильермо потемнел лицом.

— Когда я сорил зеленышками у моря,— хрипло сказал он,— мне на мое место никто не указывал. Вы здесь, наверху, я там, внизу, мне это не нравится. Я тоже хочу быть наверху! И буду. И мы тогда с сеньоритой поговорим. А если Альенде пересилит, ваша милость смотается за границу, и там мне вас навек не достать.

— Ах, вот в чем дело,— смеясь, сказала Габриэла.— Все дело, значит, во мне. Гайо, ты очень любезен.

— Смейся, смейся,— ответил Гильермо.— Я тоже хочу тебя кое о чем спросить. Тебе-то зачем пужна вся эта грязь? Красивая, чистенькая, молодая... зачем? Я понимаю — Гато, он к власти рвется, с ним доктор Киссинджер за ручку здоровался, ему очень надо, но ты-то здесь при чем?

— А мне это просто интересно,— охотно объяснила Габриэла.— Еще никогда я так весело не жила.

Сеньорита говорила правду, дон Эпирке мог бы это подтвердить. Много здесь было таких — красивых, чистеньких, юных, воспитанных в духе конформизма, в тра-

двух лояльности к власти предержащим... С победой Альенде они как будто вырвались на волю, почувствовали пьянящий вкус иного образа мыслей, согласно которому утомительная лояльность отменялась, доброспорядочность объявлялась постыдным пороком, а правонарушение возводилось в порму.

Гильермо молчал, глядя на сеньориту во все глаза.

— Эй, гайо! — насмешливо сказала Габриэла. — Ты что — остеклел?

— Да нет... — пробормотал парень. — Это я так...

— Допей мое пиво, хочешь?

Гильермо молча кивнул.

Габриэла небрежно подвинула к нему свою кружку. Гильермо схватил ее обеими руками и принялся с жадностью пить. Дон Энрике крикнул и задвинул свое окошко. «Пропал бедняга, — сокрушенно подумал он. — Жаль паренька».

8

Сесар считал отца большим чудачком и пожилым подростком, которым должна была бы управлять умная и твердая женская рука. Со дня смерти матери прошли годы, но не нашлась еще такая женщина, которая с охотой и умением взялась бы за управление доном Херардо. И состояние его, некогда блестящее, постепенно пришло в упадок. Овдовев и не зная, чем заняться, он недобдуманно вложил солидную часть капитала в эффектное предприятие, которое вылетело в трубу, что сильно подорвало веру дон Херардо в капиталистический строй. Дон Херардо сблизился с радикальным крылом христианско-демократической партии, однако не рискнул покинуть ряды ХДП вместе с группой Гарретона и остался на промежуточной позиции. Дон Херардо высоко ценил острый политический ум Радомиро Томича, любил вслед за доном Ра-

домпро потолковать о коммунистическом социализме, не понимая хорошенько, что это значит. Считал себя левее Томпча и утверждал, что ни за какие блага не согласился бы поехать послом в Вашингтон, как это сделал Томпч по настоянию Фрея. Впрочем, никто и не предлагал допустить Херардо такого поста, и, как поговаривали злые языки, именно это и настроило дядю Херардо против Томпча и против Фрея.

Сегодня, второго июля, исполнилось ровно десять лет со дня кончины доньи Арманды Ластарриа де Марин, известной некогда в кинематографическом мире обеих Америк под именем Марисоль, и Сесар, послушный сын и исправный катялик, далекий, впрочем, от мысли чтить память матери согласно требованиям официальной церкви, считал долгом своим провести этот вечер в доме отца, в кругу семьи.

Он любил этот старый особняк (или, как здесь было принято говорить на американский манер, «бапгало») под высокими густыми деревьями на Витакуре... В пустынных комнатах отцовского дома еще витал дух красивой, умной и нежной женщины — его матери. Малышка Габриэла была и похожа на маму, и не похожа, черты ее лица почти полностью повторяли мамнины (отец не мог говорить об этом без старческих слез, а Габриэла отворачивалась и раздраженно морщилась), но было в ней что-то по-молодому свирепое. В свое время Сесар написал несколько портретов сестры, но ни один из них ей не понравился. «Неужели я такая безобразная? — возмущалась Габриэла. — Какая-то неаппетитная!»

Сесар отселился уже давно: снял дешевую квартирку-студию и жил на те средства, которые мама предусмотрительно завещала ему. Средства эти быстро таяли, и дядя Херардо все реже задавал вопрос, не копчилось ли у него денег. Зато отец охотно устраивал Сесару продажу его картин в хорошие дома Баррио Альто. Это случалось не

так часто, по регулярно и со временем обещало превратиться в источник скромных доходов.

Когда Сесар приехал, Габи сидела в «диване» за ширмой и смотрела телевизор. Оттуда доносились приглушенные крики и леденящий душу смех. Передавали сериал ужасов «Пляшущие тени», по которому сходили с ума все габо Витакеры.

— И как ты можешь смотреть эту мертвечину? — проирчал Сесар.

— Поэтому я и поставила ширму, — весело отозвалась Габи. — Мне здесь хорошо: сижу одна и пью пунш с персиками.

Дон Херардо, взбудораженный и нарядный, только что вернулся из конгресса, где в этот день шли горячие дебаты. Отец ценил свое положение в конгрессе, хотя выступал в палате редко и голосовал точно по указаниям Национальной хунты своей партии. Дон Херардо любил зал заседаний, высокий, как театр, с гигантскими колоннами, балконами, где помануто вспыхивали репортерские блики, с огромной картиной над трибуной... Обо всех перипетиях парламентских дебатов (неважно, участвовал он в них лично или нет) дон Херардо рассказывал домашним. Уны, его единственный пристойный слушатель Сесар не часто баловал отца посещениями, а Габриэла отличалась редкой для женщины нетерпимостью. Поэтому сегодня дон Херардо был счастлив, войдя в гостиную и увидев сына.

— Мой друг! — вскричал он, бросаясь к нему. — Мой друг, ты не представляешь себе, какой щелчок по носу получил сегодня в палате этот наглец, как бить его, из Национальной партии!

Склонив голову, Сесар дал поцеловать себя в лоб. Он был намного крупнее отца, выше и мощнее, серая тройка едва не трещала по швам на его плечах.

— А кстати, — оживленно продолжал дон Херардо, отстраняясь, — каким это ветром тебя занесло? Или ты тоже

почуял, что режим Альенде доживает последние дни? Захотелось услышать последние новости, свеженькие, тепленькие, а?

— Сесар совершенно не интересуется политикой, папа,— подала голос из-за ширмы Габриэла. Удивительно, как она расслышала, о чем они говорят.— Сесар приехал к нам не за тем. Сегодня мамина годовщина, ты разве забыл?

Она выглянула из-за ширмы и посмотрела на отца в упор своими безжалостными светлыми глазами.

— Ах, да,— нахмурился, проговорил дон Херардо и отступил на шаг, потирая лоб,— копецло, ну как же...

Сесар пришел ему на помощь.

— А что у вас там происходило в палате? — спросил он, возвращаясь к журнальному столику, на котором стоял любимый им пisco-скур — коктейль из виноградной водки, лимонного сока и яичного белка, который Габи умела готовить как истая чилийка.— Насколько я помню то, чему меня учили, конгресс у нас имеет лишь наблюдательную функцию, или я что-то напутал?

— Ты ничего не напутал! — благодарный ему за поддержку, заговорил дон Херардо.— Статья тридцать девять, параграф второй. Но, видишь ли... А впрочем, что ты пьешь?

Сесар объяснил.

— Странно,— сказал дон Херардо, усевшись в свое глубокое кресло, куда не имел права никто садиться, кроме него,— странно, а я полагал, что художники пьют один лишь неразбавленный джин.

И, довольный шуткой, которую каждый из домашних слышал по меньшей мере тысячу раз, дон Херардо захохотал.

— Мне, будь добра, вина со льдом,— сказал он дочери, отсмеявшись.— Надо немного остыть, дебаты были слишком горячими.

Габриэлла выпла из-за ширмы и, смерив обоих мужчин спохватительным взглядом, отошла к бару.

— Послушай, она пастоящая фашистка, — понизив голос, дон Херардо наклонился к сыну. — Жену я вывез из Мексики, а дочь, похоже, из самого Парагвая. Меня это, право же, начинает нервировать. За что она меня так ненавидит?

— Ты ошибаешься, папа, — возразил Сесар, смакуя свой коктейль. — Габриэлла нас любит, обоих. Но — не такими, какие мы есть.

Склонив голову, дон Херардо прислушался к себе, потом хмыкнул.

— А это ты неплохо сказал: не такими, какие мы есть. Ну, так вот, если ты еще не знаешь: сегодня в пала-те обсуждался вопрос о введении в Чили осадного положения на девятисто дней.

Он поднял плечо.

— На девятисто дней! Ты представляешь, на что замахнулся Альенде?

— Но позволь, — проговорил Сесар, чтобы поддержать разговор, — что же здесь такого ужасного? Была попытка переворота, а кроме того — разве осадное положение еще не введено? Меня это удивляет.

Дон Херардо возликовал.

— В том-то и дело, что нет! Введено чрезвычайное положение в Сантьяго и провинции, но Альенде этого мало.

— А разве есть какая-то разница? — спросил Сесар.

— Папа, Сесар притворяется, — сказала, подойдя с высоким стаканом, в котором позвякивали льдинки, Габриэлла. — Товарищ Сото давно уже все ему объяснила. Она читает ему политический курс каждый день.

И Габриэлла, ослепительно улыбаясь, села рядом с мужчинами.

Дон Херардо пасунился. Упоминать имя Каролины в этом доме было запрещено. А виною тому было соверше-

но пустячное, даже смехотворное обстоятельство. Однажды в «Сигло» появилась довольно остроумная заметка, где имя сеньора Марина не называлось, но речь шла о широком ярко-голубом галстуке, которым украсил свою христианско-демократическую грудь один из депутатов оппозиции. От всей души похвалив обшивку, Нья Пируса (это она вела колонку «В стенах конгресса») выдвинула предположение, что эта неожиданная и радующая деталь туалета, возможно, свидетельствует о каких-то внутренних процессах в парламентской фракции ХДП, поскольку ивой повизны пока не заметно. Дон Херардо не читал коммунистической прессы, пахотид ее скучноватой, и на следующий день вновь надел этот галстук, совершенно не подходящий к темному депутатскому костюму. Разумеется, он был неприятно удивлен, видя, что все оборачивается и усмехаются в кулуарах. Добрейший человек, он обиделся на Каролину, обида же его проявлялась в том, что он тщательно избегал всякого упоминания ее имени. Поэтому сегодня Габи, настроенная агрессивно, была паверияка.

— Чили — маленькая страна, — сухо проговорил дон Херардо. — В ней нет места для глобальных амбиций. Вот в чем ошибка всех наших марксистов — больших и маленьких.

Но, утотлив таким образом жажду мести, он понемногу успокоился. Вновь разговорившись, прихлебывая холодное красное вино, он дельно объяснил сыну, что осадное положение, в отличие от чрезвычайного, дает президенту возможность перемещать служащих из департамента в департамент, содержать их под домашним арестом, перетряхивать государственньй аппарат — и оттого ведет к установлению единоличной диктатуры.

— Естественно, ваши министры внутренних дел и обороны... — теперь уже обида доня Херардо проявлялась лишь в том, что он намеренно отождествлял Сесара с Каролиной, — всячески расхваливали осадное положение. Мы

же считаем, что зона чрезвычайного положения достаточно широка. Кроме того, у нас нет гарантий, что осадное положение не будет использовано в политических целях. Мы согласны иметь дело с Народным единством по данному вопросу, если Альенде согласится гарантировать соблюдение демократических норм.

— Он на это никогда не пойдет, — встала Габриэла.

— А по-моему, Альенде уже подписывал вам какие-то гарантии, — возразил Сесар. — Разве он их не соблюдает?

— Отчего же, — благодушно рассматривая стакан на свет, согласился дон Херардо. — Альенде обязался не препятствовать деятельности оппозиции, не вводить цензуру, не ограничивать свободу слова, не вмешиваться в армейские продвижения по службе, не создавать гражданских вооруженных формирований, ну и так далее. Мы за этим следим.

— Но теперь вам этого мало.

— Разумеется, мало. Мы согласились бы на осадное положение, если бы руководство провинциями было передано вооруженным силам. Но Альенде не желает об этом и слышать.

— Еще бы! Ведь вооруженные силы подняли против него мятеж.

— Совершенно верно. Но вооруженные силы этот мятеж и подавили. Как правильно заметил этот наглец из ИП, как бишь его... ох, моя память...

Ничего дон Херардо не забыл: он был верен своей привычке не называть по именам людей, которые чем-то ему досадили.

— Ну, хорошо, неважно, как его зовут. Но в остроумии ему не отказать. Он заявил, что события пятницы двадцать девятого — дело внутреннее, военное, и незачем президенту давать какие-то особые полномочия. Но дальше из него полезла белиберда, с которой мы решительно не согласны. Он уверял, что правительство Альенде после пят-

ницы перестало быть законным. Мы этого не видим, равно как не видим и логики в подобных наскоках. Почему именно после пятницы? Это значит в субботу? А что ужасного Альенде совершил в субботу тридцатого? И тут социалист... как бишь его там? Впрочем, неважно... встает и напоминает, что именно в субботу карабинеры вскрыли нелегальный мясной склад, принадлежавший почтенному оратору. Сотни полторы коровьих туш, три тонны расфасованного мяса... По нынешним временам — это капитал! Конфисковали и распродали с грузовиков по твердой цене, там же, на Эскобар Вильямс. Выручку, разумеется, передали хозяину. Надо было видеть лицо этого мясника, когда он спускался с трибуны!

— Дожили, — насмешливо фыркнула Габриэла. — Расфасованное мясо стало дороже бриллиантов! Скоро станем носить ожерелья из куриной печени.

Дон Херардо не оценил этой реплики.

— И всем стало ясно, — похохатывая, продолжал он, — отчего мясник злобствует.

— Ничего, — сказала Габриэла, — скоро этого мерзавца упрячут за колючую проволоку. Где-нибудь на острове Мас-Афуэра.

— Ты кого имеешь в виду? — не понял дон Херардо. Глаза Габриэлы недобро блеснули.

— Ну, разумеется, социалиста, этого паршивого упельенто.

Дон Херардо был огорчен.

— Что за выражения! — воскликнул он. — Откуда эта ненависть в моем доме? Впрочем, я знаю, откуда: это ваш Альенде, — он направил указующий перст на Сесара, — ваш Альенде и его друзья-догматики ухитрились восставить против себя весь средний класс. Будь у меня мало-мальски солидная недвижимость, я бы тоже не мог спать ночами, я бы тоже задыхался от бешенства: проснешься — а ты уже нищий, в твоем гараже, в твоем магазине, в твоей

мастерской, которые достались тебе ценой трудов и лишений, ни с того ни с сего распоряжаются господа Мигель Эрикес и Карлос Альтамирано. Видите ли, эти досточтимые кабальерос не собираются возвращать те предприятия, которые их волосатики... извини, дорогой... их бандиты заняли в пятницу двадцать девятого. Видите ли, они еще подумают, что возвращать, а что нет. Это ли не возмутительное беззаконие? Это ли не торжество грубой силы? Отсюда — климат нетерпимости, климат ненависти, в котором растут наши дети.

— Я думаю, все виноваты в создании климата ненависти, — задумчиво сказал Сесар. — И твой мясник, и ты тоже. Да, собственно, ненависть — это сущность любой политики.

— Переро! — вскричал дон Херардо. — Мы всегда были слишком терпимы по отношению к Альенде! Мы никогда не отказывались сотрудничать с ним! В нашей программе шестьдесят девятого года, которая, кстати, так и называется «Политическое и социальное единство народа»... где оно, это единство? Где оно, если уже в моем доме слышались разговоры о колючей проволоке? Так вот, эта программа еще тогда предусматривала соглашение с коммунистами и социалистами. Мы уже давно пришли к выводу, что необходимо отказаться от капитализма с его системой ценностей, разве это не основа для соглашения? На втором этапе выборов семидесятого года мы по предписанию Национальной хунты голосовали за Альенде, хотя лично я был против, я все предвидел уже тогда!.. Видите ли, они называют себя партиями рабочего класса! Экая монополия на рабочий класс! Да общеизвестно, что большинство рабочего класса голосовало как раз за христианских демократов!

— То есть за тебя, — вставила Габриэла.

— Да, и за меня тоже. Что ты против этого имеешь?

— А мне скучно слушать ваши разговоры о рабочем

классе, — сказала Габи, помешивая в бокале свой детский коктейль. — И об Альеде тоже скучно. И все, что делает этот старик, — ужасная скука. Я не хочу быть труженицей, работницей, не хочу, чтобы меня судили квартальные суды, не хочу, чтобы моими личными делами занималось министерство защиты семьи. Я не хочу, чтобы меня лапали паршивые упельентос.

— Бедная Габи! — засмеялся Сесар. — Бедная Габи убеждена, что вся эта суета затеяна с единственной целью — лапать бедную Габи.

— А что ты хочешь? — серьезно возразил дон Херардо. — Наша Габи слишком красива для демократии. Красота — это тот же комплекс. Красивые люди часто склопны к тоталитаризму, я это замечал.

— Ну, что ж, — кротко сказала Габи, — если оставить слово «комплекс» на твоей отповской совести, меня вполне устраивает это объяснение. Кстати, Сесар, товарищ Сото тоже очень хороша собой, ты не находишь?

— Ну, мошенница! — Дон Херардо захохотал. — И ведь умна, ведь умна! Горе тому, кто с тобой свяжется!

9

В понедельник девятого июля Альеде выехал в Ла Монеду чуть раньше, чем обычно, без двадцати девять. Всю ночь шел проливной дождь, но утром распогодилось, и президент попросил Хано опустить боковое стекло «фиата».

— А не простудитесь? — спросил Хано, с неохотой выполняя просьбу. — Мне донья Ортенсия не велела...

— Ну, не такая уж я старая развалина, — недовольно возразил Альеде. — Вы с доньей Ортенсией готовы обложить меня ватой.

— А кто прошлой зимой болел?

— Ты, друг мой, с такой гордостью об этом говоришь, как будто это твоя заслуга. Сам-то в пальто, и шарф поп какой намотал. Спортом надо было заниматься в детстве.

Хапо обиделся.

— Я, товарищ президент, легкие в Мачали испортил, на медеплавильном. Серниую кислоту не выношу, стало в груди кипеть...

— Вот оно что, ну, прости. Значит, ты у меня — живой представитель элиты, рабочий аристократ?

— Бывший, товарищ президент. Бывший.

— Хорошо. Как ты думаешь, будут они там еще бастовать? Каждая их забастовка для нас — разорение.

— Я скажу так, товарищ президент, — степенно начал Хапо. — Рудничный рабочий класс винить во всем нельзя. Забастовку на руднике организовать — плевое дело. Достаточно водителей подстрекнуть. Не выйдут утром автобусы от поселка к руднику — вот тебе и забастовка. Пешком-то в гору не пойдешь.

— И ты полагаешь, все дело в этом? — прищурясь, спросил Альянде.

— Ну, конечно, не только в этом. Но подговорить на забастовку целый рудник — это, скажу вам, задача: кто согласен, кто нет. А водители всегда готовы: нерабочий они народ, к руднику не привязаны, одна в голове забота — скопить деньжонок да свой грузовичок занять. Сунь им в руки по кошельку — они и рады стараться. Вот такое у меня мнение. А правду говорят, товарищ президент, — Хапо сделал попытку обернуться, но тут же раздумал, — правду говорят, что скоро медь пойдет в Лондоне по доллару за фунт?

— Да похоже на то, — ответил Альянде. — На сегодняшний день биржевая цена — девяносто восемь центов без малого.

— Ишь, как скачет. А давно ли было пятьдесят.

— Сорок восемь центов даже было, — с горечью сказал Альенде, — когда няки свою медь на рынок выбросили. Отомстить нам хотели... за национализацию.

— Ну, когда до доллара поднимется, — рассудил Хапо, — тогда и заживем.

— А что ж, может быть, и заживем, — весело сказал Альенде. — Как вы считаете, Артуро, заживем или нет?

Капитан Арайя, устало смежив веки, сидел рядом с президентом.

— Вам нездоровится? — участливо спросил Альенде.

— Знобит немного, — через силу отвечал Арайя. — Пустилки, я всегда плохо перепошу зиму.

— Холодный душ по утрам — лучшее средство от озноба.

Арайя зябко передернул плечами и усмехнулся.

— Ну, если это радикальное средство вас не устраивает, — сказал Альенде, — могу предложить прогулку. Хапо, остави машину, мы пройдемся пешком.

Хапо, взглянув в зеркало заднего вида, дал два коротких гудка, и кортеж остановился на углу Балдера и Уэрфанос.

Подбежал встревоженный Хосе.

— Что-нибудь не в порядке? — спросил он.

— Нет, нет, не волнуйся, — ответил Альенде, выходя из машины. — Мы с капитаном дойдем до дворца пешком.

Президент и Арайя медленно двинулись по бульвару Уэрфанос. Хосе сделал знак, Рамон пошел следом, в некотором отдалении, чтобы не докучать президенту своим обществом.

— Старательные ребята, — проговорил Альенде, оглянувшись. — Дай им только волю — каждый кустик на пути у нас так и будет выкрикивать: «ГАН! ГАН!» А вы не боитесь, что у вас такой опасный попутчик?

— У Пабло Родригеса плохие стрелки, — ответил Арайя. — Их трепируют оставшие полковники, а это дур-

для школы. Ни разу в жизни не видел полковника, который бы хорошо стрелял.

Некоторое время оба молчали.

— Вы чем-то удручены? — спросил Альенде.

— Президент, — неожиданно энергично заговорил Арайя, — мы с вами говорили о планах дальнейшего включения военных в политическую жизнь. Мне хотелось бы изложить вам свое частное мнение. Правда, последнее время я нахожусь в офицерской среде в некоторой изоляции...

Быстро взглянув на него, Альенде хотел что-то спросить, но промолчал. Минуту они шли в тишине, затем Арайя продолжал:

— Именно поэтому я остро ощущаю, насколько косна и замкнута эта каста, насколько затемнено ее сознание, насколько низменны мотивы ее действий. Президент, там зреет страшный нарыв. Супер проиграл лишь потому, что инговорщики более высокого ранга решили подождать другой okazji.

— У армии нет оснований быть нами недовольной, — заметил Альенде. — У армии в целом, я имею в виду. Мы тратим на нее в семь раз больше, чем тратило правительство Фрея.

Арайя горько рассмеялся.

— Что им до этого? Предел мечтавший рядового офицера — попасть на стажировку в зону Панамского канала, в какой-нибудь Форт-Гулик. Конечно, янки выгонят из него семь потов: он будет неделями мотаться по сельве, отрабатывать методы ведения нерегулярной войны, пытаться лизушками и змеями, учиться вспарывать кишки кривым ножом... У нас это называется «пройти канализацию». Но зато, вернувшись с «канализации», офицер привозит машину и достаточно долларов для покупки хорошего «бангало» с кондиционером. Естественно, стажировка на Кубе ничего такого ему не даст. Так как же после этого

он будет относиться к нашему антиимпериализму? В лучшем случае с насмешкой. Нет, президент, офицерский корпус не готов к вовлечению в политику. Прививать ему вкус к политике — все равно что поить хищника теплой кровью...

Наступило молчание. Со стороны можно было подумать, что двое немолодых уже братьев прогуливаются по бульвару, причем младший, в форме флотского офицера, почтительно склонив голову, готовится выслушать папиздание от старшего.

Альенде пасово смотрел на Арайю. От большинства военных Артуро отличался своей подлинной интеллигентностью — раскованностью мышления, широтой подхода к вещам и событиям. «Пока в вооруженных силах есть такие офицеры, — думал Альенде, — наше дело не безнадежно». Над Арайей не довлел «призрак пещеры», о котором писал когда-то Бэкон, — тот свод привычных представлений, выше которого, кажется, ничего нет. Арайя принимал Народное единство как альтернативу фрееровскому маразму, но, сблизившись с Альенде, нередко высказывал сомнения: возможно ли осуществить задуманное, пользуясь лишь одним рычагом власти? «Помимо руля, в государственном агрегате есть и другие педали». «Например, тормоз», — прощесски подсказывал Альенде. «Нет, я о тормозе не говорю. Я знаю, что вы не поставите ногу на тормоз. Но вот сцепления в пугный момент вам отжать не дадут. Все хорошо, пока машина движется по инерции. Впрочем, я от души желаю вам успеха».

— Отчасти вы правы, друг мой, — помолчав, сказал Альенде. — Пратс предлагал мне посылать офицеров, помимо зоны, в ознакомительные поездки по странам мира. Дать им возможность почувствовать, что мир не пачкается и не копчется у стен Пентагона. Но это долгий процесс. Он вовсе не отменяет необходимости преобразования вооруженных сил, их демократизации и в то же время ук-

решения их профессионального характера. Надо только, чтобы эти преобразования шли изнутри армии, по ее собственному убеждению. И я верю, что такое убеждение создается — в процессе приобщения к политической жизни страны.

— Но может так получиться, — возразил Арайя, — что гораздо раньше в офицерской среде возникнет вкус к политической власти. За сорок лет этот вкус слегка притупился... по стоить начать...

— Вы так говорите, любезный мой Артуро, как будто в нашей власти пачать политизацию или ее запретить. Да если вы хотите знать, политизация давно идет! Вооруженные силы — это поотъемлемая часть общества, и все, что происходит в обществе, непосредственно касается вооруженных сил. Не из швейцарских же наемников они, черт возьми, состоят. Такие же чилийцы, как мы с вами. Поэтому изолированность от политики есть вещь принципиально невозможная. Опасна лишь однопартийная политизация вооруженных сил: это — раскол! Вы говорите об автомашинках и домиках с кондиционерами, которые привозит из Панамы наши стажеры. Но ведь не помешало же это армии поддержать национализацию медных рудников. Как вы думаете, отчего? Ведь эта мера больно хлестнула по империализму янки. Или вы думаете, что в Форт-Гулике плохо промывают мозги? Нет, дело в том, что национализация меди — каждому чилийцу ясно — идет на пользу нации, а крепнущая экономика — это растущая обороноспособность, в чем вооруженные силы, несомненно, заинтересованы, не станете же вы это отрицать!

Арайя молчал. Он снял фуражку, заложил руки за спину и упорно смотрел себе под ноги, не поднимая глаз.

— Вот по такому пути должна пойти политизация армии, — мягко, но настойчиво говорил Альенде. — Армия в политическом смысле для нас — это устойчивый элемент системы, обеспечивающий непрерывность конституционно-

го процесса, что на пыленном этапе означает — обеспечивающий необратимость перемен.

— Гарант, верховный арбитр, — глухо проговорил Арайя, — страховая компания, к которой в критический момент может обратиться кто угодно...

— Отчего же кто угодно? Мы, и только мы, имеем на это право. Наши реформы должны принести ощутимый успех, который в первую очередь почувствуют на себе народные массы. А следом и армия осознает, что граница национальной безопасности проходит не только по рубежам, но и внутри страны, что страна без голодных, безработных и певущих выигрывает не в последнюю очередь именно с точки зрения обороноспособности.

— Пока эта мысль дойдет до последнего супера... — вяло проговорил Арайя.

Альенде посмотрел на него выжидательно, но капитан не договорил.

— Наденьте фуражку, прохладно, — сказал Альенде. — И вдумайтесь, Артуро, от чего вы пытаетесь меня предостеречь. Прекратить, запретить политизацию армии — это же значит окончательно превратить ее в касту, замкнутую и косную. Не с этого ли мы начали наш разговор?

Они подошли к углу На Монеда. На Моранде, напротив президентского входа, уже собралась толпа. Прохожие замедляли шаги, останавливались, ждали, когда президент подойдет. В толпе, на голову возвышаясь над остальными, виднелась фигура Рамона: щурясь, как от яркого солнца, он зорко поглядывал вокруг.

— Смотрите, а Патучо уже здесь! — засмеялся Альенде. — Наверно, проклиная нас за то, что мы прибавили ему работенки.

Увидев, что президент смотрит в их сторону, люди замахали руками.

— Я вас не убедил? — вполголоса спросил Альенде.

— Не знаю, — ответил Арайя, — меня терзают другие

предчувствия... Нет, те стрелки Родригеса держат нас под прицелом: другие, профессиональные стрелки.

Он посмотрел на президента — и спохватился: лицо Альенде, такое оживленное с утра, стало серым, измученным.

— Простите, я вас огорчил. Дон Чичо, я и в самом деле поддался дурному самочувствию! Ну как мне искупить свою вину? Взгляните: вас ждут одни только женщины! Альенде невесело рассмеялся.

— Хитрец! Да, с женщинами мне всегда не везло: они упорно голосуют против меня. Наверное, я недостаточно для них импозантен.

Они подошли к толпе. Альенде, улыбаясь, стал здороваться с людьми. Руку одной девчушки, круглолицей, смуглощечкой, он задержал в своей руке; рядом с нею, цепко держась за ее юбку, стояла девочка лет пяти.

— Дочка? — спросил Альенде.

— Сестречка, — зарумянившись оттого, что все обратили на нее внимание, ответила девушка. — Очень хотела познакомиться с товарищем президента.

Альенде наклонился, потрепал по голове девочку, которая весело и без всякого стеснения его разглядывала.

— Как тебя зовут, маленькая сеньорита? — спросил Альенде.

— Лусита, — бойко ответила девочка.

— Ну, Лусита, посмотрела на товарища президента? Обыкновенный старичок, правда? Наверное, ты разочарована?

— Да, разочарована, — сказала Лус, отчетливо выговаривая новое для нее слово.

Сестра растерялась и покраснела до слез, а Альенде от души рассмеялся.

— Кого же ты ожидала увидеть? — спросил он.

Девочка поняла, что она отвечает не совсем так, как следовало бы, но все равно упрямо ответила:

— Я думала, вы весь красный.

Кругом заулыбались. Даже капитан Арайя болезненно улынулся.

— Я же не знал, что ты придешь на меня посмотреть,— серьезно сказал Альеде.— В следующий раз, когда ты придешь, я сделаюсь весь совершенно красивый.

Лус посмотрела на него, потом на сестру и спросила:

— Весь? Или как мама?

— Это она меня так зовет,— поспешно объяснила девушка,— а на самом деле меня зовут Мануэла.

— Ну вот, совсем смутили Мануэлу,— сказал Альеде, смеясь.— Вы учитесь? Работаете?

— Работая,— торопливо ответила Мануэла.— Вернее, работала, а сейчас... Я скоро уезжаю учиться.

— Вот как! Поздравляю. И куда, если не секрет?

— В Гавану,— гордо ответила Мануэла, покраснев при этом еще больше.

— Это прекрасно,— сказал Альеде.— Обещаю вам, Мануэла: через год, когда вы приедете на каникулы, жизнь будет лучше, намного лучше.

— Я знаю,— ответила Мануэла.

— А! — Альеде поднял палец.— Вот я вас и поймал! Значит, сейчас не так уж хорошо?

Но этим Мануэлу было не сбить.

— Сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня,— отвечала она.

— Ну так уж сегодня лучше? — допытывался Альеде.— Рис приходится на черном рынке покупать, ведь так? И растительное масло тоже?

— Ну и что? — возразила Мануэла.— Все это временные трудности. Зато сахар с Кубы привезли, двенадцать тысяч тонн, я читала. Раньше как пытались? Хуже некуда. А в магазинах полки ломились. Вот поднимутся цены на медь — и все станет хорошо.

— Смотрите, — Альенде, сияя от удовольствия, повернулся к адъютанту. — Смотрите, как нам товарищ Мануэла все хорошо объяснила. Государственно мыслит!

— Нет, я еще не все сказала! — с детским простодушием заторопилась Мануэла, и пожилые женщины вокруг, понимая весь юмор ситуации, стали переглядываться и пересмеиваться. — Еще, конечно, спекулянты продукты придерживают, чтобы цены взвинтить: мыло, гвозди, нитки разные, даже аспирин.

— Зубную пасту, — подсказали из толпы.

— Вот, зубную пасту! — подхватила Мануэла. — И долги нам остались от Фрея, тоже падо расплатиться, а отсрочки не дают! Вы не беспокойтесь, товарищ Альенде, мы все понимаем! Режим экономии и дисциплины, борьба с инфляцией и черным рынком...

Рамон, незаметно пробравшийся поближе к девушке, наклонился и что-то шепнул ей на ухо. Она растерянно умолкла, постояла немного и повторила:

— Мы все понимаем, товарищ Альенде!

— Спасибо вам, Мануэла, — сказал Альенде. — Спасибо и то, что вы все понимаете.

И, повернувшись, быстро зашагал к Ла Монеде. В дверях остановился, позвал к себе жестом Рамона.

— Славная девчушка, — сказал он, когда Патучо подбежал. — Кстати, о чем это ты с ней перешептывался?

— Да так, — глядя в сторону, ответил Рамон.

— Что значит «так»? — рассердился Альенде. — Обманул человека на полуслове — это по «так»? Хотел, наверно, поскорее сдать меня на руки дворцовой охране? Торопиться куда-нибудь?

— Товарищ президент! — взмолился не ожидавший такого упрека Рамон. — Я просто предложил ей: «Давай-ка, чали, поговорим на эту тему со мной... после работы».

— А кстати, Рамон, ты женат? — спросил Альенде.

— Так точно, товарищ президент, — ответил Рамон. — Спасибо за внимание.

— Ну, так вот. Передай Хосе, чтобы он назначил тебе трое суток ареста.

10

В этот день вооруженные силы отмечали девяносто первую годовщину битвы при Консепсьоне. Торжественные церемонии должны были состояться в полках «Такна», «Буиц», «Пуэнте Альто», в пехотном училище. Посовещавшись с военными, Альенде решил посетить пехотное училище, состав которого отличился в пятницу двадцать девятого. Сегодня по традиции курсанты-новички принимают воинскую присягу.

Выехали в половине одиннадцатого. Вместе с президентом на церемонию направлялись командующий сухопутными силами Прате, новый министр обороны Клодомиро Альмейда и бывший министр обороны Хосе Тоа, несколько дней назад оставивший этот пост. Со стороны начальника училища полковника Леонардо Кеннинга было большой любезностью послать приглашение и министру, и экс-министру. Тоа хотел отклонить приглашение по нездоровью, но Альенде удалось его уговорить: эмоции не должны влиять на отношения с вооруженными силами, а кроме того, полковник Кеннинг, по некоторым данным, готовил бывшему министру какой-то сюрприз.

Леонардо Кеннинг, невысокий сухощавый пруссак с жестким лицом неступленно-пунктуального человека, начал церемонию ровно в одиннадцать. Он был похож на инструктора в кирасирском полку, где в молодости служил Альенде. Тот был настолько пруссак, что даже не старался правильно говорить по-испански. Дон Леонардо, напротив, безусловно владел «кастельяно». Немецкие колонии

сти в Чили издавна отдавали своих сыновей в военные училища, считая военной карьеру в этой стране наиболее перспективной.

Под звуки гимна «Старые знамена» на плацу были выстроены курсанты-новички, прошедшие предварительную воинскую подготовку. Молодые ребята, будущие пехотные офицеры, в боевых касках и полевом снаряжении, выглядели как заправские воины. Альенде вглядывался в их юные судорожно застывшие лица: поистине в простых солдатских душах ничего не изменилось с тех пор, как он, молодой кирасир, был приведен к военной присяге в Вилья-дель-Мар без малого пятьдесят лет тому назад. То же высокое напряжение минуты, та же волна восторженной любви к пожилым людям, стоящим перед строем и олицетворяющим сейчас для этих полудетей Родину... «Наш президент, — читал он в глазах курсантов, — наш командующий, наши министры...» Вот — чистая доска, на которой огненными буквами может быть начертан любой приказ. Нет, тысячу раз не прав капитан Арайя, армия адорова, трагические предчувствия обманывают его. Надо лишь не допустить, чтобы эти святые в своей готовности души оказались игрушками в руках бессовестных честолюбцев... надо добиться того, чтобы на высших командных постах находились надежные, преданные конституции генералы, искренне заинтересованные в успехе грандиозного социального сдвига.

Спокойный и деловитый, но и в этой деловитости неистребимо штатский, стоял рядом с президентом Клоди́ро Альмейда. Чуть поодаль, высоко подняв голову, с видом обезоруженного, но не побежденного рыцаря, — Хосе Тоа. Слова от Альенде — привыкший за долгие годы службы к подобным торжествам и оттого менее подобранный, почти безразличный генерал Пратс.

Фанфары, барабанная дробь, вносят знамена. Древки — горизонтальные, тяжелая с шитьем и кистями ткань почти

касается земли. И, вытянув руку вперед, курсанты повторяют слова присяги:

— Клянусь... перед богом и этим знаменем... верно служить... своей родине...

Отгремела присяга, вновь запели фаифары: «Слушайте все!» Слово — президенту республики.

— В этом воинском соединении, — заговорил Альенде, — на страницах из бронзы и славы живет и дышит история нашей страны. Пехота, издавна носившая гордое имя «царица полей», навсегда останется незыблемой базой чилийской истории. Армия — это душа народа и в то же время сам Народ в униформе...

Звонкие, бряцающие слова, лишённые серьезного смысла. Но, увы, по-другому здесь говорить было нельзя. Страшная и в то же время вполне понятная вещь: президент республики не может сказать своим солдатам то, что он считал бы нужным сказать. Малейшее отклонение от казенного, тщательно выверенного текста — и шум в конгрессе, в печати: Альенде политизирует армию, ведет к расколу в рядах вооруженных сил, подрывает национальную безопасность страны! Но эти юноши, светло глядящие на него из-под хмурых, тяжелых касок, — неужели они не чувствуют муки безгласности в словах своего главнокомандующего?

— Ваши наставники, видимо, часто повторяют вам на занятиях: «Вариантов много, а решение всегда только одно — то, которое приводит к победе». Я и сам слышал в молодости эту фразу от своего ротного командира. В более широком смысле решение у армии действительно только одно: верность конституции, безусловное выполнение воинского долга...

Да, напряженность вибрировала в самом воздухе над этим утоптаным плацем, над плотными каре будущих офицеров пехоты. Здесь проходили невидимые оголенные провода чудовищного напряжения.

— Вайца старшие товарищи с оружием в руках подтвердили эту решимость армии на центральных площадях столицы, защищая под командованием испытанных генералов народную власть...

Даже слова «защищая народную власть» были уже опасным приближением к грозной линии проводов. Лицо полковника Кеннинга словно окостенело, Клодомиро Альенде переступил с ноги на ногу, Хосе Тоа еще резче вскинул бороду и шевельнул кадыком. А глаза из-под касок смотрели на Альенде с бездумным восторгом. Курсантов наверняка учили, что власть не может быть народной или антинародной, все это политические определения: если власть конституционная, то она просто власть. Впрочем, как судить, чему их учили? Хосе Тоа был в этом училище четыре раза, и ему так и не удалось побеседовать с курсантами. Всякий раз часы его посещения долго и тщательно согласовывались, как будто он был не министром обороны, а представителем враждебной державы, и в результате оказывалось, что курсанты уведены на стрельбища или на полевые учения. Преподаватели в офицерских мундирах (они стояли в стороне от высоких гостей, и Альенде чувствовал их настороженное внимание) ревностно оберегали своих питомцев от всякого влияния извне. «Мы — профессионалы, — всем своим видом говорили они, — мы знаем свое дело и, как нам кажется, знаем его достаточно хорошо».

Что поделаешь, армия, долгие годы не воевавшая, становится нервной и мнительной, как стареющая супруга. Здесь и гордыня, и комплекс неполноценности: смутное опасение, что могут вовсе без нее обойтись.

Альенде устал от этой речи и, как всегда с ним бывало, когда он выступал перед воинскими частями, остался недоволен собой. Все как будто сказано верно, все уговоры, явные и негласные, соблюдены, но отчего такая неприятная опустошенность в душе? Он успокаивал себя тем, что

личный контакт, устанавливающийся между оратором и массой на гражданском митинге, здесь невозможен, а именно личного контакта ему и недостает.

Вслед за президентом несколько слов сказал полковник Кеннинг. Он сухоовато упомянул о генерале Шнейдере, который предпочел умереть, но остаться верным конституции. При этом — ни слова о том, что генерал Шнейдер пал жертвой заговора: слова пачальщика училища можно было истолковать так, что предшественник Пратса ушел из жизни добровольно. Злого умысла здесь, разумеется, не было: единственный умысел заключался в том, чтобы избежать малейшего политического намека.

И все-таки намек прозвучал:

— Пусть оружие, — заключил свою речь полковник, — мирно поконится в пирамидах наших казарм!

Резко подчеркнутое «наших казарм» не случайно упало последней каплей в пастушью тишину. Как раз на днях в печати началась кампания под лозунгами «Левые тайно вооружают своих сторонников», «На фабриках — нелегальные склады оружия». Видимо, речь полковника Кеннинга тоже была взвешена — до последнего слова.

Грянул гимн пехотного училища, и перед почетными гостями прошли парадным маршем три роты курсантов, которые с сегодняшнего дня стали профессиональными военными. Полковник Кеннинг и генерал Пратс смотрели на плотно сбитые ряды курсантов с удовольствием. Со стороны можно было подумать, что Алленде тоже поглощен созерцанием марш-парада. Но мысли его были далеко от этих несложных воинских радостей.

Послезавтра — День национального достоинства, предстоит выступать перед рабочими-медниками на руднике «Эль Сальвадор». В былые времена встречи с медниками доставляли ему живейшую радость: сплывные, дружные, уверенные в своей правоте люди, золотой фонд рабочего класса, ядро нации... Выступавшие перед ними политики

не скупилась на лестные слова, и они принимали это как должное: «Да, на нас держится страна, мы куем зарплату Чили». Что же теперь? Рудники национализированы, буквально вырваны из лап североамериканских монополий, и медники могут спокойно трудиться на благо нации, а вместо этого они, с тем же сознанием своей правоты, бастуют, требуют от правительства все нового и нового повышения своей и без того достаточно высокой зарплаты. Да, их подстрекают к забастовкам те, кто не заинтересован в укреплении при Народном единстве экономической мощи страны. Подстрекают, но ведь не принуждают! Добряк Хано не прав: никакие перебои с транспортом не могут заставить горняков и медноплавильщиков начать забастовку, если они этого не хотят. Как объяснить этим людям, что после национализации забастовки на рудниках — преступны? Добыча меди сократилась на двадцать процентов, дошло до того, что приходится закупать медь в США, чтобы выполнить договорные обязательства перед другими странами, иначе — плати огромные неустойки. А себестоимость меди практически сравнялась с ее ценой на мировом рынке. «Зарплата Чили...» Сегодня медники получают в три-четыре раза больше, чем до национализации, и требуют еще большего. Вот и выходит, что чекалка зарплаты Чили стоит теперь дороже, чем выбитый на ней номинал. Общее складывается из частного, но далеко не тем простым и механическим способом, как здесь, на плацу...

Пли — аграрная реформа. Нужды доказывать, что она жизненно необходима, — попросту нет. Фрей начал ее, но, естественно, не довел до конца. Народное единство взяло на себя обязательство завершить аграрную реформу. Поденщик, никогда не имевший земли, стал хозяином надела. Но в итоге посевные площади не выросли, как ожидалось, а наоборот — сократились на четверть. Поденщик получил от нас надел, засеял часть его кукурузой (впервые в жизни засеял для себя, для своей семьи) — и у него на дворе

праздник: голодать его детишки больше не будут, а всю полученную землю обрабатывать ему ни к чему, о государстве же думать он еще не привык. Было ли это предсказуемо? Или такие непредугаданные последствия неизбежны? Иными словами — наша ли близорукость всему виной или бьющая через край сложность живой многомерной жизни? В любом случае благая идея сама по себе еще не может быть регулятором человеческих отношений. Не поздно ли мы начинаем понимать это?

По окончании марш-парада полковник Кенинг пригласил гостей пройти по учебным помещениям. Альенде и Тоа с улыбкой переглянулись: который раз уже педантичный начальник училища, идя чуть сбоку и сзади, как командир почетного караула, проводил их по одним и тем же коридорам (класс стрелкового оружия, класс военной тактики с макетами рельефа Атакамы для проигрывания тактических задач, гигантский подвал для стрельбы из личного оружия), не отклоняясь от маршрута ни на шаг. При желании в этом можно было увидеть враждебность, но, может быть, именно так охраняется святая святых воинского профессионализма? Ведь для Кенинга высокие гости были всего лишь штатскими. По кузнице и по обувной мастерской вас проведут точно так же, снисходительно показывая что-то и облегченно вздыхая, когда вы уйдете и можно будет вернуться к работе.

Клодомиро Альмейда внимательно выслушивал скуные комментарии полковника. Он даже задал несколько дерзких вопросов и получил осторожный ответ.

— В первый раз я все записывал себе в книжечку, — шепнул, наклонившись к Альенде, Хосе Тоа. — Точно школьник на экскурсии в Национальном музее.

В этот момент любезный хозяин впервые за все время визита обратился к бывшему министру обороны.

— Сеньор Тоа! — торжественно произнес полковник Кенинг.

Они стояли в центре зала, где «экскурсии» обычно завершались.

— Сеньор Тоа, вы были в нашем училище не однажды, — Тоа с улыбкой поклонился, — и покорили сердца пехотинцев. Позвольте, — полковник оглянулся, и двое дюжих курсантов поспешно внесли что-то тяжелое, накрытое белой материей, — позвольте вручить вам памятный подарок от всего инструкторско-преподавательского состава училища: бюст солдата-пехотинца времен битвы при Консенсоне.

Преподаватели в офицерских мундирах, приятно улыбаясь, дружно зааплодировали. В самых изысканных выражениях Хосе Тоа поблагодарил хозяев, и бюст был вынесен на улицу, к автомобилям.

Во дворец Альенде и Тоа возвращались в одной машине. Альмейда и Пратс направились на очередную юбилейную церемонию, а президент еще должен был посетить выставку известного советского художника — своего рода творческий отчет о посадке по Чили.

— Хранят свою политическую невинность, — ворчал Хосе Тоа, — как девицы из хороших домов. Мы покупаем им самые дорогие подарки: французские вертолеты — пожалуйста, английские истребители — ради бога, хотите крейсер — вот вам целых два, подводные лодки — развлекайтесь на здоровье. А они тайком открывают в американских банках долларовые счета.

— Друг мой Хосе, ты не оригинален, — весело отвечал Альенде. — Когда пашу любовь отвергают, мы сразу требуем вернуть все подарки назад.

Но Хосе Тоа меньше всего сейчас был расположен шутить.

— Нет, в самом деле, — не успокаивался он, — перед уходом в отставку я подписал решение о строительстве трех тысяч офицерских домов. Три тысячи домов! Целый город. И принимают как должное, не моргнув глазом.

Может быть, мы слишком перед ними заискиваем? Может быть, тем самым мы обнаруживаем в их глазах нашу слабость?

— А как ты посоветуешь продемонстрировать им нашу силу?

Тоа молчал.

11

Квартира Сесара находилась в районе Парке Форесталь, недалеко от школы изящных искусств. Каролина приехала туда в воскресенье утром, чтобы поработать над текстом выступления по телевидению: Оливарес пригласил ее на седьмой канал, в завтрашнюю программу «Парламент-73». А если честно сказать, ей просто хотелось похвастаться перед Сесаром, что в понедельник он сможет увидеть ее на экране. Правда, для этого Сесару придется ехать на Витакура к отцу: телевизора у себя в квартире он не держал из принципа.

В самом предложении Оливареса не было ничего удивительного и неожиданного: Каролина считалась специалистом по парламентским делам, вдобавок была вполне телегенна, и Аугусто сам удивился, как это раньше ему не приходила в голову эта идея.

Набросок выступления Каролина сделала дома. Суть его заключалась в том, что парламент выдвигает против министров по несколько конституционных обвинений ежедневно, без всякой нужды, исключительно для практики, чтобы не потерять квалификации, — так шулер машинально тасует карты, набивая себе руку. Можно использовать и фельетонный прием: министр выходит из дому, садится в машину, здоровается с шофером — прекрасно, правительство кокетничает с народом. Не повод ли это для конституционного обвинения? Ах, он не стал здороваться за руку, ограничился кивком? Как далеко зашла бюрократизация

лиарата Народного единства! Министр высокомерен с народом, нация не может ему этого простить.

Сесара дома не было. Решив, что он уехал на этюды и был застигнут дождем, Каролина огорчилась. Но возвращаться домой не имело смысла. Она открыла дверь своим ключом — и ужаснулась беспорядку, который царил в квартире: только холостяк с аристократическими замашками мог превратить свое жилье в такой хлев. На полу валялись опустошенные тюбики из-под краски (некоторые выдавлены, оттого что хозяин на них наступил), скомканные листы плотной бумаги, пахнущие растворителем тряпки, которыми Сесар вытирал кисти, и пустые баллончики от фиксатора для пастели. И, помянув недобрым словом балованную сестрицу Сесара, которая могла бы хоть раз в неделю заехать сюда и прибраться, Каролина принялась за работу.

Габриэлу она видела здесь лишь однажды. Было это незадолго до «Танкасо». Так же как сегодня, открыв дверь своим ключом, Каролина вопила — и остановилась в оцепенении. Сесар стоял у окна, обнимая за плечи высокую худенькую девушку с распущенными по плечам пушистыми рыжими волосами, и что-то шутливо ей бормотал, потирая щекой о ее голову. На девушке были тугие джинсы и ярко-зеленая шелковая блуза, надетая на голое тело. Когда оба они обернулись, Каролине захотелось провалиться сквозь землю. Она оскорбленно вскинула голову и произнесла первое, что пришло на ум: «Простите, я, кажется, ошиблась дверью». Тогда девчонка фыркнула, закаплялась и со смехом проговорила: «И ключом! И ключом тоже».

Габриэла чувствовала себя здесь хозяйкой: церемонно познакомившись с Каролиной, она еще долго ходила по студии, рассматривала картины, кривилась пренебрежительно и что-то при этом жевала.

Надо сказать, Каролина тоже не считала Сесара очень

талантливым и, если бы он спросил ее мнение, оказалась бы в затруднительном положении: она по-детски гордилась своей прямоотой и не смогла бы уйти от ответа. Но Сесар был достаточно проникателен, чтобы не спрашивать.

Богатый баловень, не знающий, чем запяться, — таким она воспринимала его вначале. Позднее, по некоторым отрывочным его репликам, поняла, что он серьезно мучается своей, как он говорил, работой, пытается что-то найти. Но подробнее рассказывать Сесар не хотел, а она не настаивала. «Пытаюсь, не получается», — вот все, что Каролина от него слышала.

Познакомились они на репетициях спектакля в Католическом университете. Сесар окончил там Школу архитектуры и по старой памяти приносил в студенческий театр эскизы декораций, которые постановщикам безумно нравились. Каролина должна была написать об этом спектакле, который обещал стать событием в театральной жизни. Но спектакль заглох на репетициях — к огорчению всех заинтересованных лиц, за исключением Сесара и Каролины, которые были настроены чрезвычайно юмористически. Это их сблизило; у Сесара оказался веселый и добрый нрав. Он был совестлив, деликатен, отзывчив, единственный его недостаток заключался в сомнительном, с точки зрения некоторых, происхождении, но к происхождению своему Сесар относился пренебрежительно.

Тогда Сесар предложил написать ее портрет, и Каролина, колебавшись, согласилась. Так она впервые попала в его студию в районе Парке Форесталь. Портрет, в голубоватых тонах, на темно-синем фоне, висел у Каролины над изголовьем ее постели, и подруги восхищались необыкновенным сходством. Даже Сарита, уверенная, что «этот момьячо» (мумия, реакционер) ни на что не способен, несмотря призывала, что Сесару удалось схватить что-то неуловимое — холодноватую и горькую складку губ, затаенное смятение в глазах.

Но это была не его манера: сам Сесар вовсе не считал этот почти реалистический портрет своим достижением.

— Я нарисовал, что я тебя люблю и знаю, — просто объяснял он. — И еще — что я люблю и знаю Модильяни.

Здесь, в студии, висел другой ее портрет, написанный Сесаром «для себя», Каролина его не любила. На фоне плоско раскрашенных акватиптой прямоугольных гор стояла тоноконная девочка с круглым, растерянно смеющимся лицом, прикрывающая обеими руками обнаженную грудь. Несколько раз Каролина заводила разговор о том, что пора уже спрятать это уродство подальше, но Сесар, не обижаясь, смеялся и твердо стоял на своем:

— Я тебя такой вижу, и все. Настоящая Нья Пируса. А на том, другом, компаньера Каролина Сото. Я понятно объяснил?

Картины Сесара были Каролине чужды: размытые темные вариации на библейские темы, неправдоподобно пестрые горные пейзажи. Подлиннее горы за окном студии выглядели куда скромнее, Каролина и сейчас недоумевала, где Сесар разглядел эти ярмарочные цвета. Последнее время он рисовал городские пейзажи, зимний дождь: казалось, с неба льют ведрами краску. На одном из этюдов Каролина как-то разглядела красно-зеленые знамена — то ли над отражениями огней в мокрой брусчатке, то ли над запрокинувшей лица толпой. Обрадованная, заинтересовалась с деланным равнодушием, зачем он это нарисовал.

— Знамена? — с улыбкой уточнил Сесар. — Да их у вас столько, что трудно найти перекресток, где бы они не висели.

Каролина, разумеется, не считала себя большим знатоком, но убеждена была, что искусство чуждым политике быть не может.

— Тебе нужна публика? — допытывалась она.

— Ну, допустим, нужна, — неохотно отвечал Сесар.

— А где публика — там уже и политика, пикуда от этого не уйдешь!

Сесар пожимал плечами.

— Да пойми,— горячилась Каролина,— аполитичность — это тоже политическая позиция, как и математике отсутствие знака — тоже апак. Значит, и тебя кто-то использует в своих целях.

— Меня это не волнует,— спокойно ответил Сесар.— Все и вся используется в чьих-то целях. Важно, что я об этом не знаю.

— Не знаешь или не желаешь знать? — наступала Каролина.

— Мне некогда об этом думать.

— Чем же ты так занят?

— Я рисую. Работаю.

— Но это же не самоцель! Для чего ты рисуешь? Для кого?

— В конечном счете для себя. А значит — для всех. Ты хотела бы, чтобы я рисовал партийные плакаты?

— По крайней мере, тогда бы ты был хоть чем-то полезен.

— Что за чепуха, Нирусста! — мягко говорил Сесар.— Кому, какой партии полезен Матисс?

— Почему обязательно Матисс? Ты еще скажи Веласкес. А Сикейрос, Ороско, Ривера?

— Если бы они меньше писали плакатов, как художники они только выиграли бы. «Родина или смерть! Мы победим!» Пустые слова! И правые, и левые их повторяют. Что за выбор такой нелепый — родина или смерть? Кто вам его предлагает? Я понимаю — «копелек или жизнь»...

— О да, «копелек» — это тебе уже ближе.

— Не делай из меня толстосума. И, ради бога, не втягивай меня в свою возню. Твой политический азарт я считаю ребяческим: меня он умиллет и трогает, но не больше. Когда начнется заваруха, я не стану разбираться, кто

прав, кто пивоват. Я помчусь тебя выручать. Только тебя, и никого больше. Я чилец, художник, христианин, я люблю тебя — этих убеждений с меня достаточно.

— Но ты веришь, по крайней мере, что я — на стороне справедливости?

— Верю. Верю, что все порядочные люди выступают на стороне справедливости. Я знаю, что доктор Альенде — глубоко порядочный человек, твой сенатор Корвалаа — тоже. Впрочем, сеньор Томич тоже порядочный человек, я вился бы за его портрет. А вот у сеньора Харны лицо недостойного человека. Ну, как, с твоей точки зрения, я разбираюсь в политике?

Эти споры были бесплодны, они утомляли, как мучительный бег на месте.

В прошлый понедельник они вместе ходили в Национальный музей на выставку русского художника. Там они видели Альенде. Сесар с большим интересом наблюдал, как окруженный свитой президент идет от картины к картине. Сам автор, сопровождая его, через переводчика давал какие-то пояснения. Альенде слушал, кивал. Лицо его было серьезно, он не высказывал неумеренных восторгов и на картины смотрел просто, не отступая с прищуром, не делая глубокомысленных замечаний, — словом, не изображая из себя тонкого ценителя, каким он, возможно, себя и не считал.

— Молодец, — сказал Сесар, — люблю, когда так смотрят картины.

Случайно Альенде оглянулся, увидел Каролину, улыбнулся ей, кивком попросил подойти. Каролина потянула за собой Сесара.

— А тебе не стыдно, — спросил вполголоса Сесар, — идти к президенту с таким деклассированным элементом, как я?

Узнав, что Сесар художник, Альенде спросил его, поправилась ли ему выставка.

— О да,— сказал Сесар, и у Каролины замерло сердце: вдруг случится что-нибудь не то? — Этот художник пишет так, как, по моим понятиям, должен писать художник с родины Достоевского и Толстого.

Альенде внимательно посмотрел на Сесара, потом на встревоженную Каролину. Что-то похожее на сочувствие мелькнуло у него в глазах.

— У вас это почему-то звучит как осуждение,— проговорил он, хмурясь.

Сесар улыбнулся:

— Президент, по моим понятиям, наш гость должен писать именно так. Это очевидно. А очевидности в живописи быть не должно.

Альенде помедлил, повернулся к переводчику, хотел сделать знак, чтобы тот не передавал гостю содержание разговора, но у гостя было такое заинтересованное, радостно-удивленное лицо, что Альенде передумал.

— Я не силен в теории живописи,— сказал он поторопливо,— и не могу судить, чего в ней быть не должно. Но в этих картинах я вижу боль и радость за нас, чилийцев. Человек из России понимает нас по-своему, радуется и страдает нам по-своему — что же тут плохого? На этих портретах — родные нам, креольские лица. Пусть через их живописные глаза на нас глядит иная душа, но — душа!

Сесар молчал.

— А ведь бывает и так,— продолжал Альенде, все более оживляясь и обращаясь уже не столько к Сесару, сколько ко всем окружающим,— что наш соотечественник, художник, не испытывает ни сострадания, ни радости за свой народ. И я задаю себе вопрос: а художник ли он вообще?

Гость стоял чуть в стороне и, поглядывая то на бородастого гиганта Сесара, то на президента, вслушивался в то, что говорил ему вполголоса переводчик. Видно было, что гость наголодался по настоящей беседе.

— О'Хиггинс в изгнании, — продолжал Альенде, — писал по памяти чилийские пейзажи, писал, тоскуя по родине, нашу весну, а сколько мастеров обрекают себя на добровольное духовное изгнание или, если хотите, заточение, не выглядывая из окон своих артистических темниц! Что им мешает посмотреть наружу, в лица и души чилийца и чилийки, как это сделал ваш гость из России? Что им мешает? Пренебрежение к реальности? Страх перед нею? Может быть, стыд? Или — простая зависимость от суда богатеньких меценатов? Нетворческие чувства, не правды ли?

Сесар молчал. Деликатный Альенде давал ему возможность сделать вид, что вопрос не обращен прямо к нему.

— Ну, что, попало тебе? — смеясь от облегчения, спросила Каролина, когда Альенде в окружении своей свиты отошел.

Сесар пожал плечами.

— А почему ты решила, что он читал нравоучение мне? Разве ты ему обо мне рассказывала?

Несколько смутившись, Каролина покачала головой. Вопрос был не так уж и прост... Во всяком случае, на него нельзя было односложно ответить. «Послушайте, Лица, — сказал однажды Альенде. — Вы что-то выглядите подавленной, мне это не нравится. Он что же, не считает возможным жениться?» «Нет, Тата, я сама не хочу, — ответила ему Каролина. — Он слишком далек от нас, это мешает». Вот и весь разговор.

— Ну, так вот, — невозмутимо заключил Сесар. — Он не мог говорить обо мне, потому что не видел моих картин.

— А если бы видел? — лукаво проговорила Каролина. — О, как ты самопадеи, оказывается!

...Сесар вернулся ближе к вечеру, усталый, мокрый и продрогший. Спутанная шевелюра его сверкала от дождевых брызг.

— Черт знает что! — пробормотал он, входя в переднюю. — В центре все улицы залиты водой по колено.

— Где ты был? — сухо спросила Каролина.

— В кинотеатре, — ответил Сесар, расчесывая мокрые волосы. — Смотрел кинокартину «Одип». А что мне было делать? Ты же теперь большой человек, общаешься исключительно с сенаторами.

Каролина пожала плечами, пошла на кухню, включила в колошке газ: надо было согреть воду для ванной.

— А все-таки, если серьезно, — спросила она, вернувшись. — Где ты пропал в такой дождь?

— Если серьезно — то в соборе Майну, слушая проповедь кардинала Эприкеса. Потрясающая новость, — улыбаясь, добавил Сесар. — Оказывается, отчий дом нашей церкви — среди бедняков.

— С каких пор ты стал посещать воскресные службы? — спросила Каролина, пытаясь скрыть досаду.

— Ну, как же можно такое пропустить? Сегодня праздник святой Кармен, покровительницы вооруженных сил.

— И что с того?

Сесар стал серьезным.

— Слушай, что я скажу, это важно. Не спрашивай, от кого я это узнал, но сегодня в соборе Майну при стечении народа должны были сработать ящики с динамитом.

Каролина побледнела.

— И ты, — все еще стараясь не верить, проговорила она, — отправился туда на этюды?

— Очень грубая шутка, — с досадой проговорил Сесар. — Порою тебе изменяет вкус. Ты приготовила что-нибудь поесть? И немедленно выпить.

— Да, конечно, — машинально ответила Каролина, глядя в сторону. Значит, вот как... не получилось с «Тап-касо» — они решили спровоцировать армию по-другому. — От кого ты это узнал?

— Мы же договорились,— морщась, Сесар снимал мокрые ботики.

— Прости, я имела в виду — это... этот источник заедуживает доверии?

— Похоже, что так,— Сесар сокрушенно рассматривал мокрые следы на полу.— Я сказал этому источнику, что непременно поеду туда, и пусть знают все, что это стыдно — убивать безоружных людей вроде меня.

— И тогда?..

— И тогда источник занервничал, и я понял, что это серьезно, и поехал сегодня в Майну, и она не сработала.

— Кто «она»?

Сесар рассмеялся.

— Нья Пируса, вы ревнивы. «Она» — это адская машина. Я был очень рад, что она не сработала: толпа собралась огромная, не повернуться, не продохнуть. Кардинал заклинал не начинать гражданской войны. Люди плакали и молились, грешно их, плачущих, убивать.

— И тебе не было страшно? — глядя на него в упор, спросила Каролина.

— Конечно, страшно,— Сесар подошел к ней, обнял ее за плечи,— что я никогда не увижу тебя. Ведь на небесах мы не встретимся, у тебя другие небеса.

Уткнувшись лицом в его плечо, Каролина молчала.

— Ты не думай,— глядя ее по голове, продолжал Сесар,— я далек от мысли, что этим что-то предотвратия. Но на всякий случай «тойоту» свою поставил на видном месте, чтобы они знали: я здесь. А возможно, им было наплевать на меня, просто что-то испортилось. Либо рассудили, что слишком мало офицеров в соборе: им ведь надо офицеров побольше взорвать.

— Ты хороший,— сказала Каролина.— Ты очень хороший.

— Ну, конечно,— сказал Сесар.— Я даже лучше, чем ты думаешь. Я настолько хорош, что мне даже прислали

приглашение в театр «Ориенте» на концерт Жюльетт Греко. Это будет двадцать пятого вечером. Пойдешь со мной?

— С тобой — куда хочешь, — ответила Каролина.

Отстранилась, постояла, пошла к телефону.

— Передай Жуаньялу привет, — сказал Сесар. — И спроси, как там с камерой, которую я подобрал.

— Пленка уже проявлена, — ответила Каролина, держа в руке трубку. — Ужасные кадры: человек спял собственную смерть. Солдат стреляет в него, а он это снимает. Потом камера падает, продолжая снимать и в падении...

— Черт побери... — сказал Сесар и посмотрел на свои ладони. — А я это держал... трогал...

Каролина удивленно посмотрела на Сесара — и поняла, что он не шутит. Лицо его было болезненно искажено, он потирал руки, одну о другую, как будто пытался с них что-то стереть.

— Тебя просили поблагодарить, — проговорила Каролина растерянно. — Не беспокойся, я не назвала твое имя. Я сказала «один знакомый».

— Очень мило с твоей стороны... — пробормотал Сесар, продолжая с зябкой дрожью потирать руки.

...Ящик динамита, о котором проболталась Габри, взорвался на рассвете следующего дня — не в Сантьяго, а в Вилья-дель-Мар, в доме флотских офицеров.

12

Вечером шестнадцатого июля члены группы ПИИ, к которой был приписан Гильермо, собрались у Адольфо. Отец его, полковник ВВС Фернандо Шиллинг Рохас, служил на базе в Эль-Бельото и появлялся дома раз в две недели, так что квартира была в их полном распоряжении. Полковник держал Адольфо в черном теле, воспитывал по-военному, впуская: «Я сам себя сделал и горжусь этим; хочу, чтобы и ты имел основания гордиться собой». Соб-

твенно, это было их внутреннее семейное дело, но виски и кока-колу пришлось добывать Укке: уезжая на свою базу, полковник не оставлял в доме ничего лишнего. В холодильнике и на кухне было пусто и денег — ни единой монеты. Деньги, положим, Адольфо доставать удавалось: его дядя-холостяк, владелец фабрики прохладительных напитков, считал его своим единственным наследником. Но в день «Тапкас» фабрика была захвачена бойцами социалистической партии, возвращать ее не спешили, поэтому Адольфо не рисковал обращаться к дяде в такие трудные времена. Долгов под будущее наследство он паделал уже порядочно, но то были крупные долги, мелочиться Адольфо не хотел.

Укка приволок с собой бутылку «Хейга», джип «Гордон» и ящик баночной кока-колы, не забыл и несколько пачек сингапурских сигарет с доброй примесью травы. Достать все эти блага ему было нетрудно, поскольку он сам ими и торговал.

Всем был хорош парень Укка, покладистый и безотказный, — одна была у него неприятная черта: любил рассказывать о своих амурных приключениях, называя девушек «жертвочками», и, глядя на его паршивенькое личико с острыми зубами да помни еще о клычке Этьендо («воинючка»), которую наградили Укку в отряде, Гильермо испытывал чувство, близкое к тошноте.

Адольфо рядом с ними обоими чувствовал себя ущемленным. Вечное безднемье как-то не шло к его происхождению и аристократической внешности, и оттого он пыжился, пытаясь по поводу и без повода подчеркивать свою интеллектуальную мощь. Вот и сегодня, пока Гильермо и Укка раскладывали на низком столике принесенное добро, Адольфо сидел в плетеном кресле нога на ногу и читал газету. По телевизору передавали прошлогодний фестиваль итальянской песни, «оратории» старался перевизжать друг друга, но это Шиллингу не мешало. Гильермо

несколько раз уже многозначительно на него поглядывал, собиравшись сказать пару слов, но Укка глуховато подмигивал: оставь его, пусть сидит.

Они собрались отметить начало тотального наступления, объявленного по всем боевым группам ПИЛ. И, разумеется, свою операцию: сегодня рано утром они бросили из автомобиля бутылку с горючей смесью в колледж на улице Серды. За рулем сидел Адольфо, бросал Гильермо, Укка просто был на подхвате и, когда удирали от карабинерского джина, указывал повороты. Несколько дней назад подобная же операция закончилась для другой группы весьма плачевно: карабинеры догнали этих тихоходов и взяли троих.

— Нет, вы только послушайте! — воскликнул из-за газеты Адольфо. — Какой великолепный ход! «Годовщина Дикакэрти. Коммунисты имели в правительстве Индонезии три министерских портфеля, огромное влияние на президента и широкую сеть проникновения в средства массовой пропаганды...» Стиль, однако... Ладно, слушайте дальше. «Вооруженные силы Индонезии не смогли сдерживать давления антикоммунистических настроений народа и вынуждены были вмешаться. Чем это кончилось, мир хорошо помнит. Реки, заполненные трупами, мостовые, залитые кровью, истребление по политическим мотивам, уничтожение целых семей...» Как вам это нравится?

— Где это? — спросил Гильермо. — А, «Меркурио». Ясно.

— А при чем тут Индонезия? — спросил Укка. — Я что-то не совсем понимаю...

Адольфо положил газету на колени и презрительно на него посмотрел.

— Видимо, клиенты твои еще больше, чем ты, идиоты, — раздельно произнося каждое слово, сказал он, — раз они позволяют тебе их обижать. Так им и надо.

— Я работаю честно, — обиделся Укка.

Ему можно было говорить в лицо что угодно — что он там, тупица, вонючка, подонок, и он только радостно смеялся, но обвинять его в жульничестве значило перегибать палку.

— Да я сейчас, если хочешь, позвоню по десяти телефонам и скажу: «Привезите сюда сто тысяч эскудо». Через час у нас будет здесь, на столе, миллион. Ты так сможешь? Нет. А зачем говоришь? Привезут, потому что мне верят. В нашем деле без доверия пельзя. Так что там стрислось в Индонезии?

— О боже,— вздохнул Адольфо.— Да не в Индонезии, а у нас. Коммунисты в правительстве, коммунисты везде проникают, коммунисты вертят президентом как хотят, народ недоволен.

— Нет, у нас не так,— возразил Укка.— У нас не коммунисты, у нас марксисты, это похуже. Это отборный со всего мира парод.

— Будь по-твоему,— великодушно согласился Адольфо.— Так вот, когда в Индонезии было так, как у нас, военные не сидели в казармах сложа руки. Они выложили на стол кулаки, и реки наполнились трупами.

— Давно? — поинтересовался Укка.

— Восемь лет назад.

— Ну, что ж, молодцы,— сказал Укка.— А у нас Альенде сел на сто лет. Говорят, скоро будем питаться одной мороженой рыбой да этой, как ее, китятиной с русских кораблей. Я слышал, сам Маркс любил рыбу, вот и нас унельсентос хотят приучить к рыбе, чтобы лучше у них дело пошло.

Эту шутку все слышали уже тысячу раз, поэтому засмеялся только сам Укка.

— Ты знаешь,— сказал Шиллингу Гильермо,— я тоже что-то не понял. «Меркурио» хочет, чтобы военные выложили на стол кулаки. Ну, а мы тогда ни при чем, так получается?

— Мы тоже делаем свое дело,— возразил Адольфо.— Мы делаем жизнь людей пельноносимой. Только в таких условиях военные могут вмешаться.

— Расчищаем путь генералам? А потом: «Прочь, быдло, расступись, танки идут». Так, что ли?

— А ты что же,— насмешливо спросил Адольфо,— рассчитываешь на министерский пост?

— Мне твоих постов не падо, я сам себе пост. Но у меня нет папаша полковника, а ради чужих офицерских сынков я еще подумаю, стоит ли стараться.

— Что же после Супера не подумал?

— Супер — это еще не армия. Так, штурмовой батальон. А армия пусть лучше сидит в казармах, мы без нее справимся.

— Еще один законник нашелся,— пробормотал Адольфо.— Вот, пожалуйста,— он щелкнул пальцами по газете,— какие интервью дают наши генералы. «Демократическая традиция в Чили помешает вооруженным силам быть ввергнутыми в гражданскую войну. Когда народ смело устремлен в будущее...» Ну, и так далее и тому подобное.

— Кто это, Прате? — спросил Укка.

— Да нет, не Прате. Компаньеро Аугусто Пиночет Угарте. Марксистский выдвиженец, при Альенде в гору пошел. Такая же красная шапка, как Прате, как Шпейдер, как вся эта сволочь, не одержавшая ни одной победы. Прав мой отец: генералы без войны загнивают па коршу, как перезрелые ананасы. Книжки пишут, преподают, интеллектуалов из себя корчат. Так что напрасно мы спорим: не будет у нас Джакарты. Все будет не так, а как — не знаю.

— Да, проморгали мы своих генералов,— сказал Укка.— А посему выпьем. Черт с ними, сделаем дело — всех их на пенсию, старых козлов. Выпьем, ребята. Чтобы нам было лучше, а им — хуже.

— Пабло говорит, среднее офицерство не рассчитывает на повышение,— продолжал Адольфо,— пока эти должители сидят наверху. Они как пробка: не вышибешь — не нальешь.

В день «Танкасо» Адольфо отвозил Пабло Родригеса к посольству Эквадора. Этим их знакомство и ограничилось, но Адольфо не уставал подчеркивать, что он у Пабло был доверенным человеком.

Раздался телефонный звонок. Адольфо протянул руку, но Укка, ближе сидевший к аппарату, опередил его.

— Вас слушают,— проговорил он, и вдруг мордочка его замаслилась.— А кто его спрашивает? Одну минуточку, сеньорита.

Он протянул трубку Гильермо.

— Тебя, Мемо,— сказал он.— Из наших какая-то «жертвочка».

Гильермо схватил трубку.

— Сидите, пьянствуете, скоты? — услышал он сердитый голос Габриэлы.— Не вздумай называть меня по имени, слынишь? Или ты не способен ничего понимать?

— Нет, почему же, способен,— хрипло пробормотал Гильермо, и Укка хихикнул.

— Хочешь увидеть Гато?

— Хочу.

— Увидишь — расхочешь,— зловеще сказала Габриэла.— Так вот, слушай. Немедленно уноси оттуда ноги. Отребью своему объясни, что тебя вызывает подружка, соскучилась, сил нету ждать.

— Ты это вправду?... — спросил Гильермо.

— Молчи, идиот. Конечно, нет. Повторяю: срочно уходи как можно дальше. Есть у тебя где отсидеться неделю?

— Найду.

— Так вот, сиди и не дыши. Сейчас к вам придет Гато, зубы будет считать. А у него, знаешь ли, рука тяжелая.

— Но почему?

— «Почему»... — передразнила Габи. — Кретины, бутылку как следует не могли бросить. Там же ничего не загорелось, школьники потушили. И все наши бумаги достались Жуаньяну. Ты понимаешь, что это значит?

— Понимаю.

— Так вот, уходи и скажи мне спасибо. Мне тебя просто жалко. А этим ничего не говори: должен же Гато на ком-то отвести душу.

— Хорошо, жди, сейчас приеду.

— Ты с ума сошел! Куда приедешь?

— К тебе.

— Да кто тебя пустит? Звони мне ежедневно вот в это время, понял? Минута в минуту.

И Габриэла положила трубку.

— Такие вот дела, ребята, — бодрым голосом сказал Гильермо. — Приглашают на «Нежность рыси», фильм для мальчиков и взрослых. Придется идти.

— Мы ее знаем? — завистливо спросил Адольфо.

— Откуда, — ответил вместо Гильермо Укка. — Аристократка, красавица. Ничего себе Мемо подобрал «жертвочку».

— Откуда ты знаешь? — Адольфо был недоволен: чужие успехи его всегда печалили.

— Да выговор у нее богатый. Голосочком так и играет. А что красотка — это я всегда по голосу узнаю. Бывает, идет впереди девочка, лица не видно...

— Ладно, парни, я пошел, — сказал Гильермо.

Он вышел на улицу, на углу оглянулся, свернул в переулок. Встал за дерево, вытянулся, притих. Минуту спустя в дальнем конце улицы вспыхнули фары, и к дому подкатил серебряный «ситроен». Плотный мужчина с бычьей шеей и наголо стриженной головой вылез из кабины, оглядевшись, аккуратно запер машину. Обошел ее со всех сторон, подергал дверцы. Потом вошел в подъезд.

Какое-то время Гильермо стоял неподвижно, видимо, раздумывая. Нет, это был не Гато. Фигура, рост — все похоже, но Гато не стал бы беспокоиться за машину, к этому он просто не привык. Вместо Гато прибыл какой-то «медяк».

Гильермо усмехнулся.

— Проверочка,— пробормотал он.— Не побегу ли я к Жуаньяну. Ну-ну, крошка Габи. Ну-ну.

И быстро зашагал прочь.

13

Загородная резиденция Альенде Серро-Кастильо находилась на полпути между Вальпараисо и Випья-дель-Мар. Это был старинный замок колониальных времен, стоящий на высоком холме. С застекленной террасы открывался чудесный вид, слышен был шум океана. Летом Альенде отдавал замок в распоряжение детей, которые группами приезжали сюда отдыхать. Но сейчас, в середине зимы, резиденция пустовала даже по воскресеньям.

Утром двадцать второго июля на террасе вокруг белого металлического столика сидели президент Альенде, генерал Пратс, сенатор Альтамирано, сенатор Корвалан. Но веранде гулял холодный ветер. Альенде был в кожаной куртке, Луис Корвалан — в серой пиджачной тройке. Нахохлившийся, с пушистыми седыми висками, Корвалан непрерывно курил. Любимое его светло-коричневое пончо, аккуратно свернутое, припорошенное пеплом, лежало у него на коленях. Пратс держал фуражку в руках, густые волосы его с пробором, зачесанные назад, были слегка взъерошены, что придавало ему несколько обескураженный вид.

Лицо Альтамирано запоминалось: напряженно сжатые губы, острый нос с гневным волевым рисунком поздравей. Даже очки на этом лице сидели беспокойно, и казалось,

что они возбужденно блещут. Внешность человека, испепеляемого внутренним огнем.

— Христианские демократы, — напористо, резко говорил Альтамирано, — это хвостовой вагон реакции, его толкает то влево, то вправо, но поступательное движение от этого не меняется. Переговоры с христианскими демократами, то есть с Фреем, Айльвином и компанией, свидетельствовали бы в глазах реакции лишь о нашей неспособности управлять страдой, а это с неизбежностью поставило бы их в сильную позицию и позволило бы им добиваться того, чтобы стремление к компромиссу переродилось в согласие капитулировать...

Все слушали молча, сосредоточенно, не перебивая. Глаза Альенде за стеклами очков были прикрыты. В голове его все еще шумел холодный дождь, застигший их в пути.

...Стеклоочистители машины работали беспрерывно: дождь то обрушивался на крышу машины, то утихал, и с океана сыпалась мелкая водная пыль. Шоссе блестело от воды, временами все вокруг затягивалось белой сверкающей пеленой, и дорога, казалось, пропадала в облачном цефе, но потом машину встряхивало порывом ветра, мгла рассеивалась, и слева от шоссе проступала сочная, сейчас седеющая измороси, зелень, справа начинали чернеть скалы, меж которыми мелькали небольшие пляжи, светлые рядом с темной, вспухшей громадой океана. Жалко выглядели сейчас, в разгар зимних ливней, ярко выкрашенные летние домики, повернутые зеркальными окнами к океану...

— Как генеральный секретарь Социалистической партии Чили, — гневно говорил Альтамирано, — я со всей определенностью заявляю: мы, чилийские социалисты, принципиально выступаем против любых переговоров с ХДП: христианские демократы — не тот партнер, с которым можно было бы обсуждать перспективы социалисти-

ческого развития революции. И кто утверждает, что такое обсуждение возможно, тот в лучшем случае обманывает самого себя. В марксистской революционной практике не было случая, чтобы партия буржуазии была заинтересована в социалистической перспективе.

...Холодный зимний ливень, бурный, но холодный. В молодости своей, здесь в Вальпараисо, Альенде слышал немало зажигательных революционных речей, за которыми стояло непонимание реальности. «Признать реальность? Да это все равно что примириться с ней, капитулировать перед ней!»

О, как говорили в дни его молодости, на заре тридцатых годов, безымянные ораторы Вальпараисо, сторонники Кропоткина, молодые революционные католики и не менее революционные ибаñисты! Бледные, одухотворенные, жгущие словом не столько чужие, сколько свои собственные сердца... Надо было видеть, как, закончив свою пламенную речь (о преступной роли государства, о евангелическом братстве обездоленных, о социализме духа — да мало ли о чем еще!), такой говорун, с бледным и лоснящимся от волнения лицом, с затуманенными гордостью глазами, пробирался сквозь толпу, пульсируя каждым своим нервом — так, что это чувствовалось на расстоянии... и отправлялся, окруженный небольшой кучкой приверженцев, в дешевую таверну, чтобы проглотить там что-нибудь наспех, не чувствуя вкуса, и вновь ринуться в гущу очередного митинга... «Как ты говорил сегодня, друг мой, как ты говорил!..»

А митинги шли один за другим: то была полоса организации социалистической партии. Альенде считал себя обязанным присутствовать на всех собраниях социалистов. И вот вечерами, опустошенный после трех-четырех вскрытий (покончила с собой уличная женщина, скончался от цирроза печени сорокалетний мужчина — кормилец семьи из десяти человек, бездомный старик окоченел ночью —

это в райской долине! — прикорнув у обочины шоссе), Альенде падал свой единственный потерянный, но еще приличный костюм и отправлялся на митинг единомышленников. Всей внешностью своей он был похож на тех, кого по-испански принято называть «помощниками советателя вакансии исполняющего обязанности претейдента на должность ассистента», и если уж выходил на трибуну, то дельно и скучно говорил о двух сортах молока — для бедных и для богатых, о проституции среди несовершеннолетних, о спецодежде для работающей молодежи, — словом, как всякий узкий специалист, шел к общим выводам сквозь дебри ползучего прагматизма.

— Вы бросите в толпу революционный лозунг, — говорил он, — и, допустим, вас поймут, вам поверят и лозунг этот подхватят. Но когда бедняки, задирая головы к вашей трибуне, будут восторженно выкрикивать ваши боевые призывы, не поленитесь, не побрезгуйте заглянуть в их рты — и вы увидите, что у семидесяти из ста гнилые, разрушенные зубы, а остальным тридцати попросту нечем жевать.

— И что же? — нетерпеливо спрашивали его говоруны.

— Возможно, это научит вас трезвости. Народ на наших плакатах слишком уж белозуб, это иллюзия. Надо видеть реальность во всех ее мелочах.

Увы, концовка речи была у него, по обыкновению, слабой, и даже те, кто прислушивался к Альенде, недоуменно пожимали плечами.

В студенческие годы Альенде состоял в революционной группе со звонким названием «Наступление». То был тридцать первый год, год радостных и нетерпеливых ожиданий. В группу входило четыреста студентов университета, убежденных в необходимости сокрушить старый, безнадежно устаревший мир. Однажды на собрании был зачитан манифест, призывавший к немедленному созданию

чилийских Советов рабочих, солдатских и студенческих депутатов. Во время чтения в зале неоднократно вспыхивали овации. Тогда Альенде вышел на трибуну и заявил, что это глупость или сумасшествие, что для создания Советов нет никаких предпосылок, что революции не делается в университетах, и лично он никогда не подпишет документ, которого потом будет стыдиться.

Вначале аудитория оцепенела. Затем поднялся шум, улюлюканье, крики «Долой!». Один из авторов манифеста, бледный от ярости (это был первый в жизни Альенде случай, когда он почувствовал на себе ненависть не реакционера, но почти единомышленника, — ощущение было новое и, надо сказать, поразительно острое), вскочил с места и тут же, не вдаваясь в дискуссию, предложил голосовать за исключение Альенде из «Наступления»: «Таким реакционерам нет места в наших рядах!»

Все время, пока шел подсчет голосов, Альенде стоял на трибуне. Поднялся лес рук: из четырехсот только пятеро воздержались, все остальные единодушно проголосовали за исключение. И председательствующий потребовал, чтобы Альенде покинул зал.

«Быть молодым и не быть революционером — здесь есть какое-то биологическое отклонение!» — кричал с трибуны новый оратор, когда Альенде шел через зал к выходу.

И любопытная вещь: из тех четырехсот только двое действительно связали свои судьбы с революционным движением. Остальные, получив дипломы, дружными рядами вступили в истеблишмент. Студенчество в те годы было значительно более, чем сейчас, привилегированной категорией, владельцы латифундий и держатели крупных банковских вкладов не мешали своим отпрыскам играть в революцию, и, став уже президентом, просматривая списки на экспроприацию и национализацию, Альенде нередко встречал имена своих бывших товарищей по «Наступлению»...

Между тем он внимательно слушал Альтамирано — во всяком случае, следил за ходом его рассуждений. Необходимость переговоров с христианскими демократами была ясна и самому Альенде, и Корвалану, и Пратсу. Однако руководство социалистической партии решительно отвергало идею переговоров.

— Пусть мне ответят на вопрос, — задаличиво говорил Альтамирано, — можем ли мы рассчитывать на то, что сеньоры Фрей и Айльвин будут искренне сотрудничать с нами в деле построения социализма?

Альтамирано умолк.

— Прежде всего, — исторопливо начал Альенде, — этап социалистического развития в Чили еще не наступил. Наше правительство, насколько я понимаю, является антиимпериалистическим, антиолигархическим и демократическим, оно должно открыть путь к строительству социализма.

— Социалисты Чили придерживаются иной позиции, — возразил Альтамирано.

Генеральный секретарь социалистической партии был вправе говорить от имени большинства: три года назад за выдвижение Альенде кандидатом на пост президента голосовали лишь двенадцать членов Центрального комитета, в то время как тринадцать (в том числе и сам Альтамирано) при голосовании воздержались.

— Кроме того, — продолжал Альенде, короткой паузой показав, что он принимает это возражение к сведению, — говорить о христианских демократах как о единой однородной партии буржуазии неправильно. Надо смотреть в лицо фактам: за христианскими демократами идет значительная часть масс.

— Вот и давайте, — подхватил Альтамирано, — устанавливать контакты с ними на уровне масс, на уровне низовых организаций, против этого мы никогда не возражали и сами делаем шаги в этом направлении. Но речь-то,

насколько можно судить, идет о переговорах с Патрисио Айльвином, то есть с партийной верхушкой, а не с широкими?

Сенатор Корвалан затянулся сигаретой, обронил пепел на стол, аккуратно смел его в ладонь, не вынимая сигареты из рта, сыпал пепел в плошку, стоящую перед ним на столе и уже наполовину заполненную окурками. Прате и Альтамирано, первый — ссутулившись, второй — напряженно выпрямив спину, сосредоточенно наблюдали, как он это делает. У Корвалана была редкая способность — молча дать понять, что он собирается говорить и ждет внимания.

— Партийная верхушка, — сказал он, — также не ограничивается одним сенатором Айльвином. Среди руководства этой партии есть люди, которые неоднократно заявляли, что выступают за новое общество, за новую демократию, за новую эконимику, за замену системы ценностей капитализма. Здесь на нынешнем этапе нашей революции у нас есть точки соприкосновения с ними.

Альтамирано усмехнулся.

— Боюсь, что разговоры о том, чем именно христианские демократы собираются заменить систему ценностей капитализма, — отпарировал он, — уведут нас крайне далеко от насущных задач нашей революции.

— Опуская термин «социалистическая революция», — с улыбкой сказал Корвалан, — товарищ Альтамирано, если только это не случайная оговорка, дает нам надежду, что мы все-таки придем к согласованному решению. Ибо, если признать, что революция в Чили находится сейчас на своем демократическом антиимпериалистическом этапе, придется осознать и необходимость расширения социальной базы правительства.

— Включив в него и представителей христианских демократов? — саркастически осведомился Альтамирано.

— Нет, цель диалога иная, — возразил Корвалан, — и об этом уже говорил товарищ Альенде: добиться конструктивного сотрудничества со всеми демократическими кругами страны — чтобы достигнутые завоевания были закреплены, гражданская война как угроза — силта с повестки дня, а из нынешнего острого и критического положения найден взаимно приемлемый выход. Тем самым, и только так, мы добьемся решения своей главной задачи — открыть путь к строительству социализма.

— Утратив при этом свою роль гегемона, — жестко сказал Альтамирано.

— А что, — спросил Корвалан, взглянув на Альенде, — разве мы сами назначаем себя гегемонами? Нашу гегемонию должны признать наши союзники, только тогда гегемония рабочего класса перестанет быть вещью в себе.

— Итак, позиции изложены, — сказал Альтамирано. — Мне остается лишь повторить то, с чего мы начали: в случае начала переговоров с ХДП мы, социалисты, не исключаем возможности выхода нашей партии из Народного единства.

Наступило молчание. Пратс шумно вздохнул и, достав из кармана платок, вытер лоб. Альтамирано бегло взглянул на него и счел необходимым добавить:

— Поскольку мы не разделяем мнения, что можно строить социализм с опорой на христианских демократов.

Альенде сидел, скрестив руки на груди, и добродушно жмурился. Можно было подумать, что он наслаждается остротой спора и выразительностью паузы: так рядовой шахматист, наблюдающий за поединком нервных классов бойцов, после энергичного хода готов блаженно замурлыкать. Но добродушие его было сейчас папусным. Когда конфликт между социалистами и коммунистами обострялся, Альенде чувствовал себя особенно одиозным.

Друзья из масонской ложи, в которую Альенде входил по семейной традиции, нередко спрашивали его:

— Послушай, не слишком ли ты носишься с этим единством? Их бесконечные распри губят твою политическую карьеру. Зачем тебе это нужно?

— Видите ли, дорогие друзья,— отвечал им Альеде,— я — социалист по убеждению, и здравый смысл подсказывает мне, что социализм без участия коммунистов — бесперспективное дело. Есть люди, у которых приверженность к социализму является чисто платонической, таким единством ни к чему, но я не из их числа.

— Роль миротворца, которому достается с обеих сторон,— такая роль тебя устраивает?

— Я не чувствую себя миротворцем. Я рядовой политический деятель, и для чилийской революции я функционально необходим как олицетворение конституционной преемственности, как олицетворение единства левых сил, их коллективной воли к переменам. Во имя перехода к социализму конституционным путем, без вооруженного восстания, без диктатуры пролетариата, без гражданской войны. Во имя величия родины, открывающей человечеству этот новый путь.

— Но твои коммунисты считают, что социализм без диктатуры пролетариата построить невозможно.

— Да, здесь наши точки зрения расходятся. Коммунисты опираются на опыт русских большевиков. Этот опыт бесценен, и священная жертва, понесенная на этом пути, но у большевиков России не было за плечами долгого конституционного процесса, именно поэтому их революция пошла иным путем. Я полагаю, что диктатура пролетариата — не всеобщий закон, а следствие определенных обстоятельств и способ их преодоления. В наших условиях переходный период имеет иные формы. Точнее, может иметь.

Так (или примерно так) отвечал Альеде на эти вопросы. Но было еще одно обстоятельство, которое не так-то просто выразить словами. Когда Видела, политический

танцор, дергунчик, позер, в конце сороковых годов похоронил своим предательством Народный фронт и загнал коммунистов в подполье, социалисты остались ерзать и креслах его правительства. Члены Центрального комитета компартии были арестованы, сенатор Пабло Неруда, руководивший избирательной кампанией Видела, скрывался на тайных квартирах. Посольство СССР было обстреляно из пулеметов, и дипломатические отношения с СССР разорваны. Видела назвал свои шаги «первой битвой третьей мировой войны». Тогда Альенде вместе со своими единомышленниками покинул ряды опозорившей себя партии и основал другую, народно-социалистическую. Но через несколько лет и народные социалисты поднялись демагогии Ибаньеса и поддерживали его кандидатуру, после чего Альенде вернулся в социалистическую партию, которая к тому времени существенно очистила свои ряды от соглашателей. А коммунисты все это время, находясь в подполье, сохраняли чистоту своей линии. Альенде болезненно переживал политические метания тех лет, и именно надежностью коммунистов объяснялась его симпатия к ним.

Альенде считал, что мнение о жесткости позиции коммунистов ошибочно. В частности, сегодня в Серро-Кастильо сенатор Корвалан проявил много больше гибкости и зрелого понимания ситуации, чем Альтамирано. Альенде хорошо знал прежних руководителей коммунистической партии Элиаса Маферте, Рикардо Фонсеку, Гале Гонсалеса, давняя дружба связывала его с Пабло Нерудой. Ист Неруды, снявшего в интересах Народного единства свою кандидатуру на президентских выборах в семидесятом году, представлялся ему исполненным истинного величия. Далекое не каждый политик, пользовавшийся популярностью в своей стране и всемирной славой, решился бы на такой поступок. Сидя у себя в Исла-Негра, Неруда с пристальным вниманием следил за деятельностью своего

«модельного друга», и, принимая то или иное сложное решение, Альенде постоянно чувствовал на себе сумрачный взгляд его глаз. Это была связь, выходящая далеко за пределы политических комбинаций, это была высшая человеческая связь. Неруда был еще и человеческим (не просто политическим) судьей. Так сложились их отношения после семидесятого года. Оба жизнелюбы, весельчаки, оба артистичные по складу натуры, они наслаждались общением, но каждая встреча с Нерудой была для Альенде праздником — и испытанием.

Что же касается разногласий, то Альенде считал их оселком, на котором оттачивается истина. Одной из высших мудростей человеческих он полагал терпимость, способность выслушать, понять — и если не признать правоту оппонента, то хотя бы согласиться, что его точка зрения заслуживает рассмотрения. Улы, его собственные соратники по партии все чаще объявляли себя носителями абсолютной, безоговорочной истины.

Перспектива выхода социалистов из Народного единства не пугала Альенде — хотя бы потому, что имелся уже прецедент: в октябре прошлого года, когда решался вопрос о введении военных в правительство, Альтамирано яростно воспротивился этому и буквально в таких выражениях («не исключена возможность») поставил вопрос о выходе социалистической партии из правительственной коалиции. Тогда пришлось срочно вызывать из Индии бывшего генерального секретаря социалистической партии Анисето Родригеса (тот находился в поездке по странам Азии), и совместными усилиями им удалось убедить Альтамирано отказаться от угрозы. Ультиматум, повторенный дважды, теряет свою остроту; возможно, Альтамирано подчеркивал свою непримиримость в присутствии генерала Пратса. Он уже высказав свое недоумение приглашением в Сарро-Кастильо военного и сегодня вел дискуссию в парочито сухом, официальном тоне. Тем самым он хотел, видимо,

показать, что присутствие «постороннего» вынуждает его отказаться от товарищеского обсуждения вопросов.

Между тем Альенде пригласил сюда Пратса сознательно. Прежде всего, он хотел показать командующему, что у партий Народного единства нет секретов от армии. Кроме того, генерал Пратс должен был лично убедиться в том, что, несмотря на все разногласия (о которых так много толковала правая печать), партии Народного единства действительно осуществляют это единство и обсуждают свои проблемы с максимальной откровенностью и прямо-той. С другой стороны, присутствие Пратса должно было убедить несговорчивого Альтамирано, что вовлечение вооруженных сил в политическую жизнь есть процесс реально происходящий. И, наконец, генералу Пратсу предоставлялась возможность высказаться по существу обсуждаемых вопросов, а к мнению традиционно немногословных представителей вооруженных сил (Альенде знал, что Пратс выскажется за диалог с оппозицией) — к мнению командования в Чили привыкли относиться с вниманием.

Правда, Альенде с огорчением отметил, что острота спора несколько озадачила генерала: «тигр социализма» (так правые газеты именовали Альтамирано) постарался предстать сегодня во всем блеске своей непримиримости. Чувствовал себя Пратс немного пеловко, не знал, куда левать свои крупные, мужицкие руки. Он, наверно, боялся, что Альтамирано обрушится на него всей мощью своей профессорской логики, а дискутировать с гражданскими генерал не хотел, да и не умел.

Реакция Корвалана на угрозу Альтамирано не заставила себя ждать: когда с генеральным секретарем компартии разговаривали языком ультиматумов, от его крестьянского добродушия не оставалось и следа.

— Поскольку мы, коммунисты, считаем, что альтернативы диалогу с оппозицией нет, — медленно, с напряжением заговорил Корвалан, — и иным путем обострения кри-

ниси избежать не удастся, вы, товарищ Альтамирано, станете перед нами ультиматум, не так ли?

— В том, что здесь было сказано,— возразил Альтамирано,— нет ультимативных требований «или — или». Проблемы, которые мы обсуждаем, слишком серьезны, чтобы так играть судьбами революции. Повторяю: в случае начала переговоров с сеньором Айльвином мы, социалисты, не исключаем возможности выхода нашей партии из правительства. Где гарантии того, что в ходе переговоров не будут сделаны программные уступки руководству христианских демократов?

Это было уже что-то: произнесся «в ходе переговоров», Альтамирано тем самым допустил, что переговоры могут начаться.

— Лично я,— продолжал Альтамирано,— не вижу формулы соглашения с сеньором Айльвином. Боюсь, что любая формула такого соглашения, вместо того чтобы умиротворить страсти мятежников внутри этой партии и среди остальной части реакции, лишь воодушевит их.

— Разумеется,— согласился Корвалан,— очень многое зависит от партнера по переговорам, от той доброй воли, которую он проявит. Во всяком случае, программных уступок оппозиции никто из нас делать не собирается.

— Весь вопрос в том, что понимать под программными уступками,— заметил Альтамирано.

Дело пошло на лад, и Альенде счел нужным вмешаться и направить беседу в спокойное русло.

— Было бы хорошо,— деликатно проговорил он,— если бы товарищ Альтамирано указал те принципиальные пункты, по которым он не уступил бы ни под каким давлением.

Это был достаточно тонкий ход: человеку, который отвергал в зародыше саму идею переговоров, предлагалось обсудить их содержание.

— Я не стану перечислять те программные пункты, по

которым у нас нет разногласий,— сказал Альтамирано,— поскольку убежден, что они для вас так же святы, как и для нас.

Корвалаи и Альенде согласно кивнули. Генерал Прате впервые за время спора поднял голову и стал разглядывать говорящих.

— Но ведь в ходе этих гипотетических переговоров,— продолжал Альтамирано,— несомненно, реакцией будет поднят вопрос о рабочих предместьях, или, как их было принято называть, «индустриальных кордонах», находящийся в тесной связи с вопросом о судьбе предприятий, экспроприированных народом в день митинга. Я сказал «несомненно», потому что логика действий реакции нам ясна: столь оплакиваемые ею предприятия стали мощным подкреплением индустриальных кордонов, являющихся, по нашему убеждению и по убеждению сеньоров, которых мы здесь называем партнерами, органами подлинно народной власти. Что и показал день суперовской авантюры, когда именно индустриальные кордоны, и только они, неукопительно выполняя все указания президента, обеспечили четкую мобилизацию. Здесь позиция социалистов Чили тверда: мы намерены всеми силами оберегать независимость и дееспособность этих органов народовластия, рожденных самим революционным процессом, и ни в коем случае не допускать возвращения предприятий их бывшим владельцам, поскольку именно захват предприятий и учреждений революционным народом является конкретным выражением углубления революционного процесса. Сеньор Айльвин будет требовать, чтобы подобная практика была прекращена. Но это, по нашему мнению, означает прекратить революцию, на что мы не имеем морального права. Значит, никаких гарантий такого рода сеньор Айльвин получать не должен.

— В вопросе об индустриальных кордонах,— закуривая, медленно начал Корвалаи,— у нашей партии есть

особое мнение. Что это за независимость, которую вы намерены всеми силами оберегать? Независимость от кого? от правительства? от Единого профцентра? Но это предмет для особого разговора. Что же касается занятых и пятиищу предприятий, то не следует, по нашему мнению, подходить к их списку огульно. Судьба этих предприятий должна рассматриваться индивидуально.

Альтамирано промолчал. Он выглядел утомленным.

— Ну, что ж, — резюмировал Альеде. — У меня создается впечатление, что категорических возражений против переговоров с ХДП не имеется.

Альтамирано остро взглянул на президента, но ничего не сказал.

— В таком случае я попрошу нашего друга генерала Пратса сказать несколько слов, поделиться своими сообщениями, если он сочтет нужным.

Пратс положил фуражку на свободный стул, выпрямился.

— Я благодарен сеньору президенту, — сказал он, — за предоставленную мне возможность присутствовать на обсуждении на столь высоком уровне важных для нации проблем. Само мое присутствие здесь символизирует участие вооруженных сил в политике. В сущности, принцип подчинения вооруженных сил гражданской власти является политическим принципом. Во имя этого высокого принципа генералы вооруженных сил вышли двадцать девятого июня на улицы столицы с автоматами в руках. Ныне армия едина, как никогда. Впервые в истории армия противопоставит не пролетариату, а буржуазии, той части ее, незначительной и алчной, которая находится в конфронтации с правительству. Я заверяю вас, господа: если кто-то думает, что сможет выстоять против объединенной мощи вооруженных сил и корпуса карабинеров, верных конституции, то он безумен, слепец, самоубийца. Рад, что обмен мнениями привел к единодушному решению, которое при-

ветствую от всей души как единственно возможное и государственно мудрое. Рад также убедиться, что в нашей стране имеется достойное руководство, которое умело и эффективно управляет массами. Сегодняшнее решение — важный шаг на пути преодоления политического раздора. С точки зрения национальной безопасности и гражданского мира...

Альтамирано звучно откашлялся: когда антонимом «гражданской войны» становился «гражданский мир», он не мог промолчать.

— Вот именно в таких выражениях, — негромко проговорил он, — сеньор Айльвин будет спекулировать именем вооруженных сил на переговорах.

Пратс подождал, не скажет ли «тигр социализма» еще что-нибудь. Но Альтамирано больше ничего не сказал.

— Так вот, с нашей профессиональной точки зрения, — продолжал Пратс, — соглашение с крупнейшей партией парламентской оппозиции жизненно необходимо, так как именно парламентское большинство в его нынешнем виде является гнездом мятежа.

Пратс умолк.

— Соглашение, если оно будет достигнуто, — сказал Альеде, — затронет вопрос о создании военно-гражданского правительства. Мне бы хотелось спросить генерала, как он относится к тому, чтобы в будущем правительстве занять пост министра внутренних дел.

— Благодарю за честь, — ответил Пратс, — однако думаю, что генералитет будет возражать. Я слишком долго был оторван от армии: с ноября по март возглавлял министерство внутренних дел, а с апреля по июнь находился в зарубежной поездке. Меня и так упрекают, что как командующий я слишком мало бываю с войсками. Надеюсь, вы понимаете, господа, что к этому мнению я не могу не прислушаться.

Утром двадцать шестого июля по городу потянулись длинные вереницы тяжелых грузовиков: вновь объявили забастовку камьонерос. Машины порожняком переговлялись на набережную Мапочо, а оттуда — за город, где уже были подготовлены специальные лагеря. Наученные горьким опытом прошлогодней октябрьской забастовки, жители Сантьяго бросились в магазины скупать продукты и товары первой необходимости. В очередях говорили, что на шоссе, ведущих в столицу, устроены вооруженные засады, пикеты забастовщиков обстреливают груженные машины и скоро подвоз продуктов в город прекратится.

Сразу после совещания в редакции Каролина поехала в Сан-Хуан. Ее отец в октябре не участвовал в забастовке, и надо было его предупредить, что дороги стали намного опаснее.

Каролина всегда была против того, чтобы отец стал камьонером. Но что поделаешь, обзавестись грузовиком было его давней мечтой.

— В Чили это верный хлеб! — говорил он. — Верный хлеб.

Отчасти он был прав: в стране, где на один километр железной дороги приходилось почти пять километров шоссе, от камьонерос зависело очень многое. Доставка товаров населению, подвоз сырья и оборудования — практически вся экономическая жизнь страны держалась на автомобильных перевозках.

Нашелся ловчила, предложивший отцу половинный пай, и отец с энтузиазмом взялся за прибыльный бизнес. Правда, прибылей едва хватало, чтобы расплатиться с долгами, но все равно он был счастлив.

— Сегодня у меня задняя половина машины, — шутил он.

Это означало, что в езду отправляется его напарник.

...Перекрестки были забиты порожними грузовиками, и дорога в Сан-Хуан заняла чуть ли не два часа. Водители не спешили: они ликующе клаксонили, переговаривались из кабины в кабину и охотно вклинивались в уличные пробки, увеличивая тем самым общий хаос. Обычно предупредительные, уступавшие дорогу уязвимым легковушкам, сегодня они шли на наглые обгоны, и несколько раз степенный редакционный шофер дядюшка Густаво яростно тормозил среди огромных колес, расшатанных деревянных бортов, в чаду выхлопных газов.

— Ничего, дочка, — говорил он Каролине, не оборачиваясь. — Ничего, как-нибудь доедем.

Это была вакханалия безнаказанности: грузовики являлись слишком мелкой собственностью для национализации, редкий камюперо владел десятком машин (хотя встречались и владельцы пятидесяти). Лидер Конфедерации камюперос Вильярри демонстрировал правительству свое могущество: сорок тысяч машин должны были встать сегодня на прикол.

И случилось то, чего Каролина опасалась: она не застала отца. Отец встал очень рано, часов в пять утра, и, никому не сказавшись, ушел.

Каролина была очень удивлена, увидев в отцовском доме Гильермо. В дорогом дакроновом костюме, с двумя тяжелыми перстнями на пальцах, Гильермо был великолепен. Но узенькое личико его вовсе не сияло довольством. Вообще братец Мемо осунулся и отошел, как бродячий пес. Оказалось, он живет здесь, в Сан-Хуане, уже несколько дней, снимает комнатенку у молодой бездетной вдовы.

Когда Каролина вошла, Гильермо, развалившись на родительской постели, о чем-то оживленно разговаривал с Фито. Судя по пятнам на щеках младшего брата, разговор был довольно острым.

— А, сестренка! — весело закричал Гильермо, подпи-

моясь. — Как славно, что ты пришла. Умиротвори петуха, а то у нас тут гражданская война начинается.

— Не шути такими словами, — оборвала его Каролина. — Отец бастует?

— Не знаю, — буркнул Родольфо. — Он не докладывал.

— Ты видишь, как он с тобой разговаривает? — спросил Гильермо и, достав пачку дорогих сигарет, закурил. — Как будто ты перед ним провинилась. Меня — так вообще пристрелить собирается как собаку.

— И пристрелю, если будет нужда, — пообещал Родольфо. — Рука не дрогнет.

— За что? — притворяясь веселым, спросил Гильермо.

— А вот за эти сигареты, которыми ты балуешься. За твой костюмчик, за твои колечки. Все это краденое на тебе, сразу видно.

— Что-то вы, ребята, не то говорите, — сказала Каролина. — И ты, Фито, не забывай, что это твой старший брат. Если что не правится, можешь и потерпеть.

— Вот, потерпелись, — неопределенно махнув рукой в сторону окна, мрачно сказал Родольфо. — Все вы там собрались терпеливые. А прижмут нас — сразу о нас вспомните.

— Сплошные загадки, — засмеялась Каролина. — Кто «мы»? Где «там»? И о ком это мы должны вспомнить?

— Чаще дома надо бывать, Пирусита, — наставительно промолвил Гильермо. — Братец у нас политически созрел. Теперь он левым революционером заделался. С автоматическим карабином играет. Вот, руки все в порохе.

— Это правда? — спросила Каролина.

— А что, не правится? — Родольфо криво усмехнулся. — Читаю я твои статьи, Нья Пируса. Прямо рыдать хочется, до чего жалобно написано! «Милые работницы и крестьянки, сенаторши и депутатки! Вам нужна гражданская война? Ну копейно же не нужна. Она нужна только быкам капиталистам, латифундистам и олигархии. Так

рогах стреляют. И проводите меня до автобуса, я машину отпустила.

Они вышли на улицу. Лус, держа за руку Нья Пирусу, увлеченно сосала свою карамельку, Мануэла и Фито шагали рядом.

Посреди пустыря у самой остановки автобуса стояла машина с фабрики Леру, молодые работницы продавали прямо из кузова пряжу.

— Вот, — сказала Мануэла, — сколько воюю против этого безобразия — все без толку.

И тут же крикнула девушкам:

— На базу за продуктами поедете?

— Распродадим — и поедем! — отвечала одна из девочек. — Обещали вермишель отгрузить!

— Беги, — скомапдовала Мануэла Лусите, — беги домой, скажи Марии Эстеле, что скоро вермишель привезут!

Девочка неохотно отпустила руку Нья Пирусы и побежала домой.

— Чем, интересно, занимается Мемо? — спросила Каролина.

— Да ничем, — ответила Чинита. — Ест, спит, думает. То у нас почует, то у этой... Бегаёт куда-то звонить. Мне кажется, девочка какая-то дала ему отставку.

— Ну, прямо, — пробурчал Родольфо, — так уж все в девочек упирается! Спекулянт он вопиющий. Сядет за решетку — всю семью опозорит.

Со стороны гор дунуло холодным ветром. Каролина заметила, что на сестре совсем драпая кофта. Она обняла Мануэлу за плечи и притянула к себе.

— Господи, скорей бы ты уехала! — сказала она. — Прямо жду не дождусь.

— Нет, не скоро еще, — отозвалась Мануэла, прижимаясь к ней, как маленькая. — Нам сказали, что задержимся до первого октября. В связи с обстановкой.

Родольфо, глядя под ноги, молча шел рядом.

— Я ведь из-за кофты об этом заговорила, — сказала Каролина. — Разве у тебя нет ничего получше одеть?

— Есть, — отвечала сестра. — Только я берегу. Там падецу.

Подойдя к Парадеро Очо, они остановились.

— А ты знаешь, — сказала Каролина брату, — фильм я этот смотрела. Там винтовки действительно были под каждым станком. Но — под станком, а не где попало. Ты меня понял?

— Не совсем, — удивленно сказал Фито и посмотрел ей в лицо. У него были совсем еще детские глаза.

— Фито, мальчик мой, — Каролина взяла его обеими руками за плечи, — не ожесточайся против всех и всего. Вспомни хорошее! Вспомни, как мы радовались три года назад, как мы с тобой танцевали.

— Дело прошлое, — глядя себе под ноги, пробормотал Родольфо и покраснел: ему было тяжело вспомнить о своей радости в те дни, когда победил Альенде. Взявшись за руки, они втроем с Чинтой и Нья Пирусой бегали вокруг стола и выкрикивали что-то вроде «Наконец, наконец! Наш Альенде — молодец!». И даже папа, который в общем-то скептически относился ко всяким выборам-перевыборам, — и тот, глядя на ликующую молодежь, пощипывал жиденькие усы и бормотал: «Ну-ну... поглядим. Может быть...» «Тихо вы! — кричала из соседней комнаты Мария Эстеда. — Малышку мне напугали!» Мачеха не сердилась, она любила, когда в доме был праздник.

— Дело прошлое, — повторил Родольфо. Потом вдруг криво усмехнулся, быстро взглянул на Каролину и опустил глаза. — Сегодня и ты не очень спишь.

Каролина ответила уклончивой улыбкой. Она и правда не должна была, не имела права ему этого объяснять.

Несколько дней назад, бродя в поисках Сариты по второму этажу Ла Монеды, она случайно заглянула в маленькую столовую в левом крыле, неподалеку от зала

Тоэски. Там, сутулясь, сидел спиной к двери какой-то человек. Он вяло жевал и одновременно читал газету. Каролина не сразу сообразила, что это Альенде: обычно президент обедал в большой столовой в окружении дюжины министров, секретарей и адъютантов. Тут же, за столом он решал деловые вопросы, посылал куда-то помощников, выслушивал их доклады, не прерывая оживленной беседы с теми, кто никуда не уходил. В таком одиночестве Каролина видела его впервые. Он, не глядя, возил вилкой по тарелке и время от времени вытирал салфеткой усы. Ни дать ни взять — скромный конторский служащий по время обеденного перерыва.

Почувствовав на себе взгляд, Альенде повернулся к двери, привстал.

— А, Лица, — приветливо сказал он. — Прошу, прошу.

Каролина, извиняясь, смущенно отступила на шаг.

— Да заходите же, не стесняйтесь, — настойчиво, даже с досадой, сказал Альенде. — Я не люблю сидеть за столом один.

Каролина вошла, села на краешек стула.

— Читайте как раз вашу колонку, — сказал Альенде, поглаживая рукою газету. — Хлестко, умно. А не боитесь, что отцы-законодатели вас поколотят?

Похвала смутила Каролину еще больше. Она не знала, что ответить, только потупилась.

— А почему вы не были на моей утренней пресс-конференции? — с шутливой строгостью спросил Альенде. — Или вам уже неинтересно, о чем говорит ваш президент... с тех пор, как вы замеслякали на телеэкранах?

— Я больше не буду выступать на телевидении, — ответила Каролина. — Мне там не нравится. Очень жарко.

— Я тоже поначалу уставал и сердился перед камерой, — сказал Альенде. — Особенно когда эта техника была в новинку. Но потом привык...

Он долго молчал, глядя на Каролину мигающим

взглядом. Ей показалось, что он задумался и забыл о ее существовании. Она хотела уже встать и тихо выйти, но в это время Тата споза заговорил.

— Скажите, Лина,— он помедлил,— ваш отец, кажется, камьонеро? Как вы считаете, будут они опять бастовать?

— Мой отец не участвовал в прошлой забастовке,— покраснев, сказала Каролина.— И на этот раз, я уверена...

— Вот и ответ,— Альепде невесело посмеялся.— Ясно не скажешь: идея забастовки висит в воздухе...

— Нет ничего удивительного,— сердито сказала Каролина, досадуя на себя за свою оговорку.— Этот негодяй Вильярин... он не чиниц, он изменник, шантажист, моторизованный агент ЦРУ... Он упивается своим всемогуществом, как... как бандит с большой дороги. Он требует у нас запчасты и покрывки, прекрасно зная, что нам придется их покупать за валюту. Он...

— Сразу видно газетчицу,— Альепде, усмехаясь, покачал головой.— А не слишком ли много эпитетов для одного Вильярина? Не слишком ли мы сиемним передождать на него ответственность за все наши неудачи?

Каролина удивленно молчала.

— Как вы думаете, решился бы он на забастовку, если бы знал заранее, что этим будут раздражены и торговцы, и ремесленники, и мелкие предприниматели, и крестьяне, и горожане?

— Нет, конечно,— подумав, ответила Каролина.— Конечно не решился бы. Он же труслив, как всякий пампник, ему нужен численный перевес.

— Да, численный перевес...— задумчиво повторил Альепде.— Сто сорок тысяч мелких торговцев, тридцать тысяч мелких промышленников, огромная масса людей. Пойдут они на этот раз за Вильярином?

— Могут пойти...— проговорила Каролина.

— Могут, — подтвердил Альенде. Он резко отодвинулся от стола, щеки и шея его покраснели. — Могут пойти, а почему?

— Это как раз понятно, — затормозилась Каролина, первичная под его настойчивым взглядом. — Мы взяли в свои руки крупную промышленность, банковское дело, это же структурный сдвиг геологических масштабов... он сопряжен с неизбежными трудностями. Месть иностранных монополий, трудности со сбытом, отказ в кредитах, искусственное занижение цен на наши товары... и как следствие — колебания уровня жизни. А для промежуточных слоев уровень жизни — это единственный критерий.

Альенде слушал, кивал.

— А мы об этом, что же, не знали? — неожиданно спросил он. — Не догадывались, не предвидели? Нам кто-нибудь мешал дать этим промежуточным слоям гарантии на будущее, указать им перспективу, определить их точное место в экономике? Нас кто-нибудь приуждал тянуть с законопроектом о трех секторах?

Каролина молчала. Положение о трех секторах экономики (государственном, частном и смешанном) было записано в Программе Народного единства, оно предусматривало гарантии для мелкого и среднего собственника. Но христианские демократы опередили правительство и на неделю раньше внесли в конгресс свой законопроект «о социальных зонах», в котором оговаривалось еще и существование неких «предприятий трудящихся». Под «предприятиями трудящихся» подразумевалась коллективная собственность работающих, вопрос об этой форме собственности, недостаточно изученный и совершенно не разработанный, был поднят оппозицией в демагогических целях, чтобы осложнить позицию правительства. «Они нас попросту обокрали!» — возмущалась тогда Каролина. Но можно было посмотреть на проблему и с другой сто-

роны: «Мы опоздали, мы слишком увлеклись социализацией монополий, а надо было делать оба дела одновременно. Законодательная инициатива была утрачена, оппозиция торжествовала: «Вот видите, правительство вовсе не спешит предоставлять гарантии мелкому собственнику!» Бессмысленные экспроприации небольших предприятий только усугубляли недовольство промежуточных слоев, жесткий лимит в четырнадцать миллионов эскудо отбивал у среднего собственника охоту вкладывать в свои предприятия новые капиталы и расширять производство... отсюда нехватка товаров широкого потребления и новый всплеск недовольства. Законопроект о гарантиях малым и средним собственникам был внесен правительством в июле прошлого года, но статус этих гарантий должен быть выработан в течение года после принятия закона конгрессом, а конгресс, естественно, не спешит.

— Конечно,— проговорила Каролина,— у «антипатриа» в экономике есть и опыт, и кадры, и ресурсы накоплены... а у нас ничего этого нет. Вполне естественно, что они умеют пользоваться каждым нашим промахом. Все это субъективные трудности...

— ...И надо попенять им объективизироваться,— подхватил Альенде.— Вильяри требует запчастей? Ну, что ж, мы предоставили кредиты сектору металлообработки — и скоро выйдем этот козырь у него из рук. Поздновато, правда, но...

Он помолчал.

— Так вы уверены,— пытливо глядя ей в лицо, спросил он после паузы,— что ваш отец и на этот раз не станет бастовать?

Каролина кивнула.

— На чем же основана ваша уверенность?

— Он любит работать,— сказала Каролина.— И знает, что нужен. И очень этим гордится.

...Хесус вернулся, как показалось Марии Эстеле, немого навеселе.

— Ну, встал на прикол,— сказал он.— Из самого Эль Монте пешком тонал. Давай, жена, ужинать.

— Как «на прикол»? — удивилась жена.— И ты тоже?

— А что я, хуже других? — весело возразил Хесус.— В прошлый раз работал, как лошадь, посом клевал за барашкой, из аварий чудом выезжал, а что заработал? Резины у Альенде для меня не нашлось. Купил на черном рынке — и опять весь в долгах. Нет, больше рисковать не стану, пусть ищут других дураков. Компаниям мой в Конфедерации большим человеком заделался, чуть ли не с самим Вильярином за руку, а я что? Кем был, тем и остался.

— Значит, дома прохлаждаться будешь? — подбодрила Мария Эстела.— А жить на что? На деньги Гильермо?

— Обойдемся без его помощи,— благодушно сказал Хесус и похлопал себя по нагрудному карману.— Деньжата есть. Четыре тысячи домой принес. Будет вам ищдейка с сельдереем.

Он, собственно, принес восемь тысяч, но в последнюю минуту решил урезать сумму, отложив кое-что на черный день.

— Четыре тысячи! — ахнула Мария Эстела.— Так ты все-таки ездил? Каролина приходила, говорила, что это опасно...

— Нет, не ездил! — засмеялся Хесус.— Пешком за ними ходил. Выдали мне сегодня сорок долларов, я их сразу жуку одному спес, тот и обменял. Все надо делать вовремя! Через неделю на черном рынке этих долларов будет прорва, и они подешевеют.

— А отчего их будет прорва? — простодушно поинтересовалась Мария Эстела.

— Так всем же водителям платят! — ответил Хесус.— Кто бастует, конечно.

— Кто платит?

— «Кто, кто», — передразнил Хесус. — А твое какое дело. Дают — бери.

— И завтра дадут? — с опаской спросила Мария Эстеда.

— И завтра, не бойся. Только далеко за ними ходить.

Мария Эстеда постояла, подумала.

— Ох, не правится мне это дело, — проговорила она. — Когда даром деньги дают, я бы ни за что не взяла. А то завтра скажут: «Брал? Убей!» Что ж, пойдешь и убьешь?

— Эх ты, мудрая голова, — Хесус похлопал ее по спине. — Ступай за индейкой.

— Куда я пойду? — резко возразила Мария Эстеда. — Да во всем городе ни за какое золото индейки сейчас не купишь. И сельдеря тоже.

— Это еще почему? — удивился Хесус.

— Да потому, что пешком индейки в город не ходят. И Мария Эстеда, хлопнув дверью, вышла.

Хесус долго стоял в растерянности, поглаживая себя по нагрудному карману. Потом плюнул, сел на скамью и стал разуваться.

15

В тот вечер Гильермо так и не вернулся домой. С Гран-Авениды он позвонил Габриэле — и свершилось чудо: ему ответили. Вежливая прислуга поинтересовалась, кто спрашивает сеньориту, и доверительно сообщила, что сеньорита принимает ванну, но через десять минут ей можно будет перезвонить.

Гильермо поблагодарил и в течение получаса, выдержавший характер, прохаживался по улице. Редкие фонари тускло светили сквозь туман, ветра не было — только сырость и холод. На лице у Гильермо застыла странная улыбочка. И в самом деле, тут было чему улыбаться: с каких

это пор его имя стало магическим ключом, открывающим интимные тайны «бангало» на Витакуре?

Наконец он слова позвонил и услышал голос Габриэлы.

— Мемо, ты заставляешь ждать. Радио, оправдаешься лично.

— Ты хочешь сказать, что мы увидимся?

— Меньше вопросов, гайо. Сверим часики. Половина девятого, ставь по моим. Ровно через час жди меня по третьему адресу. По третьему, понял? Там пустая квартира.

— Габри, это же чертова дама! — взмолился Гильермо. — За час я не успею добраться.

— Должен успеть, — лукаво сказала Габри, — если хочешь повидаться со мной. Целую тебя. Чао!

И она положила трубку.

...Это был заброшенный двухэтажный дом в районе Португал, наполовину скрытый за темным садиком. Таких домов здесь стояло множество, они сдавались в аренду, но цены мало кого устраивали.

Подходя по дорожке к двери, Гильермо не был похож на человека, находящегося во власти лестных для себя предположений. Напротив, у него был угрюмый, недоверчивый вид. Раза два он останавливался, собираясь повернуть назад, но все же решился: подошел к крыльцу и взялся за дверную ручку.

После недолгого блуждания в крошечной темноте он нащупал на стене выключатель. Тусклый электрический лампочка под темным потолком осветила комнату с голыми стенами и с единственным окном, наглухо закрытым жалюзи. Типичное логово: стены разрисованы свастикой, на полу — обрывки бумаги, промасленная ветошь, все пропитано запахом блевотины и оружейной смазки. Тут же дражные номера «Селексьонес», тошнотворные комиксы — в общем, всякий хлам. И огромное количество пустых банок из-под пива «Сан-Мигель». Подобные берлоги, Гильер-

мо знал, содержались на средства местных промышленных и финансовых тузов, точнее, на их добровольные взносы — тысяч до десяти в месяц наличными и еще столько же разнообразной «натурой». Судя по всему, логово оплачивал какой-нибудь король черного рынка — пьяные банни говорили об этом совершенно педвусмысленно.

Усевшись на подкопник, Гильермо стал ждать. Теперь, когда он собственными глазами увидел, какая квартира значится «по третьему адресу» (детская игра в конспирацию: первым по списку для его группы шел адрес Адольфо Шиллинга, вторым — рестораник Укки возле Вега Централь), ему стало ясно, что Габи сюда не придет. Прямоком из ванной — и променять теплую чистую постельку на это вопиющее логово... нужню быть идиотом, чтобы поверить такому обману. Но уйти, не узнав, чего от него хочет эта взбалмошная девчонка, Гильермо не мог.

Он прождал почти до полуночи. Сатанея от скуки, пересмотрел все комиксы, перечитал «Селексьопес» и только собрался послать все к дьяволу и уйти, как услышал шаги в коридоре.

Шаги были, несомненно, мужские. Гильермо сунул руку во внутренний карман плаща — и тут же с деланным безразличием ее вынул: в комнату вошел Адольфо. На нем был светлый клетчатый пиджак — самая неподходящая одежда для ночных хождений. Впрочем, сам Мемо был одет как для светского раута: его дакро и концентрные подуботинки сверкали новизной.

Адольфо явился в широких темных, совсем не ко времени, очках, которые тем не менее плохо прикрывали шикарные кровоподтеки под каждым глазом. Тот рыжий, которого Гильермо называл про себя «медяком», отделал его основательно, — ведь со дня их последней встречи прошло десять дней.

— Почему без пароя? — добродушно спросил Гильермо.

— Пошел ты! — огрызнулся Адольфо и встал возле двери, прислонившись спиной к стене. Он бегло оглядел дорогую одежду приятеля и демонстративно отвернулся.

— Что-нибудь пазревает? — осторожно поинтересовался Гильермо, но Адольфо сделал вид, что не расслышал вопроса.

У бедняги Шиллинга были все основания злиться на Гильермо: бутылку с горючей смесью бросал именно Мемо. Бросал и промазал, а от расправы ушел.

— Ладно, — с лицемерным вздохом Гильермо спрыгнул с подоконника на пол, потянулся. — Пойду пройдуся.

Но тут закрипела дверь, и сладенький голос Укки произнес:

— Ребятки, это я. Цена свободы...

— Высока, высока, — отозвался Гильермо.

На Укке урок не сказался: он всегда был бледно-синий, с темными кругами вокруг глаз, с голубизной возле рта и с синими застарелыми прыщами на щеках. Синяков на нем заметно не было, лисья, остренькая мордочка его улыбалась как ни в чем не бывало.

— Я вижу, ты при параде, — сказал он, обращаясь к Гильермо, то ли с осуждением, то ли с завистью, не поймешь.

Гильермо пожал плечами и, не собираясь, видимо, отказываться от своего намерения выйти на улицу, двинулся к дверям.

— Правил не знаешь? — остановил его голос Укки. — По одному не выходить.

Гильермо обернулся:

— Где это написано?

Укка сделал плутовскую гримаску, означавшую примерно «рад бы ответить, да не могу», и, взглянув ему в глаза, Гильермо понял, что этот человек умест не только

смердеть от страха, но и ненавидеть всеми силами своей промозглой души. Такой убьет не задумываясь, если только изловчится.

Хмыкнув, Гильермо вернулся к своему подоконнику, взгромоздился на него, и Укка тотчас же стал спокойным и ласковым. Он прошелся по квартире, мурлыча «В последнюю ночь, что провел я с тобой...» Пошурipал в углу бумагой и торжественно поднял запечатанную банку пива.

— Уцелела, голубушка! — радостно сказал он. — Кто составит компанию?

— Пей сам, — отозвался Гильермо.

— Адольфо, а ты?

Шпллинг покачал головой.

— Ну, дело ваше, — пробормотал Укка. — Приятно, знаете ли, так иногда освежиться...

Он потянул за кольцо, крышка щелкнула, и темное пиво, фонтаном взметнувшись к потолку, хлынуло Укке на голову. Этот баpочный «Сан-Мигель» выкидывал иногда такие фокусы: видимо, Укка тряхнул банку, а этого делать не следовало.

— Лече... — выругался Укка, отилевываясь и рукой утирая лицо. Это был, впрочем, лишь фрагмент замысловатого ругательства, исполнение которого заняло бы около минуты.

Гильермо засмеялся, и даже Шпллинг, взглянув на приятеля, позволил себе кривоватую усмешку.

Тут громко стукнула входная дверь, и в коридоре вновь загремели шаги. На этот раз шли по меньшей мере двое, у одного из них ботинки были по-армейски подкованы.

— Карабинеры! Свет!.. — шепотом сказал Гильермо, и Адольфо поспешно щелкнул выключателем.

— Ладно, гайо, не балуй, — произнес бархатистый артистический голос со всеми мыслимыми модуляциями Баррио Альто. — Цепя свободы не может быть слишком высока.

— Гато,— прошептал из угла Укка.— Зажигай свет! Лампочка вспыхнула.

Посреди комнаты стояли трое. Первый наверняка был Гато: его Гильермо сразу узнал, хотя никогда раньше не видел. Одну руку Гато держал в кармане брюк, другою прикрывал от света глаза. Одет он был под ремесленника, в затрапезный пиджак и обвислые брюки, даже шетину отпустил. Однако любой полицейский комиссар обваружив бы подделку. Гато был неприятно красив: глубоко сидящие глаза, мускулистая шея, крутой, массивный подбородок — и маленький, тонкогубый, мокрый рот.

— Так,— сказал Гато, опустив руку и внимательно разглядывая собравшихся.— Этого знаю,— он, прищурясь, посмотрел на Укку,— про этого слышал,— он повернулся к Адольфо,— да ты не хмурься, гаё, чего не бывает среди своих. А вот этого...— он пристально взглянул на Гильермо,— этого не знаю, но очень хотел бы узнать.

— Вопрос времени,— беспечным голосом проговорил Гильермо, лицо его слегка напряглось.

— Вопрос времени, да...— пробормотал Гато, не спуская с него глаз.— Ишь, дамский угодник, разоденся, баки распушил... удобные баки, чтобы за них подергать...

— А ты попробуй,— улыбаясь, ответил Гильермо.

За спиной Гато неподвижно стояли двое молодых парней: один в джинсах и свитере, в очках с дорогой итальянской оправой, второй — в форме пехотинца без знаков отличия.

— Ладно,— сказал Гато и кончиком острого языка быстро, как змея, облизал уголки рта, в которых накопилась слюна.— Зовите этого сегодня Гаймер,— он показал на очкарика,— а этого,— кивнул на пехотинца,— просто Рене. Пойдете вместе.

— Что, пачкаем? — лстиво выскочил Укка.

— Да, пора,— Гато еще раз облизнул губы.— Наше время подошло: новой встряски Альенде не выдер-

жить, надо помочь старику. Ваша груина идет на Провиденсана...

— Пратс? — дернувшись, спросил Адольфо.

— Сыну военного не мешало бы знать, где живут военачальники, — мягко пожурил его Гато. — Пратсом займутся другие. Ваша цель — улица Отейсы. Вы должны ликвидировать капитана первого ранга Арайю. Все инструкции получите у Рене.

«Пехотинец» стоял не двигаясь и смотрел прямо перед собой. Это был крупный, холеный, белокожий парень. Видно было, что солдатская служба его миновала.

— Они собирались передать русским карты наших рудников, — с привычной бодростью заговорил Гато, — на наших трупах построить кубинские военные базы, а тех, кто останется в живых, намертво замуровать в крупноблочных тюрьмах...

— А если без речей? — дерзко глядя ему в глаза, спросил Адольфо.

Гато помолчал.

— Ладно, желаю успеха, — сказал он.

Повернулся и вышел. Гильермо сделал неопределенное движение, как будто собирался пойти за ним вслед, но остался на месте.

Некоторое время все молчали.

— Стоит ли связываться с флотскими! — пробормотал Адольфо. — У них разговор короткий: повыдергивают ногти щипцами, в мешок — и в море.

— У тебя есть выбор, — неожиданно тонким голосом сказал Рене. — Ты можешь отказаться от участия, и тогда в интересах операции я тебя пристрелю. Лучше сделать это заблаговременно.

Адольфо дернул плечом и, ничего не ответив, отвернулся к глухому закрытому окну.

— Тогда так, — сказал Рене. — Выезжаем через четверть часа. Раньше — нет смысла: капитан на коктейле

в кубинском посольстве. Надо дать ему вернуться, но — не позволить заснуть. Маршрут — PROVIDENCIA, Педро де Вальдивиа, Антуеса, Отейсы. Ставим машину под окнами, сами располагаемся вот так...

Из нагрудного кармана Рене достал сложенный вчетверо лист бумаги, развернул его.

— Смотрите сюда.

Гильермо и Укка подошли, Адольфо не двинулся с места.

— Ты, пиджак, — повуче сказал Рене, — тебе, я вижу, не интересно. Мало тебя подсынили. Задашь хоть один вопрос по дороге — станешь весь голубой.

— Я поведу машину, — с деланным безразличием ответил Адольфо, — это моя работа. Все остальное меня не интересует. Располагайтесь, как вам удобнее, я подожду вас в кабине.

Рене усмехнулся и оставил эти слова без внимания. Гильермо взглянул на дверь (к ней скучающе прислонился Гаймер), наклонился над листком. Там был начерчен аккуратный план участка улицы Отейсы с домом Арайи.

— Ты становишься сюда, — сказал ему Рене, — за дерево, прикрываешь подъезд. В доме несколько низких чинов, могут сдуру выскочить. Я буду здесь, в центре, напротив балкона, а этот, — он указал на Укку, — встанет на углу. Стрелять буду я.

— Не промахнешься в темноте? — спросил Укка. Он был доволен, что ему досталось самое безопасное место.

Рене посмотрел на него долгим взглядом.

— Специатроне́м трудно промахнуться.

— Это осколочным, что ли? — Укка развеселился. — Лихо!

— Месиво будет, — заметил Гильермо.

— А нам с него не портреты писать, — ответил Рене. Укка и Гаймер засмеялись.

— Ты думаешь, он будет стоять на балконе и тебя дожидаться? — спросил Гильермо.

— А мы его вызовем, — сказал Рене.

— Как? Серенадой?

Рене не удостоил его ответом. Он пристально смотрел на Адольфо Шиллинга, который ежился под его взглядом, но делал вид, что занят созерцанием жалюзи.

— Так ты, пиджак, — насмешливо спросил Рене, — по-прежнему сидишь в кабине?

— По-прежнему, — буркнул Адольфо.

— Ну, сиди. Значит, так. Отсюда, — Рене щелкнул по листку пальцем, — отсюда Гаймер бросает в машину налет. Тут шум и освещение, все как в театре, как раз под балконом...

Адольфо повернул голову, посмотрел на Рене и медленно, пехотя приблизился.

— А как мы поедем обратно? — спросил он.

— Обратно, пиджачок, придется пешком, поодиночке. Каждый сам за себя. На машине мы все вместе так в дерьмо и вляпаемся.

— Шикарный план! — восхищенно сказал Укка. — Значит, на шум клиент выскакивает на балкон, тут мы его и рисуем. Экономно!

— Ну, что, пиджак, — спросил Рене, — остаешься в машине?

— Я не буддист, — с достоинством ответил Адольфо.

— Ну, вот и договорились, — ласково сказал Рене. — Твое место будет здесь, возле гаража. Имей в виду, там тоже может быть унгер, следи за воротами в оба.

Он посмотрел на часы.

— Время, ребята. Трещотки в кладовой, патроны и пакеты у Гаймера.

Гильермо застегнул плащ, подпоясался и двинулся к двери.

— Куда? — спокойно спросил его Рене.

— Моя — со мной! — Гильермо похлопал себя по карману. — Чужими не пользуюсь.

— Так куда же ты?

— На улицу, к машине.

— Подождешь.

Выехали точно в назначенное время. Адольфо сидел за рулем обшарпанного «пикапа», с ним рядом — Рене, сзади — Гаймер, Укка и Гильермо. На полу кузова глухо побрякивало оружие. В городе стояла почная тишина, внизу, на равнине, было совершенно темно.

Скляняв косынку, которой было завязано его лицо, Укка безудержно болтал:

— Дрыхнут унелъентос! Не знают, какой подарок мы им готовим! Вот мы едем, настоящие хозяева города, отборные ребята, один к одному!..

— Заткни глотку! — рыкнул очкастый Гаймер. Лицо его тоже было завязано черным платком до самых очков, что придавало ему жутковатый вид невидимки.

— Оставь его, — сказал Гильермо. — Пусть лучше из него выходит через глотку...

Вдруг он резким движением руки сбил с Гаймера очки, схватился за невысокий бортик и, перекинув через него свое тело, пропал в темноте.

— Ух ты! — воскликнул ошеломленный Гаймер и, вскочив, принялся что было силы молотить по крыше кабины.

Укка сидел, не двигаясь и, похоже, ничего не понимая.

— Стойте! — сорвав с лица платок, кричал Гаймер. — Сучьи дети! Стойте!

Укка дрожащей рукой протянул ему очки. Гаймер нацелил их и продолжал стучать и кричать.

Прокатившись еще метров двадцать, «пикан» остановился. На мостовую выскочили все сразу — и Адольфо, и

Рене, и Гаймер. Только Укка, съездившись, остался сидеть на месте.

— Что там? — крикнул Рене, но, взглянув в кузов, понял все сразу.

Он посмотрел назад, в темноту, что-то быстро прикинул в уме — и, коротко взмахнув рукой, ударил Гаймера кулаком в лицо.

— Быстро по местам! — скомандовал Рене. — Черт с ним, не будем искать! Если и очухается, то не скоро!

Лицо Гаймера, когда он забирался в кузов, было страшным: все окровавленное, с глазом, остро глядящим сквозь разбитое стекло, как будто из глубины черепа. Он гневно швырнул Укку ногой, машина рванулась с места.

— Зачем... зачем он прыгнул? — заикаясь, пробормотал Укка. — Он же сломал себе шею!

И Гаймер снова швырнул его ногой.

...Глубокой ночью в холле резиденции на Томаса Моро Альенде, только что приехавший с приема и кубинском посольстве, молча стоял перед Альфредо Жуаньяном. Президент был смертельно бледен, седые усы его топорщились, подбородок мелко дрожал. Темный вечерний костюм казался траурным.

— Как это случилось? — негромко, сдавленным голосом произнес он наконец.

— Негодии взорвали возле самого дома крупный пакет динамита, — отвечал начальник службы расследований. — Дон Артуро выбежал на балкон, и в упор осколочным штурмовым...

— Я не об этом, — остановил его Альенде. — Как вы могли это допустить? Только не ссылайтесь на корпус карбинеров. Я спрашиваю вас, товарищ Жуаньян: есть у правительства служба расследований или ее нет?

Жуаньян молчал, твердо выдерживая взгляд президента.

— Вам было поручено держать под наблюдением... —

возвышая голос, говорил Альенде, — все, повторяю — все без исключения террористические группы, орудующие в столице...

— Они нас опередили всего на один шаг, — отвернувшись, глухо произнес Жуаньян. — Мы предполагали, что они нацелятся на улицу Эррасуриса, но сегодня генерал Пратс...

И, увидев, что Альенде нетерпеливо переступил с ноги на ногу, Жуаньян поспешно продолжал:

— Президент, я заверяю вас: мы сделаем все возможное, чтобы преступники были пойманы. Наш человек, который шел по этому следу, сейчас в госпитале, тяжелое сотрясение мозга, но он придет в себя и тогда...

— Тогда вы их арестуете, — сказал Альенде, — суд выпустит их на свободу, а капитана Арайн больше нет...

Он помолчал, провел рукой по лицу.

— Вот что, Альфредо, — заговорил он после паузы. — Последнее время ваши люди слишком много говорят о том, что занимаются мелкой сошкой... что главное — не полувоенные банды, а офицерский корпус вооруженных сил.

Альфредо Жуаньян сделал попытку возразить, но президент жестом остановил его.

— Подождите. Не кажется ли вам, что мы сейчас собираем плоды этой, мягко говоря, болтовни?

— Нет, президент, — твердо ответил начальник следственной службы. — Думаю, что убийство вашего адъютанта — именно попытка отвлечь наше внимание от подлинного змеяного гнезда в армии...

— И вы будете продолжать на этом настаивать, даже когда беловцы расстреляют в упор последнего старшего офицера?

Жуаньян молчал.

— Идите, Альфредо, — сказал Альенде, — и подумайте над тем, что я вам сказал.

Когда Жуапьяп, ссутулившись, выпел, Альсепе резким движением растянул душивший его галстук.

— Сколько ненависти... — прошептал он и вновь провел рукой по лицу, пытаясь унять дрожь подбородка.

Сколько несправости... Он же ничего им не сделал. Более того, в списке людей, которых они хотели бы уничтожить, капитан Арайя, может быть, не значился вообще. Убить просто чтобы убить, чтобы напугать, потрясти, подломать, продемонстрировать свое почвое могущество... Изорвать человека в клочья — и спокойно отправиться, пешком ли, посвистывая, глядя в звездное небо, или в автомобиле, укатить по своим делам... Как же они живут после этого? Ведь не каждую минуту они убивают! Неужели ни одна клеточка их души не дрожит, не пульсирует от чужой смертной боли? Если так, то, быть может, они и не люди вовсе?

16

Целую неделю Нья Пируса не давала о себе знать. Такое с ней случалось и раньше, поэтому Сесар не особенно беспокоился, тем более что ему хорошо работалось: сочетание желтого и фиолетового, которое раньше мертвило его этюды, теперь задышало. В самой природе этой комбинации, казалось, лежало что-то грапитное: склоны гор для Сесара мерцали желтым и фиолетовым, отблесками этих цветов был пропитан чилийский воздух. Даже если бы он, к примеру, умер, не создав больше ничего путного, след его работы остался бы в живописи: отныне эта, пусть чистая, задача решена. В таком желто-фиолетовом ключе была исполнена небольшая картина «Зима в Эль Кахондель-Майно», которую он написал в четыре заезда. Желтое небо, все в дождевом дыму, сквозь который пробивается августовское солнце, и фиолетовые, лиловые, сиреневые склоны холодных гор, оживленные яркой цепочкой

желтых вагончиков дачного поезда на светлом росистом лугу. Картина далась Сесару трудно, но он остался ею доволен. Нет-нет да и подходил к простенку, где она висела, любовался ее тусклым сиянием и отходил с улыбкой: «Моя малютка». Такую картину мог написать лишь чилец.

Когда работа была закончена, Сесар загрустил без Каролины. Он позвонил в редакцию «Сигло» — там все важные телефоны были хронически заняты, а по второстепенным отвечали, что попытаются что-то выяснить и надо перезвонить через полчаса. Но через полчаса там у телефонов сидели уже другие люди, и все начиналось сначала.

Наконец Сесар позвонил Сарите, с которой был, пусть бегло, но знаком.

Сарита с некоторым удивлением сказала ему, что вчера Каролина собиралась на фабрику Леру, и сегодня она наверняка должна быть там.

— Вы уверены? — спросил ее Сесар. — Насколько мне известно, Каролина специалист по парламенту, а не по фабрикам.

— Да вы что, совсем не читаете газет? — возмутилась Сарита.

Сесар честно отвечал, что он был страшно занят последнее время.

— Ну, тогда все понятно, — загадочно отвечала Сарита и бросила трубку.

Сесар явственно ощутил комплекс неполноценности: и в самом деле, чем теперь можно интересоваться, если не политикой? По требованию Каролины он добросовестно перелистывал утренние газеты. «Делай хоть это, — говорила Каролина, — а то мы с каждым днем становимся все более и более чужими». Но шум вокруг переговоров Народного единства с христианскими демократами утомлял Сесара: те заявляли, что не желают быть кислородной подушкой

для правительства, ведущего страну к краху, эти возражали, что оппозиция сама ведет страну к краху; те заверили, что правительство не может более безнаказанно игнорировать мнение большинства, эти утверждали, что именно они представляют большинство и выступают от его имени.

Фотографии Альенде рядом с высоким импозантным густоволосым мужчиной (как явствовало из подписей, это был пылешный председатель ХДП Патрисио Айльвина, а Сесар был убежден, что председателем ХДП по-прежнему является Фрей) и карикатуры, на которых за спиной Айльвина выступала фигура Фрея с его острым, штыкообразным носом, — все эти изобразительные средства вынывали у Сесара лишь зевоту.

Он знал, что Айльвин выступил с каким-то ультиматумом, который Альенде, разумеется, отклонил, меж тем как страна сползала к ужасающему краху. Но какое отношение эти джентльменские переговоры имеют к поездке Каролины на фабрику Леру, Сесар не понимал.

После некоторых колебаний он позвонил приятелю и попросил его рассказать, как проехать на фабрику Леру.

— Это далеко, в Сан-Хуане, — задумчиво сказал приятель. — А зачем тебе туда?

— Рисовать, конечно, — отвечал Сесар.

— Ого, это обещает стать новым веянием в твоём творчестве. А ты что же, собираешься ехать туда на своей «стойоте»?

— А почему бы и нет?

— Знаешь, я не советую. Все-таки равнина, могут быть эксцессы. Впрочем, по-другому туда и не доберешься.

Так и не добившись от приятеля вразумительных объяснений, Сесар решил ехать на такси. Может быть, действительно вид его бронзовой машины эпатирует обитателей Сан-Хуана и доставит Каролине неприятные минуты.

Выйдя на улицу и пройдя два квартала, Сесар удивился отсутствию такси. Обычно, если он прогуливался пешком, по меньшей мере одно такси следовало за ним вдоль бровки тротуара, и стоило немалых трудов от него отвязаться. Сегодня же улицы были пустышны: ни такси, ни грузовиков, ни микроавтобусов. Стоял час снесты, жалюзи магазинов были закрыты. Но ведь на таксистов снеста не распространяется!

Наконец Сесару удалось остановить потрепанный, некогда роскошный «форд» с акульными плавниками. Шофер охотно завязал беседу.

— Вы, сеньор, я вижу, приезжий, не знаете наших порядков.

— Нет, я чилиец, — отвечал Сесар, — но долго был... за рубежом.

— Ну, тогда понятно. А то, я думаю, что можно делать приезжему в Сан-Хуане. Весь транспорт забастовал. Наверно, один я по Сантьяго езжу, так что, сеньор, вам повезло. И езжу на свой страх и риск. Перехватят пикетчики, ребра переломают, а машину сожгут.

— Так-таки сожгут? — не поверил Сесар. — За что?

— А за то, что не бастую. Ожесточился парод. Я-то думал, подзаработаю на конъюнктуре, но — опасный заработок, два раза уже камнями стекла били. Наверно, сегодня последний раз выехал. Так что, прошу извинения, возьму с вас подороже. А за город вообще не повез бы. Там люди Вильяррина все дороги перекрыли, убьют — и никто не узнает. И что интересно — в прошлую забастовку я, наоборот, сидел дома, так меня же лишили лицензии.

Фабрика поразила Сесара. Не то чтобы он был потрясен технической мощью (мощь как раз была не так велика, да и техника с индустрией интересовали Сесара немногим больше политики, в уме он эти понятия как-то связывал), но новые варианты занимавшей его комбина-

ции цветов открылись ему здесь в неожиданных масштабах. Лиловые и белые пары, поднимавшиеся над котельной, над моечными и сушильными цехами, уходили в желтое небо, как бы пропитываясь скрытым солнечным светом, и становились... трудно сказать, какими они становились, но небо всасывало их толстые клубы без остатка и светило все так же ровно.

Он вышел из машины возле проходной. Решетчатый щит с огромными деревянными буквами «Фабрика Леру» украшен был еще и фанерным листом с прилипкой, сделанной наспех красной краской — «Быви». Огляделся: утоптанная грунтовая площадка, засыпанная чем-то черным, вроде шлака, вся в круглых лужах, по периметру ее и отдалении — жалкие одноэтажные строения, слепленные из кусков самого разнородного материала, пустая автобусная остановка.

Водитель с интересом за ним наблюдал, высунувшись из окошка кабины. Он не произносил ни слова, но на лице его значился насмешливый вопрос: «Ну, и что мы теперь делать будем?» Блажен не ведающий; к левому крылу его колымаги была приклеена устрашающая листовка. «Смерть предателю!» — черными буквами, и поверх этих слов — кровавая пятерня.

— Назад поедет, сеньор? — спросил наконец водитель.

Сесар покачал головой. Он колебался — сказать о листовке или промолчать. Но тут машина сорвалась с места и умчалась по Грац-Авениде.

В проходной Сесара задержали. Несколько человек в полувоенной форме, выслушав его сбивчивые вопросы, долго что-то выясняли по внутреннему телефону, поглядывая на Сесара в окошко: должно быть, его внятный вид (костюм «сафари» цвета хаки, сандалии на босу ногу, воинственная борода) плохо укладывался в какие-то рамки безопасности. Наконец со двора в проходную вошел

миловидный курчавый юноша в снечовке, протянул Сесару руку и просто сказал:

— Лавадос, Хайме. С кем имею честь?

Сесар назвал. Фамилия его заставила юношу задуматься.

Потом он с недоверием спросил:

— Вы... из редакции «Сигло»?

Сам себе удивляясь, Сесар кивнул. Впрочем, ласилию над совестью он совершал незначительное: при необходимости дело можно было повернуть так, что редакция в ответ на запрос направила его сюда.

— Вы нас простите, товарищ,— сказал Хайме Лавадос,— по обстановка такова... присутствие на территории посторонних сейчас нежелательно. Редакция нас предупредила. Впрочем, товарищ Сото сейчас придет. Вам придется подождать ее здесь.

Сесар кивнул и, подойдя к окну, стал любоваться серебристыми газгольдерами, которые на фоне лилового и желтого выглядели очень эффектно. Хайме (ему, видимо, было поручено занять Сесара беседой) подошел и встал с ним рядом. Некоторое время оба молчали. В желтом небе плыл вертолет.

— С минуты на минуту ждем палета,— пояснил Хайме.— Все утро кружит над головой. Поразительно: если над каждым заводом они повесили по вертолету, как же тогда с национальной безопасностью?

— Только горячее жгут, подлости,— проворчал вахтер.— Не жаль им государственных денег.

— Скажите,— с любопытством спросил Хайме,— что слышно там, наверху, об этом кармоновском законе? Не лучше ли передать право на оперативки карабинерам?

— Одна сатана, товарищ Лавадос,— возразил молодой охранник.

— Нет, ты не прав! — Хайме резко обернулся.

Завязался спор. Если бы он велся на китайском языке, Сесар имел бы не большее представление о сути проблемы. Он опасался, что сейчас его попросят высказать свое мнение, и обман обнаружится. К счастью, в это время во дворе появилась Каролина. Опустив голову, она быстрыми шагами шла к проходной.

— Ола, лани,— войдя в караулку, сказала она.— Как славно, что ты за мной заехал. Редакционная машина записывает.

У Каролины были жалкие, большие глаза, щеки ее опали и слегка пожелтели. Она достала сигарету, закурила.

— Я вот за что боюсь,— сказала она, взяла Хайме за рукав и повернула к окну.— Вот за это,— она указала на газгольдеры.— Ведь они ни перед чем не остановятся. Начнут стрелять — может выйти большая беда.

— Как в Курико,— проговорил Хайме.

— Да, как в Курико. Наши уже звали оттуда. Что делается! Настоящая Хиросима...

Каролина поперхнулась дымом и закашлялась.

— Мы это учли, товарищ Сото,— сказал Хайме.

— Ну, хорошо. Держите нас в курсе дела. Если придет редакционная машина, отошлите ее обратно.

Она крепко, по-мужски тряхнула руку Хайме Лавадоса, молчаливым кивком попрощалась с охранником и, взяв Сесара за руку, вывела его из проходной.

Сесар с удивлением смотрел на нее: еще никогда он не видел Пируситу такой жесткой и решительной.

На площадке у ворот Каролина огляделась.

— Так ты на машине? — спросила она.

— На такси,— виновато ответил Сесар.— Я все хотел тебе сказать, но ты сегодня такая деловитая...

Улыбнувшись, Каролина бросила сигарету, поцеловала Сесара в щеку.

— Ладно, — сказала она, — пойдём навстречу дяде Густаво. Погуляем пешком, как влюбленные. Это мои родные места, ты хоть знаешь?

Они вышли на длинную прямую удручающе грязную улицу. Ни тротуаров, ни перекрестков, размоины, рытвины и лужи, в которых отражалось бессолнечное светлое небо. Кругом облупившиеся стены домов, в прогалах меж ними — горы отбросов, повсюду раскиданы смятые пакеты от порошкового молока, муки, маппой круны, а дальше за домами — безбрежные моря дощатых бараков, сараев и утлых лачуг.

Сесар чувствовал себя как будто в другом городе, не в том, где он родился и вырос, а в особенном, специально выстроенном для съёмки жалостливого фильма о жизни бедных людей.

Сказать, что он видел все это впервые, было бы неправдой: в Архитектурной школе студенты-старшекурсники специально изучали такие районы, разрабатывали планы их перестройки. Но Сесар мало интересовался этой работой: на ватмапах его коллег взамен безобразных лачуг возникали не менее безобразные ряды бетонных коробок с хмурыми лоджиями. Наглядное подтверждение мысли, что идеалы количественно выражены быть не могут. Сесар был прекрасно осведомлен о существовании районов, подобных Сан-Хуану, и мог не делать большие глаза, поскольку сам молчаливо санкционировал их существование.

Но сегодня, сейчас это море убожества и грязи связалось в его сознании с любимым, прекраснейшим в мире существом, которое, нежно прижимаясь к нему, стояло рядом... И это открытие было ужасным. Так, значит, здесь можно родиться и жить, провести свое веселое детство, бегать среди этих отбросов в школьном фартучке со связкой книг в руке и быть при этом для кого-то единственной, нигде и никогда неповторимой...

Сесар стоял и не знал, что сказать. Разумеется, ему было известно, что Каролина выросла в рабочей семье, в пролетарском районе, но все это казалось ему словами, взятыми напрокат из редакционного лексикона. Он просто не представлял себе, как это выглядит в настоящем, человеческом масштабе... Сказать ей, что это ужасно? Она может оскорбиться, люди не любят, когда задевают то, что связано с детством: это неприкосновенный духовный капитал. Умилиться? Увидеть ее здесь маленькой замарашкой, вроде тех, которые играют сейчас в прогулке между домами? На это у Сесара не было сил, весь его классовый инстинкт вставал против этого.

Должно быть, Каролина угадала его состояние. Она спокойно и молча взяла его под руку, и они не спеша пошли по Гран-Авенюде в сторону Парадеро-Сейс.

Каролина вновь закурила. Делала она это неумело, с преувеличенной обстоятельностью.

— Послушай, Нья Пируса,— заговорил Сесар.— Я самозванец, я назвался человеком из «Сигло», а у вахтера на столе лежит твоя газета с огромным заголовком «Родина в опасности». Я ничего об этом не знаю. Она что, действительно в опасности?

Каролина печально на него посмотрела.

— Если бы ты знал, папито,— сказала она, и глаза ее наполнились слезами,— если бы ты знал, что творится! Военные озверели... Врываются на фабрики, штыками и прикладами сгоняют в кучу людей, под дулом автоматов заставляют их ложиться на землю, лицом в грязь, а сами рыщут по цехам, ищут оружие... У них это называется оперативками... По всей стране творится эта вакханалия, и ничего нельзя сделать. Мы едва успеваем выезжать на расследования...

— А разве они имеют на это право? — спросил Сесар.

— В том-то и дело, что имеют...— Каролина отшвырнула в сторону сигарету.— Мы сами дали им такое право.

Есть закон о контроле над оружием, его предложил сенатор Кармона, и мы его приняли. Мы думали, что этот закон поможет нам обезоружить ПИЛ, а вышло так, что обезоруживают нас самих. Достаточно анонимного звонка, устного доноса, что на такой-то фабрике хранится оружие, и армия кидается на оперативку. На некоторых заводах идут настоящие бои, есть раненые, убитые... А пилоты спокойно пользуются своими арсеналами, и никто им не мешает... Вчера взорвали нефтеспровод в Курико, начались пожары, есть жертвы...

— Да, это свистовство, конечно, — сказал Сесар. — Я всегда был невысокого мнения о военных. Но скажи, разве на заводах должно быть оружие?

Каролина взглянула на него и ничего не ответила. Внезапно что-то ударило Сесара в спину между лопаток. Он обернулся: в стороне возле крытого ржавой жестью сарая стояла группа подростков. По тому, как озабоченно они смотрели в противоположную сторону, о чем-то тихо переговариваясь, Сесар понял, что это дело их рук.

— Прости их, — сказала Каролина. — Для этих мест... ты слишком наряден.

— Бог с ними, — сказал Сесар, — я не сержусь. Но ты не ответила: находят на оперативках оружие? Или все это попросту самоуправство?

Каролина молчала. Она достала из пачки новую сигарету, хотела закурить, но Сесар ее остановил.

— Не надо, — сказал он, взяв Каролину за руку.

Вдруг она повернулась, посмотрела ему в лицо.

— А как ты думаешь, — резко спросила она, — как ты думаешь, если дело идет к перевороту, может рабочий класс остаться безоружным?

— Не знаю, — сказал Сесар.

Новый камень, брошенный подростками, стукнулся о землю и, отскочив, больно ударил его по ноге, но он решил не обращать внимания.

— Текстильщица с автоматом, шофер автобуса с базуккой, механик с ручными гранатами — по-моему, это просто неслепость. Все должны заниматься своим делом. Во всем мире перепороты следуют за переворотами, но кто-то в этом мире добывает уголь, лечит детей, водит поезда. Какая разница ткачихам, кто сидит в Ла Монеде, — Альенде или полковник Супер? Людям и при Супере, и при Альенде надо во что-то одеваться, и эта обязанность...

— Молчи о людях, лучше молчи! — покрасневшись, перебила его Каролина. — Что ты знаешь о людях? Что ты знаешь об их обязанностях? У тебя-то у самого какие обязанности перед людьми?

Сесар хотел что-то сказать, но она не дала ему возразить.

— Молчи, тебе говорят! Да, искусство нужно людям... возможно, твое искусство тоже кому-то нужно, но живешь-то ты вовсе не на искусство! Живешь ты на деньги, которых не заработал! Ты берешь деньги в долг вот у этих ткачих, которым ты высокомерно советуешь помнить об их обязанностях. Ах, это мамши деньги? Не тропь святое? А то, что это святое вложено в подвижность, в жилые дома, ты хоть помнишь? И кто живет в этих домах, не интересовался? Ты берешь у них деньги, у несчастных людей, а за что? Эти дома ты сам для них строил? Грабишь бедняков и живешь на их деньги щегольские костюмы — да еще распускаешь о человеческих обязанностях? А то, что эти ткачихи с автоматами в руках впервые в жизни работают на себя, а не на спекулянта-француза, тебе известно? Ты думаешь, они хотят, чтобы все вернулось назад, и мечтают вновь увидеть француза? Поработать на него всласть, от души, чтобы он накопил достаточно денежек и имел возможность коллекционировать твои картины, когда ты станешь мировой знаменитостью? Может быть, ты втайне этого и хочешь. Для тебя Леру — потенциальный клиент... Но мы — не хотим! Не для этого мы три года мучаемся...

Она остановилась перевести дух. Мальчишкам паскучило швырять в них камнями, и они стали подбираться поближе, прислушиваясь к странному разговору стоящих посреди улицы людей.

— Послушай, ты устала,— сказал Сесар.— Поедем ко мне.

— Нет,— упавшим голосом ответила Каролина и отвернулась.— Я к завтрашнему дню должна сдать статью.

— Ну, завтра и сдашь.

— Ты сумасшедший,— дрожащими руками Каролина вытряхнула из пачки сигарету и закурила.— Нельзя терять ни дня.

Она с жадностью затаилась, вскинула голову и открыто, даже, пожалуй, вызывающе посмотрела Сесару в лицо.

— А ведь ты, мой милый, мумия,— выпуская дым, сказала она.— Настоящий матерый момьячо.

Подростки, стоявшие от них уже шагах в десяти, пошептались с малышкой и, злорадно улыбаясь, вытолкнули вперед двоих мальчишек. Чумазые, сопливые, одетые в просторные обшоски малыши принялись плясать и выкрикивать:

— Кто не скачет, тот момьячо! Кто не скачет, тот момьячо!

Вдалеке подпрыгивала на ухабах приближающаяся к ним машина.

— Напрасно ты,— глядя себе под ноги, сказал Сесар,— напрасно ты все свое ожесточение переносишь на меня...

Заслышав шум мотора, подростки постарше с независимым видом, сунув руки в карманы и посвистывая, стали расходиться. Бросились врасылную и малыши. Машина подкатила, это был «фольксваген» редакции.

— Пирусита? — высунувшись из окна, прокричал дядя Густаво.— Извини, никак не мог поспеть вовремя. Давно ждешь?

— Ничего,— сказала Каролина и пошла к машине.

Дядя Густаво вопросительно посмотрел на Сесара, который не двинулся с места.

— А товарищ с нами?

— Нет, — ответил Сесар. — Товарищ не с вами.

И зашагал прочь.

17

Вечером десятого августа в сопровождении Оливареса Альенде поехал на Центральный пункт неотложной помощи, где в палате ожогов находились семнадцать жертв нарыва в Курико.

Настроение у президента было подавленное, он сидел, отвернувшись от Оливареса, и смотрел на пустынные улицы города, непривычно свободные от транспортного потока, на огромные толпы возле магазинов, на прохожих, которые молча провожали взглядами скромный президентский кортеж.

Страшная гибель Арайи покрыла все эти дни своей тенью. Альенде был хорошо знаком со смертью, много раз видел ее во всей ее нагой простоте и никакого мистического ужаса перед ней не испытывал. Необратимость потери его терзала, но на седьмом десятке имеешь за плечами внушительный ряд необратимых потерь.

Мучительно, тяжело умирал отец. То было в бурном тридцать втором году, Альенде ожидал приговора военного трибунала, он был арестован на митинге в юридической школе. Его привели к отцу под конвоем, и с первого взгляда он понял, что часы отца сочтены. Глядя в сторону, бесцельным голосом отец говорил о том, что не сумел обеспечить своим детям достатка и оставляет им лишь незапятнанное имя честного человека, а много это или мало — решать должен каждый сам для себя, таким капиталом нужно еще уметь воспользоваться... И на лице его была печать отрешенности, оно как будто светлело сквозь сумрак. На следующий день отец умер, и десятки лет прошли с

того времени, но сердце до сих пор сжимается при воспоминании о тихой, почти равнодушной скорби, звучавшей и угасающем отцовском голосе. Быть честным человеком для Альенде означало не запятнать себя конформизмом по отношению к погрязшему в маразме строю, и весь отцовский капитал — незапятнанное имя — он пронес сквозь годы не-растраченным и целиком вложил его в победу семидесятого года...

В лице Артуро Арайи, хотя этого человека и не мучил тяжкий недуг, видна была при жизни та же скорбная тень, как будто он предчувствовал свою ужасную кончину. Артуро был болезненно чуток, и, может быть, по каким-то неясным признакам он уловил, что его избрали мишенью... Порой достаточно бывает беглого взгляда из толпы, чтобы прочесть в этом взгляде свою судьбу. Альенде корил себя за то, что не отнесся к тревогам своего друга внимательнее: читал ему политические сентенции — вместо того, чтобы его поберечь. Убив Арайю, «антипатриа» давала Альенде понять, что его ожидает. Хорошили не адьютанта, хорошили его самого — изрешеченного, истекшего кровью, в наглухо закрытом гробу.

...Днем они с Олпваресом заезжали на рынок Вега Сентраль — ничего, кроме камышовых циновок и глиняных горшков. Свежие овощи были завезены утром в таком ничтожном количестве (их доставляли на повозках и тракторах с прицепами только из ближних пригородов, дальше дороги были завалены камнями, засыпаны гнутыми гвоздями, перекрыты завалами из срубленных тополей), что их расхватали в течение получаса. Сотни людей толпились в ожидании завтрашнего подвоза — и это несмотря на то, что было объявлено: цены для оптовиков к утру возрастут вдвое, что для потребителя оборачивалось пяти-семикратным увеличением. И немудрено: ожидались лишь две колонны мопаровских грузовиков, которые в сопровождении карабинеров пытались пробиться к городу.

— Черт его знает, — бурчал Оливарес, — отчего крестьяне молчат. Им ведь тоже нет выгоды от такой блокады: скоропортящийся товар пропадает, семена не подвозятся, так и посевную можно загубить.

Альенде молчал. Вильярри прекрасно понимает, что делает: у него в руках мощный экономический рычаг, сорок тысяч тяжелых грузовиков американского производства, для которых, даже в случае их конфискации, не найдется ни водителей, ни запчастей. Сегодня перед Вильяррином был поставлен ультиматум: или он прекращает забастовку в течение сорока восьми часов, или в шесть вечера двенадцатого августа начнется реквизиция машин. В ответ он позволил себе зубоскалить: «Сеньор Альенде, вся страна сейчас смотрит комедию «Девушка, которая не умела говорить «нет». Так вот, Чили — это не та безотказная девушка, Чили умеет говорить «нет». И мы говорим вам, сеньор Альенде: нет. Ни вы, ни ваш марксизм нас не устраиваете».

Да, мелкий собственник непоследователен, осторожен. Но когда его истинный одет в металлы мощных машин, это странная сила, и мы, к сожалению, этого не учли.

Что же делать, как остановить фронтальное фашистское наступление? Объявить клику Вильяррина вне закона, арестовать его самого как изменника и предать суду за агрессию против экономики Чили? Ни конгресс, ни Верховный суд не пропустят это решение. Вильярри, безусловно, изменник, он расплачивается со своими подручными валютой, которая поступает из-за рубежа. Североамериканские монополии не могут забыть успешного претворения в жизнь «доктрины Альенде» о национализации горно-рудных богатств, а господа Киссинджер и Никсон проявляют отнюдь не философскую заинтересованность в том, чтобы чилийский мирный эксперимент был прекращен как можно скорее. Тактика ясна: вызывают хаос — и кричат о хаосе, делая вид, что это объективная реальность, а не их

рук дело. Нет сомнений: только решительное подключение вооруженных сил к выполнению правительственной программы может предотвратить развитие забастовки. Опыт прошлого года — тому подтверждение. Мы сорвали их планы тогда, можем сорвать и сейчас.

Оппозиция согласилась на создание кабинета с участием военных. Айльвин, правда, оговорился при этом, что «само по себе новое правительство не удовлетворяет потребности страны в гарантировании восстановления порядка и безопасности» (типичная для сеньора Айльвина тяжеловесная формулировка — как будто доцу Патрисио известны такие меры, которые сами по себе удовлетворили бы эту потребность, не говоря уже о том, что страна пугается вовсе не в гарантировании, а просто в восстановлении порядка); национальная же партия коротко констатировала свою поддержку идеи вхождения военных в кабинет. Видимо, сеньор Харпа рассчитывает на то, что в нынешней тяжелой обстановке это шаг к созданию чисто военного правительства.

В кабинет вошли генерал Прате, адмирал Монтеро, генерал Руис и генеральный директор корпуса карабинеров Сепульведа. На этих людей Альенде полагался, он был уверен в их гражданской и человеческой честности, каждый из них был по-своему ему симпатичен. Прямодушный, мужественный и в то же время застенчивый Прате, хмурый, даже несколько угрюмоватый, но в сущности добрейший человек Монтеро, высоколобый умница Сепульведа...

Поведение Руиса в день «Танкасо» оставило в душе Альенде тягостный осадок. Ходили слухи, что Сесар Руис метит в диктаторы, но эти слухи ничем конкретным пока не были подтверждены. Руис занял пост министра общественных работ и транспорта, он уже начал переговоры с бастующими камбонерос. Как знать, быть может, ему удастся заставить Вильярина пересчитать претензии транспортников на пальцах и подвести черту.

Выйдя из Красного зала и спустившись в вестибюль На Мопеды, четверо новых министров были окружены кольцом газетчиков. Люди «Меркурио», «Сегунды», «Терсеры» не намерены были упускать свой материал, но генерал Рунс прошел сквозь толпу, «как пушечное ядро с глазами напыкате» (выражение Оливаресса, оп эту сцену пересказывал в лицах), меж тем как Пратс, Монтеро и Сепульведа вынуждены были отбиваться от острых вопросов.

Адмирала спросили: «Ходит слух, что вы не имеете экономического образования. Как же вы представляете себе свою деятельность на посту министра финансов? Не будут ли изобретенные вами налоги изумлять профессоров экономики?» Монтеро ответил: «Будут, если я обложу налогами самих профессоров».

Сепульведа был поставлен перед таким вопросом: «Имеется ли прецедент в истории Чили, чтобы глава полиции был введен в правительство? Похоже, этого не делали даже диктаторы худших времен. А в каких странах это принято?» Сепульведа ответил: «В демократических. Именно в демократических странах принято, чтобы главой полиции был человек, пользующийся доверием правящих партий».

Пратсу был задан самый невинный (по форме) вопрос: «Генерал, чем объяснить столь высокое доверие к вам президента?» «По-видимому, президент знает, что я честный солдат», — ответил Пратс и вдруг, сорвавшись, закричал: «Я честный солдат, я сорок лет отдал службе отечеству, и никому не позволено меня оскорблять!» Допа Карлоса печать подвергла особенно изощренной травле, в ход пускались самые дикие измышления: и то, что Пратс был якобы заинтересован в гибели Шнейдера, расчистившей ему дорогу к вершинам военной карьеры, и то, что он будто бы является законспирированным членом социалистической партии. Личная храбрость, проявленная им в день «Танкасо», подвергалась сомнению: экая невидаль, с пистолетом в руке выехать на джипе против танков, пестра-

тивших свой боезапас! Честнейший Прате переживал нападки прессы острее, чем они того заслуживали.

В новом правительстве генерал Прате занял пост министра обороны, Сесульведа — министра земель и колонизации. Упреки в политизации вооруженных сил и корпуса карабинеров Альенде не страшили: Вильярин и компании разрушили экономические связи внутри страны, расшатали ее хозяйственную структуру и тем самым нанесли тяжелый ущерб национальной безопасности, так не прямой ли долг военных и карабинеров заняться восстановлением стабильности? Могут ли они оставаться безразличными к тому, что группа авантюристов в угоду своим узким интересам обрекает на паралич пятьдесят процентов промышленности и подвергает голодной блокаде города?

Долго ехали молча. Аугусто Оливарес, теребя усы, поглядывал на печально задумавшегося президента.

— Вот, на рынке подобрал, — пробормотал он, протягивая Альенде мокрую, с грязными разводами бумажку.

Альенде с усилием повернул голову, брезгливо, двумя пальцами, взял листок.

«Граждане Чили! — прочитал он. — Творите справедливый суд, расправляйтесь на месте с левыми насильниками, расхитителями страны! Вы свободны от обязанности держать ответ перед *этими* властями. Обо всех ваших справедливых акциях (равно как и об очередных преступлениях так называемого Народного единства) сообщайте только *представителям вооруженных сил!* Предъявление настоящей листовки освободит вас от ответственности за *меры возмездия!*»

Ничего не сказав, Альенде вернул листовку Оливаресу.

— Ныне отпускаешь... — сказал Оливарес. — Своеобразная индульгенция геноцида. Тата, а не слишком ли мы абсолютизируем мирный путь? Для него, как минимум, требуется согласие обеих сторон.

— Ты не прав, — ровным голосом возразил Альенде. — Добровольного согласия мы от них не добьемся. Навязать им мир — вот наша задача.

— Ну, а как же с этой ссылкой на вооруженные силы?

— Тактика, — ответил Альенде. — Голая тактика. Они делают вид, что армия уже с ними. Значит, армия несет ответственность за хаос. Именно это армию и отшатнет.

Снова наступила тягостная тишина. Хано, втянув голову в плечи, вел машину так бережно, как будто улица была загромождена многотонными грузовиками.

— А не заехать ли нам в ДИНАК? — предложил Аугусто. — Это не так далеко, угол Сан-Хоакин — Санта-Роса.

Альенде огляделся.

— Что ж, можно, — равно проговорил он. — На обратном пути.

— На обратном пути будет поздно, — возразил Аугусто. — Сейчас там идет перегрузка.

Альенде подумал. Сегодня утром колонна грузовиков с зерном прорвалась по Панамериканской магистрали. Прорвалась с боем, по дороге несколько раз пришлось разбивать баррикады, машины были обстреляны.

— Хорошо, — сказал наконец Альенде. — Хано, едем на Сан-Хоакин.

В огромных подвалах Национального распределительного центра (ДИНАК) было сумрачно, но сухо. Колкая пыль от мешковины висела под низкими сводами, тускло светили электрические лампы. В глубине просторных галерей слышались гулкие голоса, там с лихорадочной озабоченностью, горбясь, сновали люди, казавшиеся отсюда, от входа, одинаковыми — коренастыми и плотными.

Некоторое время Альенде, Оливарес, Рамон и сопровождавший их унтер-офицер, начальник складской охраны, шли по сводчатой галерее незамеченными. Молодые ребята, мальчишки и девочки в просторных, не по росту, спецовках, катили мимо них тяжелые груженные тугими

мешками тележки. Под колесами путались, мешая движению, какие-то толстые провода.

Дорогу гостям загородила группа телевизионщиков, которые, суетясь, устанавливали на треногах осветительную аппаратуру.

— Твоя работа? — усмехнувшись, спросил Оливареса Альенде. — Заманил на съемку?

— Нет, это тринадцатый канал, — сказал Оливарес, взглянув на часы. — Католики играют в объективность.

Командовал съемкой немолодой лысоватый толстячок с тонким пронзительным голосом.

— Аугусто! — вскричал он. — Какое везение! Рад вас видеть, сеньоры! Мне как будто подсказало сердце! Подождите, ради бога, сейчас включим полную иллюминацию и снимем ваш проход по галерее.

— Привет, Варгас, — сказал Аугусто. — Не суетись, ничего не получится. Мы только на пять минут.

— Ну, что ты, я не могу упустить такой шанс! Ребята, ребята, поживее!

— И что же, будете показывать? — спросил, подойдя, Альенде.

— Обязательно, президент, обязательно будем! — дружелюбно отозвался Варгас. — Послезавтра в двадцать два тридцать.

— Я представляю, что получится, — язвительно сказал Аугусто. — «Общество будущего, как его мыслит Народное единство! Вот что ожидает чилийскую молодежь после выборов семьдесят шестого года!»

Варгас обиделся.

— Ты меня с кем-то путаешь, Аугусто, приятель! Посмотри, какие кадры! Потные лица, улыбки при свете фонарей! Это праздник, гайо, а праздник не скроешь, как ни спимай.

Вспыхнули софиты, в их жарком свете стены галерей как бы раздались. Стайка девчушек, выкатив свою тележ-

ну на освещенное место, замешкалась. Пересмеиваясь, допущки стали усиленно прихоращиваться, вытирать потные, разгоряченные лица, подбирать выбившиеся из-под косышек и паночек волосы.

— Проезжайте, не задерживайтесь, кинозвездочки мои дорогие! — пронзительно закричал Варгас. — Я сниму вас на обратном пути!

— Ну, что ж, желаю успеха, — сказал ему Альенде.

— Никуда вы от меня не скроетесь! — весело ответил Варгас. — Те ворота закрыты, я уже проверял.

Альенде свернул в боковую галерею. После яркого света ему показалось, что он попал в крошечную темноту. Здесь было еще более душно, от пыли першило в горле. Возбужденно перекликаясь, добровольцы тащили тяжелые мешки волоком по полу, поднимали их втроем-четвером, укладывали на широкие столы. Под ногами хрустело просыпанное зерно. Кто-то, пятясь, толкнул президента, остановился, выпрямился, заглянул ему в лицо.

— Альенде! Ребята, здесь Альенде!

И минутой спустя, когда глаза привыкли к свету, Альенде увидел себя окруженным тесным кольцом молодых ребят. Передние, держась под руки и глядя в лицо президенту, скадировали:

— Альенде, Альенде, эль пуэбло те дефьенде! Альенде, Альенде, тебя защищает народ!

Задние напирали, бессознательно пытаясь смять это живое кольцо, подойдуться к президенту поближе. Забирались на столы, на груды мешков. Альенде, Рамон и Оливарес стояли как бы в центре огромной людской воронки. Рамон беспокойно озибался, но Оливарес сказал ему на ухо:

— Не бойся, Патучо, здесь безопаснее, чем в Ла Моине.

— Альенде, Альенде, эль пуэбло те дефьенде! — гремело под сводами галереи.

Запыленные, чумазые лица юношей и девушек казались яркими, светлыми, неправдоподобно красивыми. Расторожно улыбаясь, Альеде поднял руку, стало тихо.

— Мне жаль, — сказал Альеде, помолчав, — мне жаль, что вечера своей юности, каждый из которых бесценен, мы вынуждены проводить в этих глухих подвалах... Не пожалеете ли вы о своей юности, когда все это будет позади?

— Нет! — закричали вокруг. — Нет!

— На стенах Парижа кто-то написал справедливые слова: «Революция сначала делается в душах людей, а потом уже на практике». В ваших душах, я это чувствую, революция уже произошла. Как мне хотелось бы увидеть вас в двухтысячном году... полными хозяевами страны... но боюсь, что мне не дотянуть до этого года. Впрочем, если постараться... как вы думаете?

— Надо постараться, товарищ Альеде! — крикнул паренек из толпы. — Обязательно надо!

— Хорошо, если вы так просите... Я счастлив быть вместе с вами сейчас, счастлив видеть, как в этом полумраке, в сиянии ваших глаз и улыбок расцветают цветы двухтысячного года. По дороге мне было горько, я ехал сюда в тяжелых раздумьях, но сейчас я твердо знаю, я уверен: мы победим!

Кто-то чуть выше, чем надо, запел «Венсеремос», все подхватили, вначале нестройно. Но сзади крикнули:

— Товарищи! Наш президент пришел сюда не за тем, чтобы слушать, как мы поем! Петь можно и работая!

— Правильно! — зашумели вокруг.

Живое кольцо распалось, молодежь перинулась к своим рабочим местам. Песня, на минуту прервавшаяся в суете, вновь ожила в разных концах галерей.

— Венсеремос! Венсеремос! — гремело под сводами подвала. — Мы оковы свои разобьем! Венсеремос, венсеремос! И на горе управу найдем!

— Спасибо тебе, Перро! — сказал президент Оливаресу. — Как хорошо мы сделали, что приехали сюда! Здесь аккумулируется национальная энергия! Красив наш народ! Красив.

Они пошли по галерее в глубь подвалов. Песня копчилась, теперь добровольцы скандировали в такт работе:

— Эль пуэбло — унидо — хамас сера пепсидо! Народ — один — и он непобедим!

Рамон немного отстал. Он был видный парень, и ему приходилось отвечать на задиристые выкрики девочек:

— Эй, флако! Фео! Баго! Эй, тощий! Страшила! Ленивый! Что ты здесь потерял?

— Он идет невесту!

— Нет, выбирает мешок полегче!

— С дырой, чтобы сыпалось по дороге!

Рамон не оставался в долгу.

— А ну-ка, дайте мне воп ту, чумазую!

— Держи!

И увесистый мешок, опсав в воздухе дугу (его раскалили, взяв за углы, несколько девочек), полетел на Патучо. Рамон, однако, изловчился и схватил подарок обеими руками прежде, чем он рухнул на пол.

Раздался дружный хохот.

— Вот это хватка!

— Смотри, как держит, в обнимку! Прямо за талию!

— Он думал, что это красotka! Упала на него прямо с потолка!

Между тем Альенде и Аугусто остановились возле обширного стола, на котором девушки зашивали, не высыпая содержимого, порванные мешки.

— Смотри, дружок, — сказал Альенде Рамону, который, запылавшись, вырос у него за спиной. — Вот девушка, которую ты, помнишь, обидел. Которая все понимает. Или забыл?

— Никкак нет,— ответил Рамон,— не забыл. Она мне обошлась в трое суток. Да еще два наряда добавил команданте — за то, что это случилось при исполнении. Как можно такое забыть?

— Не говори слишком много,— остановил его Альсепе.— По-моему, с ней что-то случилось, у нее заплаканные глаза. Мы пойдем дальше, чтобы ее не смущать, а ты подойди и спроси. Понял?

Работая иголкой, Мануэла быстро взглянула на подошедшего Рамона и слабо улыбнулась. Действительно, ее личико казалось бледным и осунувшимся, темными и запавшими были глаза.

— Привет, Мануэлита,— сказал Рамон.— Узнаешь?

Мануэла кивнула, щеки ее немного порозовели. Наклонившись, она перекусила зубами лентку и отодвинула мешок со стола. Молодой паренек с жиденькой бородкой, стоявший возле нее, остро взглянул на Рамона, подхватил мешок, вскинул его на плечи и, нетвердо шагая от тяжести, отошел.

— Послушай, ты не устала? — спросил Рамон.— Здесь воздуху мало. Поднимись наверх, подыши.

Мануэла покачала головой и наклонилась над следующим мешком. Слезы градом закапали на доски стола.

— Ну, что ты, что ты... — пробормотал Рамон.— Такая бойкая была — и плачешь. Стряслось что-нибудь?

Мануэла кивнула и потупилась, а слезы продолжали капать.

— Отец... — проговорила она и не смогла больше ничего сказать, видимо, боясь заплакать в голос.

Вернулся паренек — как Рамон догадался, брат девушки.

— Машину его перехватили в дороге пикетчики... — хмуро ответил он на осторожный вопрос Рамона.— Вытащили из кабины, били... железными палками...

— Убили? — тихо спросил Рамон.

— А, лучше бы сразу... — парень махнул рукой и отвернулся. — Руки, ноги, спина... все переломано...

Рамон сморщился и зябко передернул плечами.

— Он что, из Патриотического движения?

— Нет, бастовал. На «Сопроле» молоко пропадало, машина стояла, а водителя не было... Отец случайно там оказался. Попросили его отвезти...

Парень взглянул на Рамона, глаза его засверкали.

— Они же трусы, подлецы, двенадцать человек на одного безоружного! Если бы рядом сидел автоматчик...

— Мы посылаем армейские конвои, — угрюмо сказал Рамон. — Но это когда идет колонна...

Парень презрительно скривился.

— Армейские конвои... Уж лучше бы они сидели в казармах, защитники.

— Нашли виновных?

— Да разве их найдешь, — тихо проговорила Мануэла, вытирая пальцами слезы на щеках.

— Когда и где это случилось? — спросил Рамон.

— Да в двух шагах от «Сопроле», вчера утром... — ответил парень.

— Ребята, не горюйте, — обняв их за плечи, сказал Рамон. — Я передам президенту, он все поднимет на ноги... Мы их найдем!

— Это я, я одна виновата... — прошептала Мануэла, когда Патучо отошел. — Я его все время попрекала...

— Не говори глупостей! — прикрикнул на нее брат. — Ничего, скоро все переменится! Скоро и у нас будет сила... Скорее, чем ты думаешь.

18

Здание министерства обороны находилось на площади Бульнеса, у восточного фасада Ла Монеды. Здесь прохожие могли встретить генералов всех родов войск, идущих

пешком на дворца в министерство или обратно в сопровождении адъютантов либо попросту, без свиты. Здесь оперативные газетчики могли подстеречь любого высокопоставленного военного и взять у него интервью на свежем воздухе. Генералы не чурались таких встреч, наглядно демонстрирующих демократизм вооруженных сил. Вирочем, бывали дни, когда мундирная цепочка между дворцом и министерством прерывалась, и на мощеном тротуаре здесь было легче встретить живого пауаса, чем генерала вооруженных сил Республики Чили.

Здание министерства жило своей замкнутой жизнью. Стеклопакетные двери его вестибюля то и дело посверкивали, впуская и выпуская озабоченных офицеров с чиновничьими папками и портфелями, но, едва ступив на тротуар, офицеры садились в выкатывавшиеся из подземного гаража машины и исчезали. Незадачливый репортер, выжидающий своего часа, мог надеяться только подслушать отрывистые указания шоферам: «В академию» или, скажем, «В генштаб».

Здесь можно было встретить и американцев: на втором этаже министерского здания помещалась миссия американских ВВС, на седьмом — группа американской военной помощи, на восьмом — миссия сухопутных сил США.

Вечером после присяги нового кабинета с участием Пратса, Монтеро, Сепульведы и Рунса на четвертом этаже министерства состоялась скромная рабочая церемония вступления на посты новых исполняющих обязанности командующих родами войск. По окончании церемонии в кабинете командующего сухопутными силами собрались генерал Пиночет, адмирал Мерино и генерал Ли.

Дон Аугусто Пиночет Угарте, усердный службист и штабной работник, четырехзвездный генерал, первый в нехотном списке № 1 после Пратса, в третий раз уже приступал к командованию сухопутными силами на время

пробывания Пратса «в политике». В армейской среде говорили, что генерал Пиночет значительно больше напоминает Шнейдера, чем простоватый Пратс: многолетняя преподавательская работа (дон Аугусто читал лекции в военных училищах Чили и Эквадора) сообщила его манерам академическую сдержанность, а солидный дипломатический опыт (дон Аугусто был в свое время военным атташе в Вашингтоне) придал окончательный лоск; как и генерал Шнейдер, дон Аугусто не был чужд радостям творчества и опубликовал серьезную книгу по вопросам геополитики, которую, впрочем, мало кто читал.

У дона Аугусто было лицо усталого скептика: мешки под глазами, нижняя губа и щеки темного отвисли, но не настолько, чтобы это отталкивало, скорее выдавало в нем любителя беззлобно побрюзжать. Очки в светлой роговой оправе, генеральские усы, редкие, но ровные, без залысин, волосы, будничная, но пристойная внешность. Лишь иногда в разговоре дон Аугусто забывал о своей нижней губе, и она отвисала чуть больше, чем нужно, и открывала нижние мелкие и желтые зубы, что придавало лицу генерала несколько злобный вид. Впрочем, дон Аугусто помнил об этой своей особенности и старался следить за собой: когда молчал, он плотно сжимал губы, а ведя разговор, поглаживал нижнюю часть лица рукой, проверяя, все ли в порядке.

Собеседниками и гостями Пиночета были авиационный генерал Густаво Ли Гусман, сухощавый человек с лицом горбуна, и адмирал Хосе Торибио Мерино, казавшийся посредственным актером, загримированным под флотоводца, с сердитыми усами, в стариковских очках, в чрезмерно широком двубортном флотском кителе, который болтался на нем, как на вешалке, и словно позаимствован был в костюмерной. Впрочем, комический вид адмирала не соответствовал его праву, угрюмому и властному: под его началом в Первой военно-морской зоне (район Вальпара-

ранко) действовали свирепые законы военного времени. С сегодняшнего дня адмирал Мерино замещал командующего ВМФ Монтеро, а генерал Ли — командующего ВВС Руиса.

Шел общий, ни к чему не обязывающий разговор.

— Я много раз предупреждал дон Карлоса, — говорил, поглаживая подбородок, Пиночет, — что его лояльностью злоупотребляют, и, чем активнее его втягивают в политику, тем больше он отдаляется от вооруженных сил. Увы, дон Карлос чрезмерно прямолинейен, его понимание конституционализма грешит, я бы сказал, односторонностью. Я знаю его с сопливых времен военного училища, считаю весьма способным человеком, и мне не хотелось бы думать, что дон Карлос заворочен пением коммунистических спрен, восхваляющих сладость марксизма. Но, как бы то ни было, нельзя же, в самом деле, жертвовать своей репутацией ради спасения правительства, которое тем лишь хорошо, что пришло к власти в результате выборов. Если оно неспособно удержаться на плаву — пусть уходит. Правительства сменяются, армия остается... как говорит пап общий друг Польони, «при своей стойкой профессиональной идiosинкразии в выполнении долга и при своих военных добродетелях».

Подполковник Альберто Польони был автором учебника для военных училищ, процизировать над которым стало хорошим тоном в офицерской среде. Поэтому бледные тонкие губы генерала Ли тронула вежливая улыбка. Адмирал же, принципиально не поощрявший пиуток и давно забывший те учебники, по которым учился, по-прежнему пребывал в мрачном оцепенении, как крупный паук, поводящий перед собой добычу. Однако звук слов «военные добродетели» заставил его содрогнуться и выдавить из себя что-то хриплое, похожее на кашель.

— В определенном смысле, — недоуменно взглянув на адмирала, продолжал дон Аугусто, — мы, военные, дейст-

нительно являемся конституционным гарантом, но гарантируем не жизнеспособность каждого отдельно взятого правительства... сие, как говорится, от нас не зависит... а самый процесс законной сменяемости правительств, коль скоро он вообще возможен. Мы поддерживаем не правительства, это дело политических партий, а общий порядок вещей. Вот в чем ошибка дона Карлоса и тех, кто сегодня нас покинул. Они становятся игрой в руках политиков с их амбициями и тем самым отчуждают себя от вооруженных сил.

Суесловие хозяина кабинета раздражало гостей: Пилочет давно уже дал им понять, что они могут «держать курс надежды», и неоднократно намекал на то, что под его руководством Военная академия и генштаб разрабатывают план «восстановления внутренней безопасности», и вот теперь, вместо того чтобы раскрыть детали этого плана, заставляет их выслушивать набившие оскомину прописи. Однако субординация обязывала их терпеть: сукопутные силы в списке родов войск находились на первом месте, что традиционно рассматривалось как главенство. Кроме того, положение Пилочета было намного прочнее, чем у них обоих. Дон Аугусто являлся по выслуге лет непосредственным и законным преемником Пратса, между тем как адмирал Мерино был всего лишь начальником одной из военно-морских зон, пусть даже самой надежной, прославившейся «бастаионом правопорядка»: ему еще предстояло доказать свое лидерство в адмиральской среде. Что же касается генерала Ли, то всему свету было известно, что Рунс держал его в подмастерьях и ни при каких обстоятельствах не собирался отказываться от своего чернства, имея на этот счет далеко идущие планы. Если провал сегодняшнего правительства (да что все трое рассчитывали) позволял поставить вопрос о пребывании Пратса и Монтеро в рядах вооруженных сил, настолько они связали себя поддержкой Народного единства, то сва-

лить генерала Рунса с ними заодно не представлялось возможным, здесь нужно было разработать особый план действий, и генерал Ли надеялся на хитроумие дона Аугусто, которому диктаторские амбиции Рунса были тоже не с руки. Вот почему Ли, не забывая о том, что он на два дня старше Пипочета (этот козырь, весьма существенный для чилийского генералитета, Ли приберегал напоследок — когда «проблема Рунса» будет наконец урегулирована), — вот почему он терпеливо слушал брюзжание хозяина.

Дон Аугусто лицедействовал, изображая благодушную воркотню сделавшего свое дело и довольного собой профессионала. Работа действительно была проделана внушительная. Дон Аугусто с максимальной полнотой использовал возможности, открывавшиеся перед ним дважды: с ноября по март и с апреля по одиннадцатое июня, когда он заменял Пратса на посту командующего сухопутными силами. Прежде всего, он объездил все нехотимые части, расквартированные от Арики до Огненной Земли. Осторожно прощупывал настроения командующих, собирал офицеров и, делая вид, что желает им лично представиться в новом качестве (для многих из них он был всего лишь командующим провинциального гарнизона в Икике, выдвинутым волей правительства Народного единства), проводил беседы «на общие темы». Не рискуя играть в открытую, дон Аугусто разработал несколько несложных приемов, позволявших ему направить разговор в нужное русло. Начиная обычно с сожаления по поводу гибели Шнейдера. «Дурной знак, — говорил он, сокрушенно покачивая головой, — дурной знак. Политические убийства военачальников никогда не были в традициях чилийской армии. Как прискорбно, что приход доктора Альенде ознаменовался таким ужасным событием!» И, не углубляясь в обсуждение этой темы, дон Аугусто начинал сетовать на состоящие экономики. «Воистину волосы встают

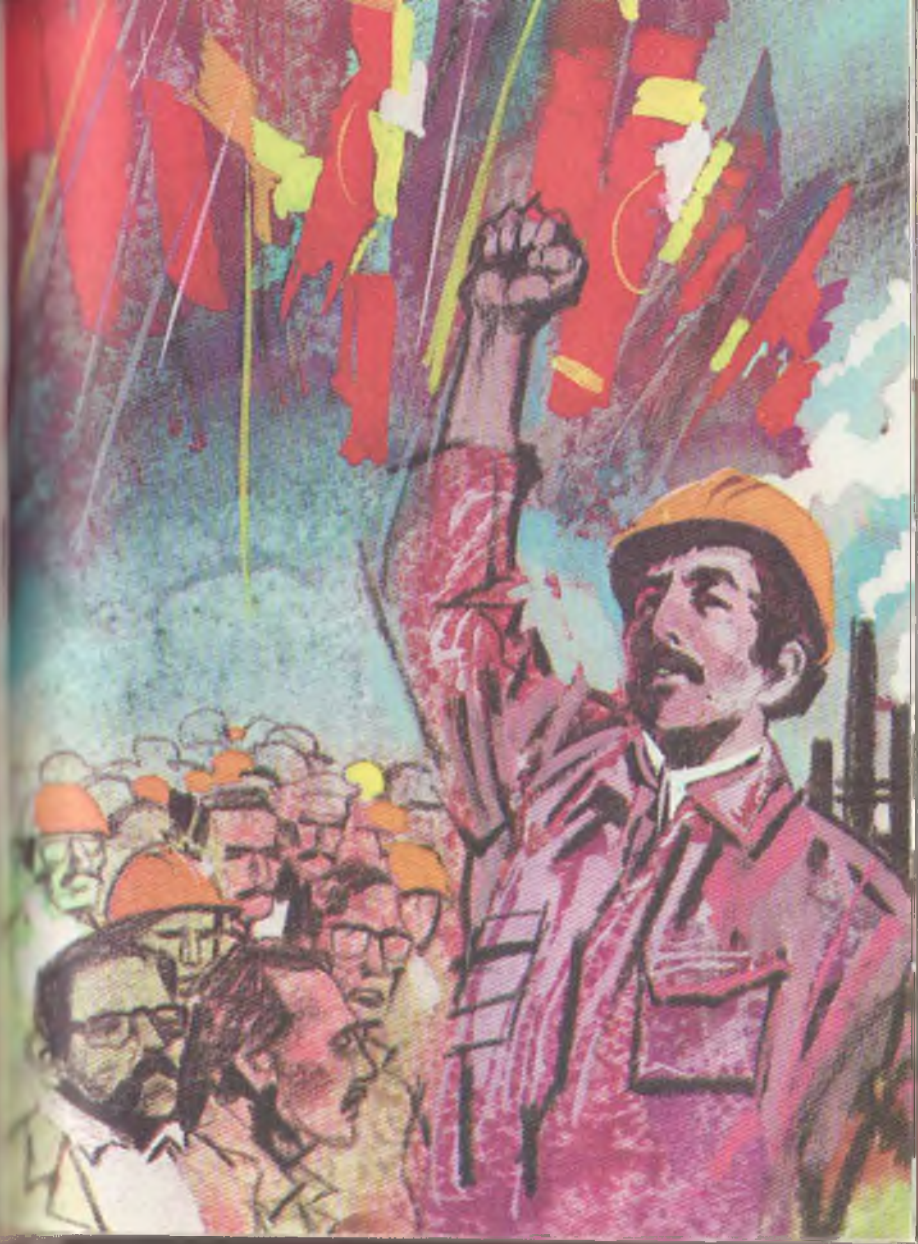
дыбом, — цитируя знаменитого плакальщика древнего мира, говорил он. — Предприниматели теряют интерес к производству, выгодной становится лишь спекуляция. Иностранцев предпринимателей распугали своими националистическими амбициями, денежная масса растет, печатом по семьсот эскудо в секунду. У всякого люмпена в карманах драных штанов — толстые пачки денег, а магазины пусты. Контроль за ценами, валютная политика, юлла экспроприаций — не создается ли у вас, господа, впечатление, что кто-то задался целью разрушить всю экономическую структуру страны?» Если ответ на этот вопрос был уклончивым, сдержанным, дон Аугусто заходил с другой стороны. «Где же традиционная вежливость и предупредительность чилийца? Повсюду хамство, агрессивность, дурные манеры. Простолудия с гораздо большей охотой спешит на уличный митинг, чем к своему рабочему месту, и он по-своему прав: зарплата ему начисляется все равно... и даже растет. Подростки толпами слоняются по улицам с самодельными транспарантами, выкрикивают грубости, и никто не призывает их к порядку. Более того, с отеческой теплотой этих бездельников именуют «молодыми идеалистами», любят их наглостью, чуть ли не поспевают ее». Вот это был уже безотказный ход: пусть оставалось неясным, кого дон Аугусто имеет в виду, но эти сетования находили живейший отклик «в простых и честных офицерских сердцах». Далее дон Аугусто упоминал, что визит Фиделя Кастро в 1974 году неоправданно затянулся, кубинский вождь гулял по стране двадцать пять дней, как по собственной гостинице, вмешивался во внутренние дела, читал революционные наставления. Дон Аугусто отлично знал, что этот визит вызвал у многих офицеров раздражение. И если сочувственные реплики становились достаточно громкими, он с лицемерным вдохом заключал: «Но будем держать курс надежды. Надежды на природное здравомыслие среднего чилийца.

Рано или поздно народ должен очнуться от эйфории и взглянуть трезвыми глазами на созданное положение. На этой стадии беседы необходимо было дьявольски искреннее чутье. Дон Аугусто вглядывался в лица офицеров и если замечал хоть тень скепсиса, клятвенно заверял собравшихся, что он не марксист, а всего лишь военный, терзаемый тревогой за судьбу родины. И патетически заключал: «Как знать, господа, народ ведь может свинуться с существующим положением, приять его как нормальное, и в этом смысле время работает против Чили».

Два гарнизона не пожелали понять намека: там большинство офицерского корпуса составляли хоть не марксисты, но «прогрессисты», до сей поры не опомнившиеся от восторгов, связанных с национализацией меди. Дон Аугусто пережил в этих гарнизонах несколько тяжелых минут, при одном воспоминании о которых у него пачинала ныть печень.

Но, как бы то ни было, ему удалось заручиться негласной поддержкой большинства пехотных частей. Одновременно Военная академия готовила техническую документацию к «Плану восстановления внутренней безопасности» (в целях конспирации слово «восстановление» было заменено «обеспечением»), а Генеральный штаб на основе этой документации разрабатывал приказы частям и гарнизонам, практические рекомендации командующим. К началу августа эта подготовительная работа была практически завершена, и дон Аугусто имел основания благоденствовать.

Осуществление плана было намечено на четырнадцатое сентября — день репетиции Большого парада. По этому случаю концентрация в столице войск, заблаговременная раздача амуниции и приведение в готовность транспортных средств не могли вызвать подозрения у правительства. Сосредоточенные в Сантьяго и окрестно-



стях поиска делились на две группировки: одна должна была действовать внутри города, двигаясь четырьмя колоннами по направлению к центру, другая — охватывать город извне, блокируя пригородные «индустриальные кордоны». Получалось как бы двойное кольцо: когда сопротивление «кордонов» будет сломлено, второй эшелон подтянется к первому, сомкнувшись вокруг Ла Монеды. В этот решающий момент план предусматривал подключение военно-воздушных сил для бомбардировки дворца с воздуха. «Увы, господа, — горестно говорил дон Аугусто доверенным генштабистам, — такая крутая жестокая мера совершенно необходима — чтобы сберечь как можно больше жизней наших солдат».

«Феномен «Тапкас» (так изысканно выражался дон Аугусто) внес в разрабатываемый план незначительные коррективы. Прежде всего, Пинчот почувствовал, что Альенде не бросит рабочие отряды на истребление, и единственной помехой осуществлению плана (если не считать сопротивления президентской охраны, которое обещает быть упорным) остается возможность «поляризации» — то есть раскола в вооруженных силах и столкновения регулярных частей. «Поляризации» дон Аугусто боялся: одно дело — запереть в Ла Монедо и уничтожить любой ценой горстку гапонцев (карабинеров дон Аугусто рассчитывал нейтрализовать путем физической взятии Хосе Сепульведы), и совсем другое — столкнуться в узких переулках центра с боевой мощью правительственных войск. Между тем два самых боеспособных столичных соединения — курсанты военных училищ под командованием генерала Пикеринга и войска Второго округа, подчиненные команданту Сантьяго генералу Марио Сепульведе Скедде, — оставались надежными бастионами правительства: Пикеринг и Марио Сепульведа не намеревались отказываться от выполнения того, что они считали своим воинским долгом. Пикеринг и Марио Сепульведа —

ати два имени были кошмаром дон Аугусто: он живо представлял себе, как четырнадцатого сентября его «двойное кольцо» окажется в окружении молодых и отчаянных курсантов Пикеринга и как комендант Сантьяго явится в штабной бункер, чтобы лично арестовать «изменника родины Пиночета». Так что благодушие дон Аугусто было в значительной степени напускным: он из всех сил старался скрыть от Мерино и Ли, что на душе у него тягостно и тревожно.

— Наш долг, — выдержав паузу, продолжал дон Аугусто, — наш патриотический долг состоит в том, чтобы при любых обстоятельствах блюсти национальные интересы. Увы, законо избранная власть может вырождаться, и никто, кроме вооруженных сил, не в состоянии судить, законо данное правительство или незаконно: парламент раздираем партийными амбициями, партии защищают групповые интересы, и только мы представляем всю нацию целиком. Мы, выходя из среднего класса, являемся выразителями и защитниками его интересов, а средний класс — это основа, фундамент нации. Сегодня нация с недоумением смотрит на нас, люди на улицах плюют в лицо военным. Вчера на площади Бульнеса какая-то женщина назвала моего адъютанта курицей, и этот бравый служака не нашелся, что ей ответить. Весь мир смотрит на нас и ждет нашего решения. Наши друзья в трех Америках и в Старом Свете не понимают причины нашей медлительности. Мы, к сожалению, немолоды, мы достигли вершин военной карьеры и имеем право рассчитывать на заслуженный отдых...

Все, кто близко знал Пиночета, могли бы сказать: ну, завел свою песню. Действительно, дон Аугусто любил потолковать о том, что его время на исходе, что у сил человеческих есть предел, но за этим всегда инстинктивно слышалось «но».

— Знаю, трудно, нечеловечески трудно, — продолжал

дон Аугусто,—стоять навтыляжку перед врагом, склонять голову, молча выслушивая марксистские поучения... Инино я еще в молодости дал себе клятву: никогда, ни при каких условиях не отдавать воишских почестей коммунистам. Сегодня, господа, я могу сказать с гордостью: эту клятву я выполнил. Были трудные минуты, не спору... Вспоминаю, как в бытность свою командующим гарнизона Сантьяго я встречал в аэропорту Фиделя Кастро. И нашел в себе мужество нарушить протокол и поставил кубинского главари между собою и тогдашним мишстром обороны — так, чтобы рапорт начальника почетного караула не достался коммунисту...

Дон Аугусто умолк и пытливо взглянул на своих слушателей. Ему пришлось с огорчением констатировать, что ни Ли ни Мерьяно рассказ об этой уловке не произвел впечатления. Коллеги прекрасно знали, что Ининочет не скупится на заверения в своей лояльности и готов стоять навтыляжку хоть перед самим сатавой. Кстати, и Фиделю он козырял весьма исправно. Коллеги только переглянулись, и дону Аугусто показалось, что генерал Ли скептически усмехнулся. «Скоты,—подумал дон Аугусто с досадой,—легко вам отсиживаться на своих базах. Если бы мы торчали с утра до вечера на глазах у Альянде, вы бы ползали перед ним по площади Конституции». Дон Аугусто презирал своих коллег, считая их совершенными ничтожествами: они обречены были до конца своих дней оставаться на вторых и на третьих ролях, между тем как ему предназначена была иная судьба. Дон Аугусто был яро-стно, рентильно властолюбив. Он мучительно желал, чтобы все ненавидели его, боялись, трепетали при одном его имени, наяву и во сне. И этой мечте суждено было сбыться: именно такую участь уготовило ему провидение. Что значили в сравнении с этим предначертанием те мелкие компромиссы, на которые он шел ежечасно? Угодничать? Извольте. Распинаться в клятвенных заверениях? Сколь-

ко угодно. Лидедействовать? Да он готов предаваться этому занятию годы и годы, лишь бы исполнилась предугаданная им воля всевышнего. Придет время — и люди будут свято, истово верить в то, что дон Аугусто никогда не отдавал воинских почестей коммунистам и не угождал перед ними, а эти двое — они еще пожалеют о своих циничных ухмылках.

Дон Аугусто тщательно скрывал свою неутоленную прость, прикидываясь даже перед близкими неповоротливым брюзгливым тугодумом, и мало кто умел разглядеть меж набрякшими веками его глаз тусклый свинцовый блеск лютого нетерпения.

Одним из непогих, кто угадал в нем умного, юркого и злобного хищника, был янки, генерал из зоны Панамского канала. «Ты сможешь, наверняка сможешь», — сказал американец, похлопывая его по колену. — Тебе нет равного к югу от Рио-Гранде». Беседа эта состоялась в сентябре прошлого года, когда по пути в Мексику дон Аугусто задержался в зоне на три дня. Покровительственные слова американца исполнены были библейского величия. И небеса как будто разверзлись над головою угрюмого штабного служакн, в сияющем просвете открылась ослепительная картина: все сильные мира сего рукоплещут ему с заоблачных круч. Какой там к черту средний класс, знать он не хочет никакого среднего класса, все это лишь человеческий материал, мягкий, податливый, месить его, как тесто, засучив рукава, впахивая обратно в кадушку, и пусть сеньоры Матте и Эдвардсы, которые сейчас трижды думают, прежде чем пустить Пиночета из Икике на порог своего «ливинга», благоговейно стоят вокруг, наблюдая, как он работает на историю. Да, на историю! Уж если какой-то слабовольный Альенде считает себя мессией исторического прогресса («Мы открываем человечеству принципиально новый путь»), то неужели у дона Аугусто неостанет уверенности сказать: «А мы

его закрываем навек, ибо этот, с позволения сказать, путь ведет к разрушению мирового порядка».

Молчание затянулось.

— Подумать только,— проговорил генерал Ли,— если бы не трусость Томича, Альенде не прорвался бы к власти.

— И это было бы величайшим несчастьем для Чили,— быстро ответил Пипочет.

— Я понимаю...— несколько опешив, сказал Ли,— наш Аугусто — любитель парадоксов, но все же, все же...

— Наш Аугусто оговорился,— язвительно заметил Мерино.— Привычка клясться в лояльности.

Дон Аугусто кисло улыбнулся: подумать только, этот засохший омар говорит колкости. А мы-то, грешные, полагали, что кроме коллекционирования сигаретных коробок адмирал ни на что не способен.

— Ценю ваш юмор, друзья,— сказал дон Аугусто,— но мы, детерминисты и фаталисты...

Ни тем, ни другим дон Аугусто не был: всю свою жизнь он оставался тем, чем родился, ползучим прагматиком. Но в этом вопросе заблуждение его было искренним.

— ...Но мы, детерминисты и фаталисты, смотрим на вещи серьезнее. Если бы этот кабальеро не был притянут за уши к власти, страна прошла бы еще через несколько лет метаний и разгула демократии, что выдвинуло бы другого марксистского лидера, и новый оплел бы нас такими сетями, что мы бы уже не выбрались.

— Следовательно?..— любезно подыграл генерал Ли.

— Следовательно, победа Альенде — величайшее благо для Чили. Нация получит суровый урок, и это отобьет у нее охоту пускаться в эксперименты. Нам же, сеньоры, победа Альенде лишь облегчает задачу: он доверчив и мягок, это не настоящий марксист. Он жизнелюб, я бы даже сказал — эникуреец. Образ его жизни не соответствует

принципам, которые он так рьяно проповедует. И знает, что, господа, — дон Аугусто доверительно помолчал, — меня терзает вопрос: пренебрегает ли сеньор Альенде истинным смыслом доктрины или просто не знает о нем? Вопрос этот, как вы сами понимаете, чисто теоретический, поскольку в любом случае Альенде должен исчезнуть, это предрешиено...

— Знает, вне сомнения, знает, — сказал генерал Ли. — Как может отец «доктрины Альенде» не знать, что он творит?

Под доктриной Альенде подразумевалась система компенсации иностранным владельцам за национализированные предприятия — с учетом сверхприбылей, которые эти владельцы в течение установленного периода вывозили. Так, «Анаконда» только с медного рудника «Чукикамата» получала миллион долларов прибыли в день. За сорок лет янки вывезли из Чили девять миллиардов долларов: столько стоили сейчас все производственные фонды страны. Иными словами, половина национального достояния утекла за рубеж. И вот, согласно доктрине Альенде, был установлен официальный предел допустимых для вывоза прибылей, и все, что иностранцами вывозилось из страны сверх этого потолка с мая пятьдесят пятого года, высчитывалось из компенсации. В результате «Анаконда» и ее собрат «Кеннекот» не только не получили никакой компенсации, но еще и остались должниками Республики Чили.

Дон Аугусто злобно взглянул на «горбуна» — и тут же притушил свой взгляд, устало смежив тяжелые веки. Все, что было связано с национализацией меди, он упорно обходил молчанием: доктрина Альенде самим фактом своего существования изъязвляла его мессианскую концепцию. Само слово «Провидение» начинало настоятельно требовать кавычек, как «Анаконда» или «Кеннекот». В Каламо молодой офицер задал ему единственный вопрос — как

раз в тот момент, когда доп Аугусто говорил о «националистических амбициях»: «А доктрина Альенде? Разве она не принесла пользы стране?» Чтобы отпарировать этот выпад, доп Аугусто пришлось срочно перейти к «традиционной предупредительности чилийцев», которая уступила место плебейскому хамству. И все благодаря глобальным замашкам правительства. «А все же?» — не унимался офицер. Но то было в Каламе, черт побери, не в министерстве же обороны, на четвертом этаже... Сейчас доп Аугусто ненавидел генерала Лп острее, чем какого-нибудь «упельенто». «Ах ты ничтожество, — думал он, сладко жмурясь от ненависти. — И отчего только у горбунов такие скверные скрипучие голоса?»

— В любом случае, — с нажимом, наставительно произнес он, — коммунистическому Карфагену нет места на чилийской земле.

19

Похороны отца состоялись в понедельник двадцатого августа, в тот самый день и на том же кладбище Хепераль, где хоронили лидера Патриотического движения водителей Бальбоа, убитого два дня назад террористами Вильяррина.

Скромная процессия, состоявшая из вдовы, детей допа Хесуса и нескольких соседей, влилась в огромную колонну, шедшую за гробом Оскара Бальбоа. По обе стороны колонны медленно двигались грузовики, протяжными гудками сопровождавшие процессию по авениде Ла Пас.

Родольфо и Каролина шли, держа под руки обезумевшую от горя Марию Эстелу, позади брела Мапуэла, она вела за руку растерянно притихшую Лус. Мария Эстела не плакала, она уже выплакала все слезы и теперь только падрывно надыхалась. Глаза ее были полуприкрыты, ноги волочились по земле. Небо над авенидой Ла Пас высылось

белое и гулкое, как мраморный свод, и такую же белой и скрежещащей под ногами казалась мостовая.

Каролина мучилась запоздалым раскаянием: в голову стучала одна, совершенно нелепая мысль, что, если бы она не опоздала в тот день, предупредила отца, ничего бы не случилось...

Мария Эстела что-то тихо бормотала себе под нос. Каролина прислушалась.

— Семь дней...— говорила мачеха,— семь дней мучилась... Я же просила тебя, просила... не умирай, пожалуйста... а ты... ну, что ж, говоришь... ну, что ж, говоришь, и могу сделать...

— Мама, не надо...— глухо сказал Родольфо, тоже прислушивавшийся к этим словам.

— Не надо, Мария Эстела, не надо...— как эхо повторила сзади Мануэла.

На кладбище, возле разверстой могилы, к ним подошел человек из МОПАРЕ, попросил у Марии Эстелы разрешения сказать несколько слов.

— Нечего... нечего говорить...— пролепетала Мария Эстела коснеющим, как бы распухшим языком.

Человек понимающе посмотрел на нее, извинился и отошел.

Когда все было кончено и люди стали расходиться, дети обступили Марию Эстелу, подняли ее с колен. Она посмотрела на них мутными от слез глазами, и вдруг лицо ее исказилось, и она тихо, но внятно сказала:

— Вы, вы это сделали.

Лицо Фито сморщилось, он отвернулся и сжал кулаки. Чипита горько заплакала, за нею зарыдала и Лус. Каролина в отчаянии пыталась обнять Марию Эстелу, но та с неожиданной силой стала от нее отбиваться, повторяя с закрытыми глазами:

— Сделали... Сделали... Сделали...

У ворот кладбища их ждала редакционная машина.

Дядя Густаво вышел из кабинета, придерживал откидывающееся сиденье, пока Родольфо и Мануэла усаживали вдолу. Мануэла посадила Лус к себе на колени, Родольфо сел рядом, Каролина — впереди. Соседи попрощались и пошли пешком...

В тот день забастовали мелкие торговцы, витрины всех магазинов слепо глядели закрытыми жалюзи. Те немногие лавчонки, которые все же работали, окружены были толпами молодых парней; они швыряли в окна камни, оттапкивали от дверей пытавшихся войти покупателей. В другое время Каролина непременно остановила бы машину и бросилась в самую гущу драки, но сегодня было нелзя... Чуть прибавив ходу, дядя Густаво проехал сквозь белесое, паоловину рассеявшееся облако слезоточивого газа, Лус закашлялась и снова жалобно заплакала, Чинита стала вполголоса ее утешать. Вдалеке на тротуаре стояла толпа в ужасных марлевых повязках: как будто у всех неподвижно застывших людей были оскаленные бело-желтые рты.

Магазин «Лучетти» стал сегодня центром сражения. Жалюзи его были сорваны, витрины разбиты, на мостовой валялись груды разного барахла, в которых, озираясь, рылись какие-то люди. А из окон все летели коробки и ящики, рулоны бумаги. На втором этаже двое парней, трудолюбиво напрягаясь, выпихивали в окно канцелярский стол. Однако, когда «фольксваген» с семьей доня Хесуса проезжал мимо «Лучетти», люди прекратили свою суету и долго смотрели вслед, как будто за этой машиной тянулся темный шлейф горя...

На другой день, поручив Марию Эстелу и младшенькую заботам Чиниты, Каролина приехала в редакцию. День клонился к вечеру, все материалы в завтрашний номер на ее колонку были уже подобраны, и Каролина, не зная, куда себя девать, бродила из отдела в отдел и просила дать ей хоть какое-нибудь дело. Но из сочувствия к ее горю

никто не хотел ее загружать, хотя ей пужпо было сейчас только забиться.

В коридоре на нее паткнулся Суньига. Статный, плечистый, черноусый и белозубый, в модном костюме, с тонко подобранным галстуком, он казался пришельцем из иного, упорядоченного мира, в котором не бегают по улицам в марлевых повязках, не бьют витрин, не ходят черными толпами за гробом по колено в облаках слезоточивого газа.

Славный парень Суньига сразу все понял. Впрочем, он Каролине никогда не нравился: она с детства испытывала предубеждение к щеголеватым мужчинам. Возможно, и Сесар убедил ее в своей человеческой достоверности именно тем, что всегда был несколько растрепан. Каролине казалось, что безукоризненный порядок в одежде отражает такой же порядок в душе, а порядка в душе быть не должно, иначе не будет развития.

— Слушай-ка, ты ищешь дело,— озабоченно сказал Суньига.— Дело есть: срочно пужна миловидная женщина в стиле Баррио Альто. Нужно ехать на улицу Эррасуриса, притом в личном автомобиле.

— Да, но у меня нет личного автомобиля,— слабо возразила Каролина.

— Значит, у тебя должен быть кто-то, у кого он есть,— отпарировал Суньига.

Каролина покраснела.

— Ты пойми меня поскорее,— сказал Суньига.— У дома Пратса собралась толпа женщин, возможна крупная провокация. Нужен подробный отчет для завтрашнего номера. Выделяться нельзя, вмешиваться — ни в коем случае. Толпа настроена агрессивно, квартал оцеплен матусовцами, которые только и ждут свалки. Редакционную машину сожгут. Припомни какого-нибудь знакомого автовладельца, пусть тебя подвезет.

Каролина припомнила Варгаса с тринадцатого капала

телевидения. У него был старый, но довольно благообразный «мерседес», доставшийся ему по наследству. Когда-то Варгас влюбился за Каролиной, можно было надеяться, что он не откажет.

— «Мерседес»? Так это же дивно! — воскликнул Суньига. — Тебя там примут за свою.

Варгас, разумеется, согласился. По-видимому, старые надежды вновь певельнулись в его душе. Однако тон для ухаживаний он выбрал неверный: всю дорогу жаловался, как трудно стало у них на студии, как дорого обходится даже видимость объективности. За трехминутный репортаж из подвалов ДИНАК, в котором он сочувственно представил «Добровольцев родины», ему пригрозили увольнением, а вступить за одиночку-идеалиста решительно некому. А тем, у кого влиятельные покровители, и не такая смелость сходит с рук. Взять того же Эфраима Цимбалиста: ведет программу «ФБР в действии», и ничего ему не делают.

— Вот так, Пирусита, мы и мучаемся со своей объективностью, — ныл, ведя свой поношенный «мерседес», Варгас. — И вам до меня, разумеется, дела нет.

Каролина молчала. Как тут было не вспомнить о Сесаре, который никогда не плакался у нее на плече: делал то, что полагал нужным, хотя ведь тоже был «ни наш, ни ваш», одинокий посреди дикого разгула своих красок. Сесару и в голову не пришло бы выключивать ее сочувствие, зато на скорбный вид Каролины он непременно обратил бы внимание. И, кстати, с чего это она вообразила, что он должен ей непременно звонить после того, как она бросила его там, в Сан-Хуане, рядом с пайкой озлобленных подростков? А он бы бросил ее в Баррио Альто? на Витакура? А может быть, они забили его камнями, и он лежит сейчас в больнице без сознания, и никому не известно, кто он такой и как попал в Сан-Хуан? А ведь он приехал туда за нею!.. Право, хоть сейчас выскакивай из машины и беги к телефону. Но надо было ехать по делу.

Когда прибыли на место, Каролина закрыла ладонями уши: мотоциклы без глушителей кругами носились по близлежащим улицам, и рев был такой ужасный, что, казалось, рушится небо.

В саду напротив дома Пратса пылали дымные костры, сложенные из автомобильных покрышек. Поодаль, как на светском рауте, стояли группки одетых по-вечернему женщин. Гарь, грохот и хлопьями летевшая копоть — все это не могло не раздражать. Демонстрантки тожно прикладывали кончики пальцев к вискам, показывая, что ждут не дождутся, когда кончится «весь этот кошмар». Иные отряхивали свои платья — на тощих дамах длинные до пят, на плотных, разумеется, короткие и в обтяжку.

— Власть женщин! — кричали они время от времени утомленным сварливым хором. — Не отдадим Чили!

Вдобавок начал моросить мелкий дождь — недостаточно сильный, чтобы залить костры и раснугать «власть женщин», но достаточно неприятный, чтобы демонстрантки вспомнили о своих крашенных глазах и ресницах.

— Я подожду тебя в машине на Веспутчи! — крикнул, придвинув губы к самому ее уху, Варгас. — Меня эти судороги демократии не интересуют.

Каролина кивнула и усмехнулась про себя: телохранителем Варгас был никудышным. «Муй католико» — сказал бы Аугусто Оливарес («уж очень католик», что в переводе на обычный язык означало «дохляк»). Сесар тоже был католиком, но «муй католико» о нем не сказал бы никто.

Между тем возле дома, самый подъезд к которому выглядел оскорбленно замершим, появился плотный мужчина в очках и сделал знак рукой. Какофония мотоциклов смолкла, только гудели высокие и дымные, роняющие хлопья костры.

— Сеньоры и сеньориты! — прокричал мужчина тонким фальдетом. Голос удивительно подходил к распоряди-

толю этого чадного бала.— Сеньоры и сеньориты, человек, которого мы хотели бы видеть, притворился больным.

Воиль сотня жепских голосов был ему ответом.

— Но сеньора София здорова, я смею судить. Есть у нас что сказать этой почтенной сеньоре?

Из толпы выступила хорошенькая блондинка в брючном костюме и, поднеся к покрашенному рту маленький японский электропный мегафон, крикнула:

— Софи, мы пришли за тобой!

— Софи, мы пришли за тобой! — повторил женский хор, сгруппировавшийся полукругом, как на благотворительном празднике.

— Обманутая наша подруга! — продолжала блондинка, и каждую ее фразу повторяли все женщины вместе.— Ты невинна, мы знаем! Мы всей душой с тобой! Постыдно быть женою изменника, мы это знаем! Не будь же безвольною жертвой предательства! В твоих руках очень многое! Ты — женщина, ты — мать своих дочерей! Сделай так, чтоб им не было стыдно! Уведи их из этого дома — и сама уходи! Выйди к нам — и ты опять вместо с нами!

Бедная женщина, подумала Каролина о Софии. Ведь для нее здесь — весь круг ее знакомств. Ходили друг к другу в гости, целовались при встрече щека в щеку, критически разглядывали наряды, обменивались рецептами праздничных блюд, все в рамках истеблишмента, все благопристойно — и вдруг «жена изменника»... Дай боже, чтобы ей хватило сил, хватило гордости за своего мужа, хватило веры в него...

Оглядывая сытые, холеные, красивые, злобные, морщинистые и грубо чувственные кричащие лица, Каролина заметила жену генерала Бониллы — того самого, который так храбро штурмовал казармы суперовского полка, еще двух-трех знакомых ей офицерских жеп. Они не могли не знать, что генерал Пиночет обещал сурово наказывать тех офицеров, чьи жепы замешаны в сковородочных бун-

тах и прочих уличных беспорядках. На что же они рассчитывают?

Вдруг поднялся беспорядочный гвалт, улюлюканье, пязг. Взрвели мотоциклы. К дому подкатил «фиат» жемчужно-серого цвета. Минуту машина стояла с закрытыми дверцами, потом, пригнувшись, из кабины вышел офицер. Каролина узнала его: это был Ренан Балас, зять генерала Каналеса. Только полная уверенность в безнаказанности позволила ему появиться здесь в военной форме. Видимо, Пивочет переоценивал свои возможности.

— Гражданки Сантьяго! — обратился к толпе Ренан Балас. — Нет силы, которая заставила бы меня, впрочем, как и любого честного чилийского офицера, по собственной воле прийти к этому дому, отмеченному позорным крестом.

Аплодисменты.

— Но я узнал, что вы собрались здесь, чтобы напомнить своим согражданам-мужчинам о храбрости и чувстве собственного достоинства, которые ими утрачены... Гордые чилийские женщины, вы многое вынесли. На вас нападали мистры, вас избивали камнями и цепями «молодые идеалисты, чилийцы новой формации». Но вы, наши гордые, полны решимости не допустить становления марксистского ада. Вы явились сюда, к этому чудному дому, зная наверняка, что уже воют сирены полицейских машин, что через считанные минуты на вас обрушатся водометы. Позвольте встать перед вами на колени, святые!

И Ренан Балас театрально опустился на колени.

Бурные аплодисменты, женщины бросились его поднимать.

— Я поспешил сюда, — сказал Балас, вставая и отряхивая брюки, — чтобы заверить вас: нет, доблестные чилийцы, нет, наши гордые подруги, вы не совсем правы в своем отношении к нам. Но все, далеко не все ваши братья, мужья и любимые оцепенели в ожидании чуда, которое

избавит страну от марксистской чумы. Я здесь, чтобы от лица офицерского корпуса сказать этому человеку...

Ренан Балас повел рукой в сторону безмолвного дома, и по толпе пронесся шелест: «Слушайте!»

— Сеньор Пратс, — громко выкрикнул офицер, — нация и ее вооруженные силы не желают иметь с вами ничего общего. Мы исторгаем генерала Пратса из своих рядов. Сеньор Пратс, нам неизвестно, какие соображения заставили вас предать вооруженные силы, предать народ и служить марксистско-еврейской кличке, прокравшейся к управлению страной. Пусть ваши соображения останутся при вас, мы отвергаем их с гневом и презрением. Ваша измена, генерал, застала нас врасплох, но не обескуражила, и доказательство этому — мое присутствие здесь, присутствие офицера на этом митинге храбрых женщин, которые не в первый раз преподают нации урок мужества и достоинства, говоря вам: сеньор, подайте в отставку со всех незаслуженно доставшихся вам постов. Ваше присутствие в рядах вооруженных сил оскорбительно для нации: уходите!

Каролина слушала эту речь с изумлением и ужасом. До сих пор ей казалось, что, говоря о фронтальном наступлении фашизма, «Сигло» несколько сгущает краски. Сама она не пользовалась термином «фашизм», заменяя его словом «антипатриа», которое представлялось ей более точным, так как являлось собственно чилийским и не содержало приблизительных исторических параллелей. Но вот перед нею был настоящий фашист, гитлеровец, мракобес, и красовался он не в черном мундире эсэсовца, а в оливковой униформе офицера вооруженных сил Чили, и говорил он на безупречном звонком кастельяно... Чилийский фашист! Ну, хорошо, Ибањес, это было давно, поведь Ибањес публично отрекся от своего фашистского прошлого и если не переродился, то перерядился, во всяком случае! Чилийский фашист... даже подонки, забившие до смерти ее отца, представлялись ей обезумевшими мел-

кпии буржуа, от страха за свою собственность потерявшими чувство родины... Теперь же Каролина впледа, что Лучо был прав: то, что сказал сейчас Ренап Балас, можно со спокойной душой повторить и Вильярип, и Пабло Родригес, и те, презрештившие капитана Арайю.

Вдруг Каролина почувствовала на себе острый взгляд из толпы. Она повернулась — и увидела Габриэлу. Насмешливо и вызывающе сестренка Сесара смотрела на нее всем своим видом показывая: я знаю, кто ты, я знаю, зачем ты здесь, но неужели тебе не страшно? Впрочем, можешь не волноваться, мы все-таки отчасти свои. Казалось, улыбающиеся губы Габриэлы шептали: «Вы не ошиблись дверью, сеньорита?»

К счастью, Ренап Балас уже закончил свою пылкую речь, и восторженные женщины буквально понесли его к «фиапу» на руках. Воспользовавшись суматохой, Каролина отступила на шаг, потом быстро пошла под тень высоких деревьев, минуя молчаливые группки матусовцев (в сумраке при свете костров поблескивали их черные пояса), как вдруг кто-то выступил из темноты и крепко взял ее за локоть.

— В чем дело? — громко, пытаясь высвободиться, сказала Каролина. — Пустите, я закричу.

— Здесь слишком людно, Пирусита, — слышался в полумраке голос Гильермо. — Отойдем.

— О боже мой, Мемо, как ты меня напугал! — прошептала Каролина.

— А мне казалось, ты не из пугливых, — сказал Гильермо и, не выпуская ее локтя, повлек Каролину в темноту.

— Я на машине, — предупредила Каролина.

— Знаю, — ответил Гильермо. — Старый башмак.

При свете фонарей, когда они проходили мимо, Каролина рассмотрела его: Мемито похудел, укоротил бакенбарды и даже, кажется, постарел.

Отошли. Каролина прислонилась спиной к стене, Гиль-

армо встал так, чтобы на его лицо не падал свет. Но все равно сестра разглядела, что по щекам его текут слезы.

— Похоронили, — глухо произнес он.

— Да, вчера, — с горьким упреком ответила Каролина. — Что же ты, занят был? Кажется, на похороны мог бы прийти.

— Нет, сестренка, не мог, — сказал Гильермо и замолчал.

— Очень мучился? — спросил он после паузы.

— Да, очень, — коротко ответила Каролина.

Гильермо скрипнул зубами.

— Я их на-под земли достану, ублюдков... — проговорил он свистящим шепотом. — Прокараулим... собственного отца...

— Что у тебя за дела, Гильермо? — устало спросила Каролина. — От кого ты прячешься?

— Это еще надо поглядеть, кто от кого прячется, — со злобностью сказал Гильермо.

— Ну, хорошо. Кто же от тебя прячется?

Гильермо помедлил.

— Не мой это секрет, Пирусита... Послушай, ты не обратила внимания? Там в толпе была такая рыженькая, молоденькая...

— Ты имеешь в виду Габриэлин? — как можно спокойнее спросила Каролина.

— Не волнуйся, — по голосу Мемо Каролина поняла, что он усмехается, — не волнуйся, братец ее ни при чем. Да и девочка, по сути говори, тоже: так, дурью мается. А рядом с ней никто не стоял?

— Почему же никто? Две пожилых таких дамы: жена Гондольи и еще одна, в парике, я ее не знаю.

— А парень? Плотный, плечистый, шея короткая, ротик маленький, мокрый, он его все время облизывает.

— Нет, такого не видела, — подумав, сказала Каролина. — А кто это?

— Это, Пирусита...— голос у Гильермо осекся от зависти,— это крупная гадина. Я за ним два месяца иду. Кроме меня, никто в лицо его не знает. Поймаю — легко будет. Поняла?

— Нет... не очень.

— Ну, как хочешь. Запомни: меня нет. Совсем нет. И нищому ни слова, что меня видела.

Каролина молчала.

— Ну, ладно, пока,— Гильермо потрепал ее по щеке и собирался уже отойти, но Каролина схватила его за рукав.

— Постой...— проговорила она.— Ну, как же так? Своим-то мог бы сказать... мы уж не знаем, что о тебе и подумать.

— Дом у нас, Пирусита, дырявый...— с коротким смешком ответил Гильермо.— Фито неизвестно с кем знает. Да, кстати, и ты своему бородатому... не вздумай!

— Во-первых, я с ним больше не вижу,— оскорбленно сказала Каролина,— а во-вторых, он даже не подозревает о твоём существовании.

— Это хорошо,— проговорил Гильермо и, шагнув в сторону, пропал в темноте.

Тут вокруг завывли сирены, замигали огни полицейских машин. Карабинеры оттеснили утомленную ожиданием толпу женщин к автомобильной стоянке и деловито принялись тушить костры.

А Каролина задумчиво пошла на Веспуччи, где в «мерседесе» ее терпеливо ждал занудливый Варгас.

20

Весь вечер двадцать первого августа Альенде вел на резиденции телефонные переговоры. Сегодня чувствительный удар нанесла президенту Коллегия медиков. Альенде был ее основателем, долгие годы руководил ею и дорожил

своим членством в Коллегия. И вот руководство Коллегии составило его в известность, что рассматривается вопрос о его исключении из рядов организации. Это было тяжкое оскорбление, но, переступив через самолюбие, Альенде позвонил по телефону с президентом Коллегии доктором Акуньей и в течение часа терпеливо объяснял ему, что это решение непродуманное, необоснованное, наконец, оно просто несправедливо. Выяснилось, что предложения об исключении поддерживают не все члены руководства, многое зависит от того, насколько президент готов пойти навстречу требованиям врачей. Вся проблема заключалась в том, что Альенде запретил использовать в частной практике государственное оборудование, помещения и медикаменты. Обзвонив других руководителей Коллегии, Альенде почувствовал, что врачи-частники готовы пойти на компромисс. Поскольку поступление некоторых дефицитных медикаментов из-за рубежа уменьшилось, частники, совмещавшие свою практику с государственной службой, требовали, чтобы в этих поступлениях у них была твердая доля. Начался долгий мелочный торг. Наконец, опустошенный этими затянувшимися и безрезультатными переговорами, Альенде положил трубку, снял очки и прикрыл руками измученные, покрасневшие глаза.

— Не понимаю тебя, папа, — сказала ему дочь Беатрис. — Телефонные разговоры всегда тебя утомляли. Почему ты не поручил эти переговоры мне?

Врач по профессии, Беатрис последние годы взяла на себя обязанности личного секретаря отца.

— Видишь ли, Тати, — устало сказал Альенде, — этот вопрос слишком деликатен и слишком важен лично для меня. Членство в Коллегии связывает воедино всю мою жизнь...

— Они не посмеют тебя исключить! — с жаром возразила Тати. — Ты слишком много для них сделал. И потом, нельзя разговаривать с этими людьми так мягко! Они же

забыли о своей профессиональной этике, объявили забастовку, так... мелочные торговцы! Из-за них гибнут роженщицы, сердечники, жертвы дорожных происшествий... «Пусть упельентос летатся у своих министров», — вот как они говорят. Я бы им все сейчас высказала! Я бы...

— Именно поэтому, — остановил ее Альянде, — и я предпочел вести переговоры сам.

Отношения с коллегами-врачами у Альянде никогда не складывались гладко. Он с неприязнью относился к сытым, преуспевающим, дорогостоящим, «вхожим в лучшие дома» медикам — и не скрывал своей неприязни. Много лет назад один из его коллег, модный и в общем-то прекрасный врач, дружески обнимая Альянде за плечи, сказал ему: «Чисто, дорогой, ты делишь общество на капиталистов и рабочих, я признаю правомерность такого деления, но, как коллега коллеге, хотел бы порекомендовать тебе другое. Лично в дело людей па больших и здоровых, на бедных и богатых. Если вдуматься, складываются четыре категории. Богатые и здоровые правят миром, богатые и больные лечатся у меня, бедные и здоровые работают на первых и вторых, а бедные и больные, естественно, умирают. Ты слишком долго занимался этой последней категорией, и твой подход к жизни от этого однобок. Мир не состоит из одних несчастных больных бедняков, и большинства в нем они не составляют. Они обречены самим фактом своей принадлежности...» «Страшно слышать такие слова от врача, — перебил его Альянде. — Когда ты давал клятву Гиппократа...» «Правильно, я обязался держать дверь своего дома открытой для всех страждущих. Они и приходят ко мне в любое время дня и ночи... или вызывают меня к себе. Но, заметь, все они принадлежат ко второй категории. Я поставил дело так, что никому из четвертой категории в голову не придет ко мне обратиться. Ты же связал себя обязательствами именно перед ними, вот почему ты терпишь неудачу за неудачей. Они тянут тебя па дно...»

— Не понимаю, не понимаю! — возмущенно говорила Беатрис. — Неужели они сами не чувствуют, что их позиция низменная, мелка, бессовестна? Интеллигентные люди... И знаю — водители, те просто ослеплены кастовым эгоизмом, картина в целом им не видна, они понятия не имеют, куда тащат страну... Но эти — должны же они испытывать, как минимум...

Слушая ее, Альенде начал медленно выкладывать на стол бумаги. Беатрис замолчала.

— Будешь работать? — спросила она.

— Да, — коротко ответил Альенде, надел очки и погрузился в рассматривание мелко написанных черновиков. — Но обращай на меня внимания, дочка: сегодня мне не заснуть. Впрочем, работа — лучшее средство от бессонницы, равно как и от сонливости.

Беатрис долго стояла и смотрела, как он пишет, пакопец не выдержала.

— Мне не нравится, как ты выглядишь, папа, — сказала она.

Альенде поднял голову, посмотрел на дочь, не понимая, потом взгляд его прояснился, и он улыбнулся.

— Это почему же? — спросил он. — И какое это имеет значение? Разве я завтра позирую для обложки «Эрсиды»? Тогда я все бросаю и иду немедленно подстригать усы.

— Ты прекрасно меня понимаешь, — сказала Тати. — Ты должен быть бодр и подтянут, как всегда. Это, если хочешь знать, тоже политический фактор.

— Внешний вид президента — разумеется, — серьезно отвечал Альенде. — Президент демократической страны должен быть чистеньким румяным фотогеничным старичком, в меру плотным и не очень высокого роста, чтобы ни у кого не вызывать негативных эмоций. — Он помолчал. — Нет, Тати, я и в самом деле должен работать. Видишь ли, я шикарный оратор, я не могу, как Фидель,

импровизировать, мне нужен тщательно выверенный текст. Как говорит Пабло, «Я втиснул в толстую кожу адреного смысла, сдавившую грудь змеиными кольцами благозумья, и все мои детища порождены...»

— «...в упрямом борежье», — закончила Тати. — Но, может быть, все-таки я тебе помогу? Ты будешь диктовать...

— Нет, ты пойдешь сейчас спать, — сказал Аленде. — Ты врач и прекрасно понимаешь, что в твоём положении надо придерживаться режима.

Тати ждала ребенка и сама выглядела, надо сказать, неважно.

— Что у вас тут за дискуссии в поздний час? — спросила, входя, Тенча.

— Уведи, пожалуйста, девочку спать, — сказал ей Аленде. — Она мешает мне работать.

— Ну, хорошо, хорошо, — обиженная, Тати ушла.

И в это время зазвонил телефон. Со вздохом Аленде взял трубку, не ожидая, видимо, хороших известий. Выслушав, несколько раз сказал «Так, так» (Тенча с беспокойством наблюдала за меняющимся выражением его лица: щеки его посерели, рот как будто зажал), коротко поблагодарил, опустил трубку на рычаг, встал и начал расстегивать домашнюю куртку.

— Звонил Сепульведа, — проговорил он в ответ на вопросительный взгляд жены. — У дома Пратса беспорядки. Толпа женщин, есть жены офицеров. Выкрикивают оскорбления... я думаю, ты понимаешь. Высланы карабины.

— Я позвоню Софи, — сказала Тенча.

— Сейчас не надо, потом. Я к нему еду.

Аленде вызвал дежурного, отдал распоряжение о выезде. Ушел во внутренние комнаты, вернулся переодетый. Он был в черной куртке и в черном тонком свитере с воротником под горло, лицо его стало как будто еще бледнее.

— Ты думаешь, Карлос... придаст этому значение? — спросила Тенча.

— Он болен, — ответил Альенде. — Кроме того, последние дни, я замечаю, у него упадок духа. Нам нужно было больше его беречь.

...На улице Эррасуриса еще стоял запах жженой резины. Толпа уже рассеялась, но весь этот мирный респектабельный квартал был отмечен печатью опустошения. Даже газоны за оградой имели встрепаивший вид, тротуар и мостовая перед домом — сильно замусорены.

У подъезда стояли полицейские машины. За ними — одна генеральская. Постовые карабинеры переговаривались с солдатом-водителем. Завидев машину президента, они стали навывтяжку.

— Товарищ президент, — сказал, не оборачиваясь, Хано, — у подъезда нет места.

— Найди где-нибудь, — с досадой ответил Альенде. — Не поворачивать же обратно!

Войдя в холл, президент столкнулся с генералом Бошильей, который, видимо, собирался уже уходить. Хозяин его не провожал.

— Добрый вечер, генерал, — приветливо сказал президент. — Приехали навестить коллегу?

— Нет, нет, президент, я уже ухожу, — любезно отозвался Бошилья. — Дон Карлос плохо себя чувствует, у него высокая температура, и я не стал утомлять его беседой.

Безусый, щекастый, с маленьким, по-женски очерченным подбородком, генерал Бошилья был обаятелен, ловок, подтянут и щеголеват, как адъютант. Да он и в самом деле числился в свое время пехотным адъютантом Фрея и сохранял дружеские связи со многими видными христианскими демократами. Манеры его были по-американски свободными, мелкозубая улыбка годилась хоть на предвыборный плакат. Приятно было смотреть на этого добродушного, довольного собой человека. Альенде помнил о том,

что в день «Танкасо» Бопилля проявил себя как храбрый и опытный командир, и потому относился к нему с подчеркнутым расположением, хотя раскованность бывшего французского адъютанта его несколько коробила.

— Надеюсь, ваша супруга не участвовала в этой возмутительной выходке? — спросил Альенде.

— Можем ли мы отвечать за своих жен? — улыбаясь, ответил Бопилля. — Лично я не взялся бы допытываться, что делает моя супруга в эту самую минуту.

Альенде быстро взглянул на него и, не сказав больше ни слова, вошел в гостиную.

Пратс сидел в кресле. Вид у него и в самом деле был нездоровый: на щеках багровые пятна, плечи поцупро опупены. Увидев президента, он поспешно встал и принялся застегивать верхние пуговицы кителя.

— Не беспокойтесь, дорогой друг, — сказал ему Альенде, — я тоже ненадолго.

Дочь Пратса Мария Анхелика быстро навела в гостиной порядок и бесшумно ушла. Генерал и президент сели в кресла возле низкого столика.

— Я шиповат перед вами, Карлос, — сказал Альенде. — Это моя оплошность: я должен был усилить охрану домов командующих. С сегодняшнего дня ваш дом будет взят под усиленную охрану, и, заверяю вас, подобное больше не повторится.

— Президент, в этом больше нет необходимости, — медленно, как бы через силу, отвечал Пратс. — Выхода нет, мне придется подать в отставку.

— Вы имеете в виду отставку с министерского поста? — осторожно спросил Альенде.

— Нет, не только. Я полагаю, мне следует уйти со всех своих постов и покинуть ряды вооруженных сил.

Пратс проговорил это, глядя прямо перед собой и с трудом переводя дыхание. Глаза его болезненно заслезившись.

— Я понимаю... — сказал Альенде, — я понимаю, Кар-

нос, сегодняшний инцидент оставил неприятный осадок... но стоит ли поддаваться настроению? Может быть, завтра все представится в ином свете?

— Нет, не думаю,— тихо, но твердо отвечал Пратс.— Вы знаете, президент, я вынес много нападков за последние годы. Но сегодня, сейчас, моя отставка неизбежна и совершенно необходима...— он судорожно глотнул воздух,— в интересах страны. Об этом я только что беседовал с генералом Бонильей. Он придерживается точно такого же мнения.

— Его мнение — его личное дело,— сказал президент.— Но я считаю, что вы нужны нации, и не могу принять от вас эту непомерную и нецелую жертву.

Пратс снова расстегнул верхнюю пуговицу кителя, положил на колени тяжелые руки и закрыл глаза. Видно было, что он измучен и держится на пределе сил.

— Вы правы, президент, сказав слово «жертва»,— говорил он после паузы.— Я сорок лет отдал вооруженным силам, практически всю свою жизнь. Начиная с младшего лейтенанта и стал тем, чем стал... Мог ли я подумать тогда, в молодости, что доживу до этого дня?

Он вскинулся, резко повернулся и заглянул в лицо Альенде.

— Президент,— сказал он,— бог видит, я честно служил и был хорошим солдатом и командиром. Я ничему больше не учился, ничего больше не умею, в гражданской жизни я беспомощен более, чем подросток... Но иного решения нет. Если в армии действует тайная группа путчистов, я не согласен быть для них предлогом, турецкой головой, как у нас говорят. Путчистам нужен раскол вооруженных сил. Только когда часть армии стеною двинется на другую часть и будет пущена в ход вся огневая мощь и начнется кровавая баня,— только в этих условиях они могут на что-то рассчитывать. Но мы-то с вами не можем этого допустить! Случилось так... не знаю уж, чья здесь

ошибка, моя или ваша, а может быть, чей-то злой умысел и далеко идущий расчет... но случилось так, что мое имя стало одиозным в глазах значительной части офицерства. Для многих Пратс — человек, скомпрометировавший себя. И путчисты, хоть это и звучит парадоксально, заинтересованы в том, чтобы я остался на своих постах: тогда им удастся связать с моим именем ту часть вооруженных сил, которая идет за генералами Пиночетом, Пикерингом, Марио Сепульведой... связать имена этих честных профессионалов с поддержкой моего пошатнувшегося авторитета и направить одну часть армии на другую. Да, мое имя становится символом раскола... мне горько и больно это сознавать, но это так. Они с дьявольской ловкостью расставили мне одну ловушку за другой, и в некоторые я попал...

Пратс замолчал и вновь, откинувшись к спинке кресла, закрыл глаза.

— Но, генерал, — прервал молчание Альенде, — если в цепи этих ловушек, как вы говорите, находится и сегодняшняя провокация, то здесь я не вижу логики. Собиравшиеся под вашими окнами крикуны, насколько мне известно, требовали вашей отставки, а не уговаривали вас остаться. Уговариваю вас как раз я, президент. Не означает ли это, что я тоже заодно с путчистами?

Но открывая глаз, Пратс вежливо улыбнулся — в знак того, что он заметил и оценил шутку президента. Но Альенде терпеливо ждал ответа, и, почувствовав это, Пратс зашевелился. Он выпрямился и провел руками по лицу, как бы стирая оцепенение.

— Простите, президент, — сказал он, — у меня был трудный день. Уверен, что сегодняшняя провокация не имеет никакого отношения к путчистам... А впрочем, может быть и так: им выгодно, чтобы я остался, несмотря на все оскорбления, чтобы на меня можно было исподтишка показывать пальцем. Чтобы превратить в такую же турец-

ную голову Пиночета, им потребуется время, и немалое. Авторитет Пиночета в рядах вооруженных сил достаточно высок. Пиночет трижды замещал меня на посту командующего и вел себя совершенно лояльно. Я оставляю надежного преемника, у адмирала Монтеро такого преемника нет...

— А разве адмирал тоже намеревается подать в отставку? — живо спросил Альенде.

— Да, президент, к сожалению, это так, — отвечал Прате. — Полчаса назад я разговаривал с ним по телефону. Адмирал Монтеро поставил меня перед условием: если я подаю в отставку, он делает то же самое. И все мои попытки переубедить его оказались безуспешными. Я знаю, многие флотики во флоте жаждут его крови, но до такой степени отчужденности, как в моем случае, дело еще не дошло. Президент, вам придется употребить все ваше влияние, чтобы заставить адмирала отказаться от этого решения. Уход Монтеро означает невосполнимую потерю для вооруженных сил. Если Монтеро уйдет вслед за мной, его место займет Мерино, это жестокий и самовластный человек, от которого можно ждать больших неприятностей...

— Тем более, — настойчиво сказал Альенде, — тем более, Карлос: еще один довод, что вам не следует уходить.

Но Прате не слышал этих слов.

— Другие кандидаты на этот пост, — тусклым, безжизненным голосом говорил он, — также особого доверия не заслуживают. Совсем недавно мне стало известно, что кто-то из наших адмиралов самовольно оставил свой пост, никого об этом не известив, и совершил развлекательную поездку в Штаты, стоившую около миллиона долларов — вместе с покупками. Откуда взялись эти деньги — нетрудно догадаться: во всяком случае не из адмиральского жалования. Мы таких денег адмиралам не платим.

Щека Альенде дернулась от ярости.

— Ну, за распущенность этому человеку придется заплатить, — проговорил он.

— Боюсь, что доказать ничего не удастся, — вяло возразил Пратс, — в Штатах умеют замечать следы. Я заговорил об этом, чтобы показать вам, президент, с какими людьми придется иметь дело в случае ухода Молтеро. Что же касается генерала Ли, то он не собирается уходить в отставку, но авиация не может простить ему падения Сесара Руиса. Источник слухов о путчистских планах Руиса остается загадочным, и на многих военно-воздушных базах в открытую говорят, что Ли непосредственно причастен к распространению этих слухов, что фактически он выдал своего начальника контрразведке правительства. С этими толками ему будет трудно бороться. Но в душе это убежденный путчист, умный и коварный. Впрочем, я уже говорил вам, президент, что замена Руиса генералом Ли была, мягко говоря, неудачной. А вот против генерала Пипочета решительно ничего не могу сказать. Вчера вечером я имел с ним доверительную беседу. Он сообщил мне, что ему предлагали поддержать идею государственного переворота.

— Вот как, — сказал Альянде. — И он, разумеется, отказался?

— Примерно в таких словах: «Не запятнаю мундира изменой».

— Достойный ответ. Но кто же те наглецы, которые обратились к генералу с таким предложением?

— Аугусто дал слово офицера не называть имена этих людей ни при каких обстоятельствах, — ответил Пратс. — Такое условие было поставлено заблаговременно. А слово офицера Аугусто будет держать, здесь я прекрасно его понимаю...

— Почему же они обратились именно к Пипочету? — задумчиво спросил Альянде.

— Без генеральской фуражки, хотя бы одной, путчистам у нас не на что рассчитывать, — ответил Пратс. — Пипочет сейчас командует сухопутными силами, по его приказу поднимутся больше восьмидесяти тысяч человек...

авиации и флота, вместе взятых, втрое меньше людей. Поскольку Пиночет дал путчистам недвусмысленный ответ, им остается уповать только на раскол. Вот почему моя отставка неизбежна, президент. На сегодняшний день генерал Пратс — это символ раскола.

Последние слова Пратса произнес с горькой улыбкой. Альенде молчал. Теперь он понимал, что решение Пратса выстрадано и обдуманно не сегодня: демонстрация избитых дамочек лишь добавила горечи и обиды. Карлоса Пратса травили долго и изощренно, нащупывая самые болезненные для профессионала-военного моменты: его обвиняли в трусости, в первой неуравновешенности, в разглашении профессиональных тайн и даже в организации убийства предшественника. Ни личная его храбрость, ни безупречный послужной лист — ничто не могло остановить клеветников. И они добились своего: репутация Пратса поколеблена, это отрицать невозможно. Логично было бы не дать организаторам этой подлой кампании пожинать плоды победы, но это означало сознательно пойти на риск откола части офицерского корпуса... Некоторые советники президента склонялись к мнению, что поляризация вооруженных сил — не такая страшная трагедия: путчисты предпочли бы воевать против невооруженного народа, а не против регулярных частей. Но что значит «предпочли бы»? Глаза реакции налились кровью, она сознательно идет на разруху, уничтожает национальное достоинство, старается предельно обострить обстановку сейчас, немедленно, понимая, что время работает против нее. Не ухватятся ли фашисты за этот шанс?

Не нравилась Альенде эта история с приглашением Пиночета к мятежу. Не приукрашивает ли генерал свое поведение? Уж слишком хрестоматийно прозвучал его ответ. Возможен ведь и такой вариант: предложение возглавить мятеж показалось генералу привлекательным, но, поразмыслив, проведя бессонную ночь, он счел за благо доло-

жить о происшедшем начальству. Склонности к высокому стилю Альенде раньше за Пиночетом не замечал. Пиночет был немногословен, угрюмоват, питал пристрастие к письменным распоряжениям и инструкциям и, получив бумагу, действовал в строгом соответствии с тем, что там написано. Однажды (это было после инцидента в Ранкагуа, где жены шахтеров заняли радиостанцию, и Пиночет, посланный разбираться в случившемся, по телефону потребовал от президента письменных инструкций) Альенде сердито и в то же время как бы в шутку спросил: «Послушайте, генерал, откуда у вас, человека военного, такая склонность к бюрократизму?» «Президент, я знаю только то, чему меня учили, — с достоинством ответил Пиночет. — Меня учили, что вооруженные силы должны подчиняться гражданской власти. Поскольку у гражданской власти в ходу директивы и циркуляры, я и настаиваю на письменных распоряжениях. Военный приказ может быть устным, поскольку слово командира — закон для подчиненного. Но слово человека гражданского, простите за откровенность, имеет силу только на бумаге, со всеми необходимыми визами».

Был случай иного рода, когда Пиночет потребовал срочной аудиенции и явился в президентский кабинет с левацкой брошюрой.

— Вот такая литература, — брюзгливо сказал он, — распространяется среди люмпенов.

Альенде взял у него книгу, перелистал. Типичная мешанина из Мао, Троцкого, шумная ультрареволюционная трескотня.

— Да, и читал эту книгу, — сказал он и положил брошюру на стол, пододвинув ее ближе к Пиночету.

— Я тоже ее прочитал, — ответил, пожевав губами, Пиночет. Возможно, он ожидал, что президент будет что-то объяснять. — Здесь написаны ужасные вещи. Я считаю, что необходимо принять решительные меры.

— Какие, например? — вежливо поинтересовался Альенде.

— Конфисковать весь тираж и уничтожить, а издательство призвать к судебной ответственности. За призыв к разложению вооруженных сил.

— У нас свобода печати, — с улыбкой сказал Альенде. — Если мы начнем действовать таким образом, то каждое утро на площадях придется раскладывать гигантские кистры на конфискованных тиражей «Меркурио», «Терсерия», «Сегунды» и так далее. Это не в чилийских традициях.

Пиночет угрюмо молчал.

— У вас есть еще ко мне вопросы, генерал? — спросил Альенде.

— Сожалею, что понапрасну вас побеспокоил, президент, — ответил Пиночет.

— Ну, что вы, — любезно сказал Альенде. — Это прекрасно, что со своими заботами вы приходите ко мне. Так и должно быть. А посему — в любое время, милости прошу.

Пиночет взглянул на Альенде мутноватыми глазами обескураженного в своем звании служаки, пробормотал: «Благодарю, президент» — и, старчески сутулясь, пошел к дверям.

Собственно, эту старческую мешковатость, озабоченную покорность можно было, посмотрев предвзято, истолковать как наигрыш. Но предвзятость всегда была плохим советником.

— Генерал, вы забыли книгу, — напомнил Альенде.

Пиночет остановился.

— Прощу прощения, я думал... — проговорил он, беря со стола брошюру.

— Нет, нет, я ее читал, — ответил Альенде.

Так и осталось неясным, зачем он приходил. Брошюр такого толка, и ультралевых, и ультраправых, по Сантьяго

циркулировало неисчислимое множество! возможно, эта была первая, в которую он удосужился заглянуть.

Нет, пожалуй, такой человек должен был отвергнуть предложение нутчистов с негодованием. Профессионал, службист, вся карьера которого состоялась и близилась к завершению лишь благодаря четырем десятилетиям непрерывного конституционного процесса, Пипочет, по-видимому, озабочен был лишь выполнением воинского долга и условиях усилившегося брожения идей. Ошеломленный крикливым тоном левацкой брошюры, он поспешил за усиленным к гражданским властям. Может быть, не следовало обходиться с ним так сухо? Нужно было терпеливо объяснить генералу, что само появление подобных брошюр вызвано ожесточенным сопротивлением кучки олигархов, не желающих смириться с утратой части своих привилегий... напомнить ему, что еще Александри-отец, один из прежних президентов, человек, весьма далекий от марксизма, называл этих людей «позолоченными негодьями» (что не помешало ему позднее склонить перед олигархией свою львиную голову)... растолковать, что именно олигархия, а не только она, является истинным врагом конституции, врагом нации, жизненно заинтересованным в нестабильности... жестко поставить перед генералом вопрос: кому на руку усиление хаоса, экономические диверсии, уличные беспорядки — сторонникам или противникам конституции?

— Значит, вы считаете, — медленно проговорил Альянде, — что Пипочет был бы вашим надежным преемником? Я вас правильно понял, Карлос?

Пратс кивнул и, морщась, потер виски.

Альянде взглянул на него и поднялся.

— Вам надо отдохнуть, — сказал он. — И если к завтрашнему утру ваше решение не переменится — что ж, я доверюсь вашему опыту и чувству реальности и приму у вас отставку. Но, поверьте, я сделаю это с глубоким сожалением.



Он уезжал из этого дома больным. Вот горький финал человеческой судьбы, говорил он себе. Доводов, что все, перенесенное этим человеком, было неизбежно и оправдано, можно привести сколько угодно. Но что значат эти высуженные, подобранные оправдания по сравнению с живой человеческой скорбью...

21

В пятницу двадцать четвертого утром Сесару позволил отец.

— Послушай, как хорошо, что ты дома, — торопливо заговорил он. — На улицах творится нечто невообразимое: барывы, пожары, стрельба!

— Ты что же, беспокоишься за мою личную безопасность? — спросил Сесар, но отец не слышал его.

— Вот оно, отторжение! — возбужденно говорил он. — Вся молодежь, гордость нации, вышла на улицы! Нация не приемлет чужеродную концепцию и возмущенно ее отвергает. Искусственное подавление иммунитета не помогло доктору Альенде: у него единственный выход — прекратить трансплантацию и перейти к терапии.

— Ты репетируешь свою сегодняшнюю тронную речь? — поинтересовался Сесар.

— Откуда ты знаешь, что я сегодня выступаю? — радостно изумленный, воскликнул дон Херардо. — Да, это будет событие. Как тебе нравится термин «ректификация»? Не правда ли, серьезно звучит?

— Это что-то связанное с химией? — вежливо поинтересовался Сесар.

— При чем тут химия? — возмущился дон Херардо. — Речь идет о политике. «Ректификация» — это исправление политической линии. Вот чего мы требуем от Альенде.

— А я-то думал, вы спите и видите, как он уходит в отставку.

— Или — или! — торжествующе воскликнул дон Херардо. — Или режим подвергается тщательной ректификации, или народ заставит сеньора Альенде уйти. Заметь, что мы ничего от него не требуем...

— Позволь, ты только что сказал, что вы требуете ректификации.

— Этого требует народ! — высокопарно и сердито сказал дон Херардо. — Впрочем, я не стану разъяснять тебе азбучные истины, которые ныне известны каждому подростку. Сиди в своей башне из слоновой кости. И извини, мне некогда. Так что ты мне хотел сказать?

— Прости, папа, — проговорил Сесар, — но это ты мне позволял.

— Я? — удивился дон Херардо. — Ах, да. Понимаешь ли, друг мой, на улицах творится нечто невообразимое...

— Ты это уже говорил.

— Не перебивай отца, невоспитанный сын. На улицах творится нечто невообразимое, а Габи — ты представляешь, эта упрямца, если она чего-нибудь захочет... Габи заявляет, что ей совершенно необходимо поехать в город. Ну, разумеется, я проявил отцовскую власть...

Сесар слушал, улыбаясь. Крошка Габи вертела отцом, как ей хотелось, и ни для какой отцовской власти в их отношениях не было места.

— ...и отказал ей наотрез. В конце концов, это опасно. Но она уверяет, что у нее совершенно несложные дела. Я представляю себе эти дела: кофе с сигаретой где-нибудь в «Голубой змейке», чтобы как можно больше мужчин сидели ее колени. Она убеждена, что нули будут облетать со стороны. Не мог бы ты отвезти ее, куда ей приспичило? Одну ее я отпустить не могу. Вот видишь... — отец запахтел, — вырывает трубку.

— Сесар! — крикнула, сердито смеясь, Габриэла. — Сесар, не слушай его, сиди дома, я обойдусь без тебя.

— Так ехать мне или не ехать? — спросил Сесар.

— Ну, разумеется, приезжай,— голосом отца пробубнила трубка.

Сесар со вздохом прошел в студию, поправил пальцем свойкий мазок на этюде (и погода, как назло, самая рабочая, света хоть отбавляй, небо облачное, но высокое) и, вымыв руки, стал одеваться. При этом он поглядывал за окно: ни дыма пожарищ, ни митущихся толп не было видно. Может быть, где-нибудь и стреляли, но здесь, возле Маночо, было тихо, как в деревне.

Когда Сесар хотел уже выходить, в дверях он столкнулся с соседом, полковником в отставке, ответственным за оборону квартала. Этаким сморщенный старичок с остреньким носиком и рыскающим взглядом.

— Я вам звонил все утро,— заявил он, заглядывая в переднюю.— Но вы, наверно, не подходили к телефону. Сегодня в двенадцать общий сбор, намечены оперативные маневры отряда самообороны.

— В детские игры я не играю,— отрезал Сесар, закрыв за собою дверь и вытесняя полковника на лестницу.— Для обороны квартала у нас есть армия и полиция.

Глаза старичка вспыхнули желтой злобой, но он сдержался.

— Хорошо,— проговорил он, пятясь.— Если сюда ворвутся банды миристов и социалистов, мы постараемся справиться с ними и без вас. Но вот когда все кончится...

Он не договорил, потому что оказался на ступеньке и вынужден был заняться спуском. Но в конце лестничного марша обернулся и крикнул:

— Когда все кончится, мы спросим с вас, и спросим очень строго: кто это ездит к вам на «фольксвагене» с красным флажком?

Сесар пожал плечами и, достав из кармана ключ от машины, начал спускаться. По дороге он думал: разве Каролина приезжала к нему на машине с красным флажком? Глупости мелет старик, выжил из ума совершенно.

Габриэла с нетерпением ждала его возле калитки отцовского «бангало».

— А побыстрее ты не мог? — недовольно сказала она, усаживаясь. — Это все причуды отца. Если бы мне нужно было защита, за мной приехали бы джипы с боевиками.

— Напрасно ты путаешься с этим отребьем, — сказала Сесар. — Вмешается армия — от твоих боевиков только сабли останутся.

— Что ты понимаешь, мазилка! — сказала Габриэла. — Да если хочешь знать, город уже в их руках. Все шоссе перекрыто, железнодорожные пути взорваны. У твоего Альенде осталось всего восемьсот тонн зерна, по триста граммов на человека. Стоит тряхнуть посильнее — и группа па траве.

— Тебе-то что с этого?

— Мне? — Габриэла мечтательно прищурилась. — Когда я стану первой дамой страны...

— Долгий же ты выбрала путь. Можно было просто выйти замуж за перспективного политика и толкать его в президенты.

— За политика? — Габриэла сморщила нос. — Да они же все старые. И потом, на это потребуется лет десять, не меньше. А через десять лет этот политик совсем одряхлеет, да и мне уже будет все безразлично. Нет, милый мой, прежняя система омертвела. Она породила такое противоречие, как Альенде, и сама положила себе конец. Нужны молодые, сильные, смелые лидеры...

— Как твой Рикардо?

— Не надо говорить о тех, кого не знаешь. Рикардо — великий человек, его знают во всех трех Америках, сам Киссинджер ему говорил: «Дик, ты великий человек».

— Об этом ты, разумеется, знаешь от самого Киссинджера?

— Я не хочу больше с тобой говорить, — холодно сказала Габи и отвернулась.

На улице Артуро Прата, рядом со стройкой метро, был датор. Улицу пересекала колонна «Добровольцев родины». Впереди, пятясь, дирижировал руками лохматый коренастый активист, и добровольцы нестройно кричали:

— Процесс — перемен — необратим! Процесс — перемен...

Из передних машин раздавались нетерпеливые, раздраженные выкрики, задние палеребой сигналили. Обстановка была довольно первая.

Внезапно со всех сторон, как сарапча, высыпали на мостовую ющцы в черных свитерах и мотоциклетных шлемах: должно быть, они поджидали здесь добровольцев, спрятавшихся за забором стройки. В воздухе замелькали железные палки и цепи. Прикрывая головы руками, добровольцы заметались по мостовой под крики и злорадные гудки автомобилей, сходящихся на перекрестке.

Мимо машины пробежал паренек в менюватой снечовке, он схватился рукой за стекло, оставив на нем кровавый след. Оцепенев от омерзения, Сесар смотрел прямо перед собой, а Габриэла с царственным видом наблюдала за проходящим.

— Хорошо работают мальчики, — промолвила она.

В пять минут колонна добровольцев была рассеяна, но опьяненные легким успехом матусовцы продолжали буйствовать. Они высадили пассажиров из одной машины — видимо, служащих какой-то государственной корпорации. Минута — и ликап был охвачен реющим дымным пламенем. Несколько палетчиков с торжествующими воплями повалили на мостовую щитовой забор, за ним, сверкая желтой и красной краской, стоял новенький мощный «катерпиллер». Теперь целью матусовцев стало свалить машину в котлован. Завязшие в красноватой земле колеса «катерпиллера» качнулись, и трактор медленно пополз к обрыву.

Вдруг хлопнула автомобильная дверца, и Сесар, резко

повернувшись, как будто его толкнули, увидел Каролину. Она бросилась к котловану и встала на его краю, раскинув руки.

— Прекратите! — закричала Каролина. — Негодяи, подонки, что вы делаете?

Среди толкавших трактор боевиков произошло замешательство. Двое подскочили к Каролине и взяли ее за руки, пытаясь оттащить от обрыва, она сопротивлялась.

— Послунай, — деловито сказала Габриэла, — они же не шутят, они ее скинут вниз!

Сиденье Сесара было пусто.

В два прыжка, свирепо выставив бороду, Сесар подскочил к боевикам, тащившим Каролину, схватил за шинорез одного, но в это время другой, отпустив девушку, изловчился и хлестнул его велосипедной цепью по голове. Сесар резко выпрямился и с недоумевающим лицом медленно повернулся. Матусовец хлестнул бы его еще раз, но Каролина, вскрикнув, повисла у него на руке. Минута — и оба они с вывернутыми за спину руками стояли в плотном кольце боевиков.

Главарь отряда, высокий красивый парень в накинутой на плечи поверх тонкого черного свитера джинсовой куртке, подошел, оглядел с пог до головы Сесара, оценивающе пощупал ладкан его замшевого, перепачканного мазутом пиджака, потом убрал прядь волос со лба Каролины. Сесар стоял, пошатываясь, как складной молиберт, Каролина, бурно дыша от ненависти, молча смотрела в лицо главаря.

— Откуда они взялись? — спросил главарь.

— Von из того «фолькса», с флажком, — ответил кто-то из его подчиненных.

По лицу Сесара потекла струйка крови, и взгляд его стал осмысленнее. Услышав последнее слово, он повернул голову: к лобовому стеклу «фольксвагена» действительно изнутри был приклеен маленький красный флажок. Трое

матусовцев усердно урождали машину, колотя по ней железными палками, а внутри, закрывши лицо от осколков стекла, сидел пожилой редакционный шофер — дядя Густаво.

— Привет, — посмотрев на Каролину, пробормотал Сесар. — Вот и увиделись наконец.

Каролина не успела ответить.

— Они спешили туда, — проговорил главарь, показывая на разверстый котлован. — Подсобите им, ребята.

Вдруг за их спинами взревел мощный мотор. Главарь посмотрел поверх толпы, и лицо его потемнело. В кабине «катерпиллера», неизвестно как туда пробравшись, сидел пушечный доброволец в грязной спецовке. Машина, дернувшись, взяла с места и покатила на толпу боевиков. По-видимому, парнишка впервые сидел за рулем такой мощной машины, и «катерпиллер» надсадно ревел и чадил. Матусовцы в панике брызнули в разные стороны, оставив Сесара и Каролину возле поваленного забора. Затрещали под колесами доски, и «катерпиллер», набирая скорость, покатил по улице Сан-Диего.

Сесар молча взглянул на Каролину и, схватив ее за руку, потащил к своей машине.

— Погоди... — пробормотала она, упираясь, — там же Густаво, надо ему помочь...

Редакционный «Фольксваген» нехотя горел, чуть поодаль стоял, удрученно на него глядя, дядюшка Густаво.

— И зачем я свернул на Артуро Прата? — пробормотал он, когда подошла Каролина. — Сроду по ней не ездил.

— Сам-то цел? — с беспокойством заглядывая ему в лицо, спросила Каролина.

— Что мне сделается, — отвечал Густаво. — Вот если бы в баке было побольше бензина, я бы и выскочить не успел...

Вдали, на Аламеде, завывли sireны карабинерских машин. Матусовцы исчезли, как будто их не было. Автомоби-

ли, запрудившие улицу Артуро Прата, стали поспешно разъезжаться.

— Ладно,— сказал Густаво,— я остаюсь, надо акт составлять... А ты уж как-нибудь сама добирайся...

Каролина посмотрела на Сесара и, не сказав ни слова, покорно пошла к его «тойоте».

Габриэла встретила их ироническими рукоплесканиями.

— Это было чудесно! — сказала она. — Прекрасный рыцарь вызволяет благородную даму из лап бандитов.

— Тебе куда? — спросил Сесар, медленно объезжая горящие на мостовой машины.

Каролина молча достала платок и начала стирать кровь, запекшуюся у Сесара на лбу и щеке.

— Понимаю,— насмешливо сказала Габи,— у меня тоже есть свои тайны. Будь добр, Сесар, высадь меня здесь.

— Отец приказал долезти тебя до места,— пробормотал Сесар.

— А это и есть мое место,— возразила Габи.— Вот там, в «дацуне», мои друзья.

Высупувшись из машины, она помахала кому-то рукой. Сесар притормозил.

— Чао, дорогие мои,— весело сказала Габи.— Салюд, амор и несетас. Здоровья вам, денег и любви!

И, выйдя из машины Сесара, она пересела в «дацун». За рулем роскошной машины, отвернувшись, сидел плотный мужчина в кепке, из-под которой торчали веснунчатые уши. Едва Габи успела захлопнуть дверцу, «дацун» сорвался с места и умчал в сторону Аламеды.

— Где-то я видела этого человека,— проговорила Каролина.

— Чили — маленькая страна,— отозвался Сесар.— Нет ничего удивительного. Так куда тебя отвезти?

— На Эррасуриса, к дому Прата. Я должна взять у него интервью.

— К дому Пратса? — переспросил Сесар. — А разве он...
я думал, он теперь перестал нас интересоваться.

Каролина резко повернулась к нему, и Сесар увидел, что глаза ее полны слез.

— Послушай, Сесар Ларин Ластарриа, — тихо сказала она. — Ты бросился меня выручать, и я подумала: боже, какое счастье, что мы снова вместе. Но мы не вместе, нет. Стоит тебе произнести хоть одно слово... Ты весь пропитан предубеждениями своего класса. Ну, скажи: какое тебе дело, интересуется нас этот человек или нет? Тебе-то самому на него наплевать, ведь правда? Так отчего же ты так убежден, что и нам наплевать? Тебе удобнее так думать? Тебе привычнее считать, что мы... это значит, и я тоже... что мы используем людей в своих интересах, пока они нам нужны, и бросаем их на произвол судьбы, когда они выжаты, как лимон, не так ли? Ты не можешь допустить даже мысли, что мы, возможно, добрее и человечнее, что нам действительно больно, когда больно другим? Эта мысль мешает тебе жить, правда? Задумайся над этим, Сесар, пожалуйста.

Сесар долго молчал.

— Ну, ладно, может быть, я и неправ, — сказал он наконец. — Прости, если это тебя обидело. И все-таки я склонен считать, что вы догматики и схоласты почище католиков. Стерильность догмы для вас святее всего.

— Откуда ты это знаешь? — устало проговорила Каролина.

— Да хотя бы из твоего отношения ко мне! Если бы ты действительно мучилась человеческой болью, разве у нас все было бы так?

— А как бы было?

— Ты видишь, что творится вокруг. Страна слишком долго жила добропорядочной жизнью. Чернь истосковалась по насилию. Ты видела, с каким азартом люди предаются вандализму? Какой мирный путь, какой процесс

перемен! Все это вам только мнится. Послушай, давай уедем отсюда! Уедем — и пусть все это катится ко всем чертям!

— Давай уедем, — как эхо, повторила Каролина, Сесар даже вадрогнул от неожиданности, и машина вильнула. — Давай уедем, хотя бы в Италию. Нам будет очень хорошо. Ты станешь расписывать на пляже белые платья тамошним красоткам в южноамериканском стиле, это доходное дело, а я — писать книгу под каким-нибудь красивым названием. «Чили — страна закатов», недурно? Со мной не пропадеешь. А мои братья и сестренки пусть катятся ко всем чертям. И могила моего отца пусть зарастает травой...

Голос ее осекся, она отвернулась к окну.

Сесар молчал, лицо его потемнело.

— Да, я похорошила отца в эти дни, ты разве не знала? — звонко заговорила Каролина. — Его убили, убили! Но пусть все это катится в тартарары, а мы с тобой будем любить друг друга как полоумные. И пусть травят Пратса, Альенде, пусть поливают грязью все, что есть лучшего в Чили, а мы с тобой будем любоваться друг другом, согласен?

— Прости, — проговорил Сесар, — прости меня, Пирусита...

— Так вот, запомни, — перебила его Каролина. — Я никогда не захочу этого, никогда!

22

На улицу Эррасуриса Каролина приехала вовремя: окруженная толпою любопытных и репортеров, возле дома бывшего командующего стояла группа людей. Почти все министры правительства Народного единства явились к Пратсу с визитом сочувствия. Прате принимал своих гостей уже в штатском. В коротком светлом пиджачке и тем-

ной рубашке, Пратс был совсем на себя не похож, он как бы осушелся и стал еще меньше ростом. Погода стояла прекрасная, по-весеннему теплая и солнечная, и гости прощались с хозяином на свежем воздухе, у подъезда, где всего три дня назад горели дымные костры и хлопьями летел черный пепел.

Нынешний министр обороны Орландо Летельер, горбоносый, лысоватый, с густыми усами и высоким черным лбом, держа руку Пратса в своей руке, говорил о великодушной выдержке дон Карлоса, о твердости его принципов и о том восхищении и уважении, которые питают к дону Карлосу все члены кабинета. Все это делалось, разумеется, уже для журналистов, но Летельер умел даже официальные слова произносить с искренним чувством и простотой.

Пратс держался скованно, улыбка его была похожа на гримасу. Пожимая руку каждому гостю, он механически повторял «благодарю, благодарю» и, кажется, не слушал, что ему говорят. Каролина представила себе, как он сейчас распрощается с высокими гостями, вернется в свой дом, наглухо закроет двери, и все останется позади — заслуги, почести, звание. Жестоко было бы мучить его сейчас вопросами... впрочем, такого задания от редакции у нее не было: она должна была записать, как он отвечает на вопросы репортеров других газет.

Последним с Пратсом прощался адмирал Монтеро. Высокий, сухоощавый, с морщинистым пасмурным лицом, он не сказал Пратсу ни слова, только обнял его и поклонал по спине. Отстранившись, Пратс взглянул на него сверху вверх с непередаваемым выражением «вот видишь, ну что же делать» и произнес свое неизменное «благодарю, благодарю». Каролине было известно, что адмирал подал в отставку еще в среду, и точно так же, как Пратс, со всех своих постов, но решение по этому вопросу еще не принято командованием.

Как только Монтеро отошел, все журналисты ринулись к Пратсу. Каролина была вовлечена в общий водоворот и, пустив слегка в ход свои локотки, оказалась достаточно близко, чтобы слышать каждое слово бывшего командующего. Но праздное любопытство влекло ее в самую репортерскую гущу, а профессиональная необходимость: нельзя было позволить этой своре перевернуть слова Пратса, и поэтому надо было, чтобы ее видели рядом.

Первым ринулся на штурм поверженной твердыни корреспондент «Меркурио». Впрочем, «ринулся» — не совсем точное слово: один из рьяных участников травли Пратса, он ничем не выдал своего ликования, и вопрос его прозвучал вежливо и даже изысканно:

— Сеньор Прате, имеют ли основание слухи о том, что на сегодняшнюю церемонию вступления на пост нового командующего сухопутными силами вам не было послано официальное приглашение? Если же эти слухи безосновательны, не могли бы вы объяснить читателям нашей газеты причины вашего отсутствия?

Каролина с беспокойством посмотрела на Пратса — и поразилась происшедшей в нем перемене: строгое волевое лицо, холодный с прищуром взгляд (как бы из-под козырька, хотя Прате стоял с непокрытой головой и его редкие волосы шевелились на легком ветру) — видимо, военная закалка помогла ему собрать свою волю.

— Общеизвестно, — неторопливо заговорил Прате, — что все перемещения в вооруженных силах Чили происходят по выслуге лет и в строгом соответствии со списком. Поэтому переход должности главнокомандующего к генералу Пиночету произошел автоматически, и церемония, о которой вы говорили, является чисто формальной. Никаких официальных приглашений на эту внутреннюю церемонию министерство обороны, насколько мне известно, никогда не рассылало. Как частное лицо, я счел свое присутствие сегодня утром в министерстве обороны обязатель-

ним и в это первое свободное за сорок лет утро занялся личными делами, которые, можете мне поверить, пришли и некоторый беспорядок.

По толпе репортеров пролетел легкий вежливый смешок, и Каролина увидела, как корреспондент «Прессы», положив блокнот на спину впереди стоящего, написал: «Сохранит спокойствие и хорошее настроение». Фраза была не такой уж блестящей находкой, чтобы ее срочно записывать, но кто, в конце концов, утверждает, что в редакции «Прессы» работают только даровитые люди?

— Каково ваше мнение, сеньор Пратс, — высунулся вперед человек из «Сегунды», — по поводу вчерашних передвижений войск в районе Сан-Фелипе, Вальпарансо, а также в Кильоте? Не связаны ли эти передвижения с маневрами боливийских войск на границе?

Подоплека этого вопроса была ясна. Организаторы сержения Пратса, по-видимому, не все еще выжили из факта его отставки. Им нужно было представить дело так, что кабинет, в который входил Пратс, ослабил усилия по охране северной границы. Вопрос-ловушка: утвердительный ответ («да, связаны») будет представлен как признание вины («Пратс вынужден признать, что политическая высшего военного руководства страны возбудила у боливийцев надежды на возвращение выхода к морю»), отрицательный же в трактовке «Сегунды» станет выглядеть как «упорное непризнание очевидности». Отставной генерал имел право уклоняться от ответа, но тогда «Сегунда» торжествующе зашумит: «Пратсу есть что скрывать, сограждане!»

— Вопрос о передислокации частей, — отвечал дон Карлос, — вам следует адресовать новому главному генералу Пиночету. Как частное лицо могу вам только сообщить, что сегодня по радио я слышал заявление командующего о том, что ни одно соединение не покидало своих позиций. Что же касается маневров боливийских войск,

то я убежден, что там, на севере, известно: вооруженные силы Чили способны эффективно пресечь любое посягательство на нашу национальную территорию. Как гражданин рекомендую читателям вашей газеты больше доверять вооруженным силам и меньше — распространителям всяческих слухов.

— Сеньор Пратс, — льстиво начал корреспондент «Пренсы», — в эти дни вы получили множество писем и телеграмм с выражением сожаления по поводу вашей отставки. Какое письмо и от кого, если не секрет, запомнилось вам больше всего?

Право же, можно было только поражаться изменению тона газетчиков: совсем недавно Пратсу задавались такие острые, такие провокационные вопросы, нередко в оскорбительной форме, рассчитанные на то, чтобы вывести его из равновесия, — теперь же тон и форма вопросов были чуть ли не благостными, умиротворенными. Даже слова «выражение сочувствия», которые могли как-то задеть экс-министра, были заменены деликатным «выражение сожаления».

— Я был очень тронут телеграммой, поступившей от сеньора Томича, — ответил Пратс, — тронут настолько, что запомнил ее слово в слово. «Как в трагедиях греческого театра, — пишет мне дон Радомиро, — все знают, что может случиться, все желают, чтобы этого не случилось, но каждый делает в точности то, что необходимо, чтобы произошло несчастье, которого он намеревался избежать». Я даже не подозревал, — Пратс бледно улыбнулся, — что форма телеграммы позволяет высказываться столь изящно. Мне очень польстило сравнение важного, не скрою, события в моей жизни с классической трагедией, но полагаю, что дон Радомиро смотрит на вещи излишне пессимистично.

— Излишне пессимистично? — быстро переспросил корреспондент «Трибуны». — Не могли бы вы сказать об этом подробнее?

— Я не собираюсь делать никаких политических заявлений, — ответил Пратс.

— Каковы ваши дальнейшие планы? — спросил репортер из «Терсеры».

Пратс помедлил, лицо его вновь стало тусклым.

— Сорок лет, — сказал он, — я занимался тем единственным делом, которому учился. Теперь я ушел — это высшая услуга, которую я мог оказать родине. Мне остается надеяться, что я окажусь достаточно подготовлен к частной жизни.

«Ну, хватит же, хватит! Довольно!» — захотелось крикнуть Каролине. Но коллеги не унимались.

— Означает ли это, что вы останетесь беспристрастным наблюдателем, что бы ни произошло в Чили? — вновь спросил корреспондент «Трибуны».

— Единственное, что я могу сказать по этому поводу, — ответил Пратс, — это то, что я был и остаюсь гражданином Республики Чили.

Он посмотрел на часы.

— Мы очень вам благодарны, сеньор Пратс, — сказал корреспондент «Меркурио». — Беседа с вами была чрезвычайно поучительной, и мы не жалеем, что ждали вас здесь около часа. Кстати, не могли бы вы сказать, почему визит сеньоров министров продолжался столько времени?

Пратс усмехнулся.

— Потому что мы не молчали, — ответил он. — До свидания, господа.

И, повернувшись, зашагал к дому.

23

В спокойное время из Сантьяго в Вальпараисо каждые пятнадцать минут ходили маршрутные такси. Но сейчас таксисты бастовали, шоссе́йные дороги были перекрыты баррикадами, и добраться до Вальпараисо можно было

только поездом. Месяц назад в одном из двух туннелей на этой линии произошел взрыв, но теперь завал разобрали, и поезда от столицы до Вальпараисо ходили, хотя и не так регулярно, как раньше.

Родольфо и Виктор Бала Эскобидо ехали в Вальпараисо с поручением от команданте Раули. В Первой военно-морской зоне назревали события, и надо было выйти на связь с людьми Карденаса. Сержант морской пехоты Карденас с группой нижних чинов ВМФ готовил крупную вооруженную акцию, которая должна была вызвать в зоне восстание моряков и смещение реакционного флотского командования. Но морякам было нужно, чтобы их поддержали в Сантьяго; овладеть зоной они рассчитывали своими силами, а на «друзей в столице» ложилась задача каким-то образом не допустить переброски в Вальпараисо войск — хотя бы в течение первых нескольких дней, пока положение в зоне не стабилизируется. Можно было предположить, что перемены внутри Первой военно-морской зоны вызовут цепную реакцию не только во флоте, но и в авиации, и в пехоте, что приведет к общему полевению вооруженных сил.

— МИР — единственная организация, — наставлял их перед отъездом команданте Рауль, — которая всерьез, а не на словах борется за вооруженные силы. Мы не настолько наивны, чтобы полагать, что спасение революции придет от четырехзвездных генералов. Армия — естественный враг революции, и, чтобы привлечь ее на свою сторону, необходимо начинать не с верхов, а с низов. Почему мы выбрали именно флот? Да потому, что моряки, я имею в виду рядовых моряков и унтер-офицеров, это те же рабочие, одетые в флотскую униформу и обученные обращению со сложнейшими машинными, более напоминающими плавучие фабрики и заводы и требующими коллективного слаженного обслуживания. Иными словами, моряки и на воинской службе сохраняют все преимуще-

щества рабочего класса: грамотность, сознательность, коллективизм. Мы выбрали флот еще и потому, что каждый военный корабль представляет собой автономную боевую единицу, способную выполнять самостоятельные задачи. Почему мы выбрали именно Первую зону? Не потому, что оттуда к нам пришел сержант Карденас. Само его появление в рядах морской пехоты было подготовлено нашей предшествующей работой. Ячейки на крейсере «Адмирал Латорре» и тральщике «Бланко Энкалада» были разгромлены, сотни наших людей замучены палачами адмирала Мерино, но кровавый разгул флотской инквизиции вызвал ответную реакцию: моряки психологически подготовлены к неповиновению офицерству, в сознании своем они уже с нами, с передовыми рабочими страны. Разумеется, мы призовем всех честных офицеров присоединиться к нам, но думаю, что этот призыв не пойдет отклика в противной офицерской среде. Зажигая бикфордов шнур в Вальпараисо, мы руководствуемся продуманным планом: во-первых, реакция не ожидает, что сдвиг вооруженных сил влево начнется именно здесь, молчаливо полагают, что наши силы здесь разгромлены. Кроме того, мы используем проверенную тактику реакции: вам известно, что зона Вальпараисо является традиционной базой военных митингов — в силу близости ее к столице и в то же время относительной автономности. На сей раз в Вальпараисо запылала красная зора завтрашнего дня Чили. Надеюсь, вам понятно все, что я говорю?

Баба Эскокондида кивнул. Когда команданте говорил, все становилось на свои места. Неясными оставались лишь несколько мелочей. Команданте Рауль много говорил о том, что им оказана великая честь — установить связи между вооруженными силами и рабочим классом. Но где рабочий класс? Родольфо этого не понимал. Сам он был безработным, лицом без определенных занятий, Баба Эскокондида — бывший студент, команданте Рауль, разговари-

вали, вышел из аристократической семьи, его отец владел большими поместьями на юге, а помещик Коирад, которого команданте рекомендовал как представителя международного рабочего класса, преподавал философию в университетах Старого Света. Да, собственно говоря, во всей кальямне Роса Бланка не отыскать было ни одного фабричного рабочего: здесь жили безработные, переселенцы из сельских местностей, эмигранты. Суровое название «индустриальный кордон» плохо вязалось с этим поселком. Но, может быть, так принято говорить? Во всяком случае, Раули он не рискнул бы спрашивать. А Виктор давал на этот вопрос самые путанные и разноречивые ответы, как будто он был не одним человеком, а целую толпою не согласных друг с другом людей. То Бала утверждал, что они с ним и есть самые настоящие пролетарии («по логике системы, которая нас обездолила»), то начинал туманно рассуждать о том, что рабочий класс слишком сработался с буржуазией, и его еще надо за уши оттащить от капиталистической кормушки; то заявлял, что пролетариат только тогда становится гегемоном, когда пройдет выучку у профессиональных революционеров, а питательной средой для профессиональных революционеров является именно «маргинальное население», а что такое «маргинальное» — Родольфо не знал, и вопрос запутывался окончательно.

Неясно было и другое: почему для выполнения столь ответственного задания команданте выбрал именно его, Родольфо, неотесанного и ничем себя не зарекомендовавшего повобрацца. То, что в Вальпараисо на свидание с Карденасом ехал Бала Эскондидо, было попятно: для команданте это был свой человек с изрядным революционным опытом. Может быть, Бала оказал ему протекцию по старой дружбе? Но сам он это решительно отрицал. Впрочем, все эти сомнения копошились где-то в глубине сознания Родольфо, в виски же ему отчетливо стучало одно: по

подвести, оправдать доверие, сделать все, что приказывает команданте, иначе — лучше не жить.

Они сидели в темном бараке «командо коммуналь», освещаемом лишь отблесками раскаленного угля в жаровне на полу, над которой время от времени взлетали легкие язычки пламени. Команданте Рауль — за столиком у окошка, затянутого хлорвиниловой пленкой, Виктор и Родольфо — на нарах. У выхода караульный негромко насвистывал мелодию «Скажи мне, гитара, отчего эта ночь так длинна?». На стенах беззвучно громыхали самодельные транспаранты: «Только революционеры совершат революцию!» и «Вива герилья!» («Да здравствует партизанская война!»)

— Люди Кардепаса, — помолчав, продолжал команданте, — делают великое историческое дело. От них зависит вся судьба революции. И если все пройдет, как задумано, посмотрим, кто без кого обойдется: мы без Альенде или Альенде без нас.

...Поезд медленно тянулся под серым небом. По обе стороны — желтые откосы гор, у их подножия — селения, поля, ряды тополей на межах, крохотные фермы между холмами, возле которых на сочной траве паслись рыжие коровы.

А близость океана неуловимо чувствовалась на холмах, поросших сосною и кустами шиповника. В долинах лежала глухая, застаивающаяся сырость, кусты ивняка были подернуты серебристой изморосью. Поезд медленно поворачивал свой пегий бок к напористому океанскому ветру, и вот между холмами раскрылся провал, полный хмурой, тяжело-серой воды. Ближе к берегу океан пенился и рокотал, вдалеке на его темной поверхности лежал бронзовый отблеск неба. Нижняя горизоннта была прочерчена резко, казалось — протяни руку, и ее можно будет потрогать пальцем, как холодное лезвие остро отточенного ножа.

Холмы расступились и стали пятиться, освобождая место тяжелому телу океана. Поезд побежал почти по краю воды, желтоватые гребни серо-коричневых волн плескались чуть ли не под колесами вагона. Толчок, еще толчок — и, точно сухогрузная баржа, поезд остановился у причала. Стаи грязных лодок сблизилась на берегу, вдалеке на рейде неподвижно стояли синевато-серые военные корабли.

Родольфо впервые в жизни был в Вальпараисо. По рассказам отца, этот город представлялся ему большой пестрой ярмаркой, где людно, крикливо, весело и странно. И Вальпараисо оправдал его ожидания. После угрюмого, пустынного Сантьяго порт казался переизмененным оживленной толпой. Здесь рынок вышел на улицы: разносчики с корзинами кричали на все голоса, возле лоточников толпились подростки, матросы большими группами расхаживали по переулкам, разыскивая какие-то таинственные места, известные только им. Магазины, правда, были закрыты, но бары и таверны полны людей. От гавани улицы шли вверх, по обе их стороны теснились прилепленные к склонам холмов и подножиям скал домишки, раскрашенные в желтый, зеленый и красный цвета, так что пестроты под темными облаками было достаточно. Это был как бы Сантьяго наизнанку: внизу, у пляжей на берегу океана, аристократические районы, особняки в колониальном стиле, а наверху, на холмах и до самых гор, — рабочие кварталы, поблассонес и кальямпы. Все это нагромождение дворцов, скал и дачуг обильно промывалось океанским бризом. И еще одна бросающаяся в глаза черта: не смиренные вежливые карабинеры, а патрули военно-морской жандармерии с боевым оружием прохаживались то здесь, то там, по-хозяйски оглядывая людскую толпу.

Родольфо и Виктор поднялись повыше над городом, прошли по переулку, обрывавшемуся прямо в океан (на-

стоящая ловушка для подвыпивших матросов) и остановилась. Отсюда было видно и рейд, и пиратский пляж, и россыпи домиков на скалах, и проспекты внизу.

— «Вальпарайсо, несудальный нес,— торжественно прозвнес Виктор.— Он лает на холмах, его пинают океан и горы. А он — наипортовый порт — не в силах улизнуть в простор своей судьбы и воеет, как зимний поезд, на одиночество, на океан».

— Что это? — спросил Родольфо, удивленный необычным сочетанием слов.

— Это, брат, настоящие стихи,— снисходительно ответил Бала Эскобиды.— Пабло Неруда.

— Он, кажется, коммунист? — сказал Родольфо.

— Ну так что же? — возразил Бала.— Это, как ни страшно, не мешает ему быть поэтом.

— Ты много знаешь,— завистливо проговорил Родольфо. Ему хотелось спросить, как сказано в стихах дальше, но он стеснялся.

— Да, знаю кое-что,— согласился Бала.— А ты думал, я только валялся с комиксом в руках на лужайках Консепсьона?

...Встреча с людьми Карденаса была назначена на станции фуникулера, откуда можно было спуститься вниз на равнинную часть города. Родольфо и Виктор сходили на это место, бегом осмотрели его. Это была площадка с билетной кассой и парой скамеек для ожидающих. Родольфо думал, что здесь они и останутся, но Виктор потащил его на фуникулер. Они спустились вниз, потолкались в толпе на проспекте Аргентины. Потом добрались до гавани, перекусили в таверне (Виктор заказал бутылку белого вина и выпил ее один, Родольфо отказался — он никогда не пробовал вина), прошли пешком по подъему на Сан-Хуан-де-Диос, попетляли по узким улочкам и переулкам и оказались на том же обрыве, откуда два часа назад любовались городом.

Небо стало ярким, косые лучи солнца выбивались из прогалин между темными облаками и упирались в свивцовую твердь океана, образуя порталы, арки и галереи, ведущие в ослепительно желтую даль.

— Город солнца,— проговорил разгоряченный вином Бала Эскондида.— О, боже, как много я потерял времени, оттого что кие в зеленой луже Консепсьона! Теперь я знаю, что меня всегда тянуло сюда.

Он указал рукой на тяжело застывшие в золотых водах корабли.

— Смотри! Это «Латорре», это «Майно», левее — видишь черточка: подводная лодка «Симпсон». Плавающие республики, острова власти. При такой географии, как в Чили, это все, что нужно революционеру. Броненосец «Потемкин»... слышал о таком?

— Фильм смотрел,— с гордостью сказал Родольфо,— в советском культурном центре.

— Ну, так вот. Броненосец «Потемкин» не мог со своими орудийными башнями проплыть вдоль всей России, а крейсер «Латорре» — может! Какая трата времени! Что стоит вся наша беготня по городским переулкам, когда вот она — свобода и сила! Лишь поведи дулами — и все портовые города посыплются к нашим ногам.

— Какие-то пиратские замашки,— недовольно сказал Родольфо.

— Ну, нет. Я не анархист,— возразил Бала.— Я — убежденный социалист левого толка и личной свободы вне рамок общей борьбы не ищу.

Вдруг Виктор замолчал и, подойдя к самому краю обрыва, стал пристально разглядывать площадку станции фуникулера, на которую им предстояло сойти.

— Не нравится мне это место,— пробормотал он.— Настоящая мышеловка. Если перекрыть воп ту асфальтированную дорожку — куда хочешь девайся, кругом обрыв, хоть вниз головой. Давай-ка подождем здесь. Отту-

да нас не видно, а сбегать вниз — вот по той тропилке — можно за пять минут.

— Смотри, черноберетки, — сказал, хватая его за локоть, Родольфо. — Надо спускаться, это они!

— Кто «они»? — одернул его Бала Эскондида. — Люди Карденаса? Нет, Фито, это военный патруль. Сомнительно, чтобы Карденас послал на связь вооруженных людей.

И в самом деле, сверху было отчетливо видно, как группа морских пехотинцев в черных беретах, приближавшаяся к площадке, вдруг перестроилась рассыпным строем и, держа карабины наизготове, перерезала дорожку, ведущую к станции.

— Все, друг Родольфо, — сказал Виктор, посмотрев на часы. — Мышеловка захлопнулась. Оттуда уже никому не уйти.

Они подождали еще немного, время от времени осторожно заглядывая вниз. На скамейках станции ожидали фуникулер всего несколько человек: многодетное семейство, две торговки с корзинами и молодой человек, по виду студент, со связкой книг в руке.

— Наверно, это он, — взволнованно прошептал Родольфо, — тот парень с книгами.

Но в это время начальник патруля вышел на площадку, бегло оглядел ожидающих и подошел к молодому человеку. Тот отрицательно покачал головой. Офицер топтался на месте, потом обернулся и, задрав голову, принялся разглядывать нависший над площадкой обрыв.

Виктор и Родольфо отпрянули.

— Надо уносить ноги, — хрипло проговорил Бала. — Помни: если попадешься им в лапы, они тебя изуродуют. Иди меня возле гавани, на нижней площадке... Впрочем, нет, туда нельзя, если они не дураки... Ступай на улицу Баррос Луко, спросишь у кого-нибудь по дороге, где лицей. Возле лицея иди, делай вид, что ищешь свою дев-

чонку... Если до темноты меня не будет, пробирайся на станцию Барон и постарайся отсюда выбраться, хотя бы в Винья-дель-Мар. Понял?

— А ты? — спросил Родольфо.

— Делай что сказано.

И они разошлись.

...Возле желского лица Родольфо провел самый отвратительный час в своей жизни. Многие лиценстки весьма охотно стреляли в него глазками, но его лихорадочный взгляд и встревоженный вид отпугивали девушек. Дело копчилось тем, что к нему привязались двое парней в форме матусовцев, которые, видимо, ждали своих подруг, и начали выяснять, кто он такой и что здесь делает. В другое время Родольфо охотно завязал бы разговор с этими ублюдками и поучил бы их, как обходиться без дубинок и цепей, пользуясь голыми руками, но сегодня и здесь он не имел права на столь невинное развлечение. Накопец матусовцы падали ему тычков под ребра и, разочарованные его пассивностью, отпустили с миром. До наступления темноты Родольфо пришлось прятаться за углом, где, наткнувшись на него, лиценстки с визгом бросались наутек. Таким образом, все обошлось благополучно, если не считать того, что счет личных претензий Родольфо к «антипатриа» существенно возрос.

Между тем в городе поднялась суета: по улицам один за другим, бешено визжа тормозами, проносились джипы военно-морской жандармерии, где-то вдалеке слышались свистки и, похоже, выстрелы. Будь на месте Родольфо человек робкого десятка, он вообразил бы, что весь переполох затеяли ради поимки его одного, и впал бы в панику. Но Родольфо решил, что будет дожидаться здесь Виктора до последней минуты, пока его свободе не будет угрожать непосредственная опасность. Где-то в районе Широкого пляжа были сирены. Улица Баррос Луко опустела, только редкие прохожие, встревоженно переговариваясь,

свешли по домам. Из их отрывочных реплик Родольфо понял, что по радио объявлено о чем-то чрезвычайном. Надо было уходить отсюда, но спросить, как добраться до станции Барон, было не у кого. Когда уже совсем стемнело, Родольфо услышал знакомую с припаркиванием походку и, обернувшись, с радостью бросился к Виктору.

— Где ты пропадал? — чуть не крикнул он, однако Виктор, приволакивая ногу, прошел мимо него, глухо бросив на ходу:

— Иди в десяти шагах, не теряй меня из виду.

Они долго поднимались в гору, пока у Родольфо начали подкашиваться, несколько раз Виктор совершал такие крутые повороты, что пропадал в темноте, и Родольфо догонял его по звуку шагов. Обернувшись в сторону рейда, Родольфо увидел, что на кораблях мечутся огни.

Внезапно Виктор остановился. Он стоял в глухом переулке, упиравшемся, насколько можно судить в темноте, в высокую, почти отвесную скалу.

— Идиот, — прошипел Виктор, — ты почему там торчал? Вышел бы еще на площадь Народа! Я тебе что говорил? Куда ты должен был пробираться?

— К станции Барон, — пробормотал Родольфо. — Но, послушай, Бала...

— Все пропало, — перебил его Виктор. — Моряки захватили радиостанцию, их блокировали, все арестованы, тридцать человек, в городе облавы, а ты торчишь на углу, как фонарный столб...

— А связной?

— Какой к черту связной! Не было никакого связного. На вокзалах — жандармы, ищут нас. Расклеены объявления: «Разыскиваются марксистские агенты, функционеры МИР»... это мы с тобой, и указаны наши точные приметы.

— Но откуда... Нас же никто не видел!

— То-то и оно, — проговорил Виктор. — Ладно, придется залечь. Есть у меня два адреса... Но чутье воина подсказывает, что туда не надо идти.

24

В среду двадцать девятого августа Альенде приехал в Ла Монеду около десяти: на одиннадцать была назначена аудиенция адмиралам, которые настойчиво добивались личной встречи с президентом со вчерашнего дня.

Утро выдалось пасмурное, туманное и теплое. Темно-красные шторы президентского кабинета были раздвинуты, за окном искрилось темно-серое, пропитанное сыростью небо ранней чилийской весны. В приоткрытую балконную дверь залетал ветерок с горьковатым яблоневым ароматом. А может быть, это только чудилось: по дороге во дворец Альенде заметил, что кое-где на яблонях пабухают белые и розовые бутоны.

Площадь под окном была сухая и светлая, много светлее, чем небо, и оттого казалась особенно просторной и пустынной. Альенде сел за стол, перелистал утренние газеты. Под грозной шапкой на страницах «Сегунды», «Терсеры», «Меркурио», «Препсы» и, разумеется, «Трибуны» — заявление Национальной партии:

«Сеньор Альенде! Вы остались в одиночестве. Вас поддерживают только две марксистские партии, составляющие решительное меньшинство в стране.

Сеньор Альенде! Вы утверждали, что кабинет «национальной безопасности» с участием Пратса, Монтеро и Сопульведы — ваша последняя возможность. Она у вас была.

Так уходите же в отставку — и мы вам от всей души посочувствуем. Так должен поступать президент любой демократической страны, если его не хочет НАРОД».

Вдохнув, Альенде отложил газеты. Побочный эффект плюрализма: каждый, кто только не ленив, может печатать

в своих газетах слово «народ» буквами какой угодно величины. Всякому кажется, что именно он и представляет народ — с самой что ни на есть большой буквы. Почтучие лгуны, притаившиеся в подворотнях близ дома Артуро Арайи, выпившие до последней капли светлую яровь Человека, были убеждены, что они-то и есть народ. Идбаловавшие дамочки, ношлями своими терзавшие сердце Карлоса Пратса, точно так же были убеждены, что они представляют народ. Наглые камьшечерос, жуликоватые медики, юркие офицерки с рыскающими глазами — все они считают себя народом.

Альенде никогда не считал себя «Президентом всех чилийцев» и честно предупреждал об этом в первый же год своего президентства. Боже мой, какая же тогда поднялась шумиха! «Как? Президент, избранный в результате коллективного волеизъявления нации, не считает себя таковым? Чьи же интересы он, позвольте спросить, представляет?» Некоторые советники тогда полагали, что это был неудачный пассаж, объяснимый, может быть, тем, что он явился миру на широкой пресс-конференции без заранее обговоренного списка вопросов. Как бы то ни было, Альенде не лицемерил: он был убежден, как убежден и сейчас, что является президентом лишь тех, кто своим трудом зарабатывает себе на хлеб, кто умеет подняться выше своих классовых интересов, кто единственно и достоин носить великое имя «народ».

Не иллюзия ли это? Существует ли такой народ? Не является ли этот термин всего лишь инструментом для политических спекуляций? Нет. Альенде знал его, видел его — хотя бы во время недавней встречи с «Добровольцами родины» в подвалах ДИНАК.

Эта встреча оставила в его душе двойственное впечатление. Когда умирание прошло, Альенде прислушался к себе — и с сожалением убедился, что не все было так просто, как ему там, в подвалах, казалось. Не было единения

между ним и этими славными ребятами, не было — хотя ощущение тесноты, тепла и надежности этого упругого человеческого кольца не из тех, что проходят бесследно. Между ними стеною стояла *жалость*. Да, они жалели его, президента, эти чумазные мальчишки и девчонки, жалели той острой и безысходной жалостью, какой жалеют взрослые дети своих немощных «стариков». Они клятвою заверяли его со всей искренностью молодости, что сумеют его защитить, — его, президента, который сам должен был гарантировать им защиту и безопасность. Вырыв энтузиазма при его появлении вызван был тем, что нашелся наконец выход их аккумулязированной коллективной энергии. Инстинктом молодости они угадали, что президент остро нуждается в их защите, в то время как сам не способен им помочь. Кто-то мудро окликнул их из темноты, вернул к работе, оттого что президенту нечего было им сказать... да, они его не жалели.

И другое: он и сам торопился уйти, чувствуя свою вину перед ними. Вся его деятельность последних месяцев, а может быть и последних полутора лет, показывала этим ребятам, что он искренне и честно хочет изменить общественный уклад, тот уклад, который держит их на положении маленьких оборвышей за дверьми не то что благосостояния и не то что простого достатка, но элементарного человеческого образа жизни... хочет — и не может. Глубокий социальный инстинкт подсказывал им, что их президент связан обязательствами перед кланом сытых и обеспеченных, теми обязательствами, которых сами они на себя не брали. Но как, не взяв на себя всеобъемлющих обязательств и не выполняя их со всей мыслимой полнотой, президент может принудить «золоченого негодяя» откаться от украденных галунов? «Сила или убеждение» — эта символическая альтернатива не исчерпывает всех возможностей, есть еще мирное понуждение... и вот как раз понуждаемым оказался он сам. Оправившись от потрясе-

ний трехлетней давности, «золочепый негодяй» беззастенчиво пользуется взятыми президентом обязательствами... сам же не берет на себя никаких. Выхода из этого положения Альенде не видел.

Обе дочери, Чабела и Тати, наперебой упрекали его в том, что он слишком медленно «двигает вперед», слишком скрупулезно соблюдает всевозможные законы и установления.

— Над тобою диктатура, неужели ты не понимаешь? — горячились они. — Диктатура буржуазного права!

— Женская диктатура, — отшучивался Альенде, — это я ощущаю ежедневно, в своем собственном доме.

— Ну, вот, опять! Опять ты уходишь от серьезного разговора! Ты считаешь нас недостойными ответа именно потому, что мы — женщины!

— Хорошо, — соглашался он, — я не буду уходить от ответа. Но и вы извольте отвечать. Легко сказать: «Ты все делаешь не так». А как же надо, девочки мои дорогие? Как же надо?

В самом деле: как?

Может быть, обратиться прямо к народу? Конституционная реформа семидесятого года дала президенту республики право проведения плебисцита. Два месяца назад Альенде уже выдвигал предложение воспользоваться этим правом, но не встретил поддержки партий Народного единства. Руководство социалистической партии решительно выступило тогда (и выступает сейчас) против этой идеи. Альтамирано утверждает, что в нынешней обстановке объявить о плебисците означает пойти на риск прихода к власти иных политических сил. Да, такой риск существует. Но и бездействие, выкидывание — пагубны: дело идет к военному перевороту. Где он начнется — в эскадре или на военно-воздушных базах, — сейчас предугадать невозможно. На что мы можем рассчитывать в случае мятежа? На что рассчитывает Альтамирано? Несколько тысяч бойцов

партийной милиции, ограниченное количество оружия. Тысячи десятков рабочих в комитетах защиты предприятий. Разрозненные отряды миристов... В любом случае эти силы годятся лишь для обороны, бросать их в мясорубку гражданской войны, под бомбы и на пытки — бессмысленно...

Стопка газет на столе шевельнулась от ветра, как бы напоминая о себе. Альенде взял одну, раскрыл наугад.

«В конституции Чили, насколько нам известно, имеется статья сорок три, параграф четвертый, позволяющий нам заявить о физической и моральной неспособности президента руководить страной. Для этого и конгрессе нужны не две трети голосов, которыми мы не располагаем, а простое большинство. Оно у нас есть».

Неспособность физическая и моральная. Прекрасно. «Что можно предпринять, если президентом республики овладевает безумие?» — это говорили еще в прошлом веке о президенте Бальмаседе, пытавшемся вернуть стране ее минеральные ресурсы. Действительно, тем, кто посвятил жизнь обслуживанию монополий, самая мысль о национализации должна казаться бредовой...

Вот — свобода печати. Без нее нет демократии, нет демократических выборов, значит — нет конституционного перехода к социалистическим преобразованиям. И что же? Тираж газет у них около миллиона в день, у нас же только триста тысяч. Голос наших радиостанций, их всего только шесть, тонет в шуме их тридцати восьми. И свобода печати для нас становится кляпом. Для нас, не для них, опята по-прежнему свободны. Включаешь радио — через каждые пять минут повторяется призыв: «Сеньор Альенде! Народ требует вашей отставки». Не народ, разумеется, требует, требуют деньги, которыми оплачено время и эфир...

В десять тридцать, как обычно, явился генерал Пиночет. Его ежедневные утренние визиты Альенде собирался

сделать традицией. Как правило, командующий докладывал президенту о предстоящих назначениях, учениях, перемещениях войск, о мерах по обеспечению безопасности, о положении дел в провинциальных гарнизонах (предмет, с которым Пипочет, в отличие от Пратеа, был вполне знаком).

Вот и сегодня, менюватый, сутулый, с обрюзгшим, всегда как бы заспанным лицом, Пипочет, держа руки по швам, дождался приглашающего жеста президента, уселся, поддержал на коленях брюки, поерзал, словно располагаясь на вечность. Бросил быстрый взгляд на Альенде и тут же отвернулся в сторону: почувствовал, наверно, что президент в плохом расположении духа.

— Послушайте, генерал,— глядя на него в упор, сказал Альенде,— объясните мне, ради бога, почему вы до сих пор не потребовали отставки Бониллы, Арельяно, Торреса и Карраско?

Пипочет молчал, морща лоб и как бы выходя в суть вопроса президента.

— Их вина вам отлично известна,— все больше сердясь, продолжал Альенде.— Супруги генералов Бониллы и Арельяно участвовали в печально известной демонстрации у дома вашего предшественника. Двое остальных виновны в жестоком обращении с населением при проведении операций. Так в чем же дело?

— Президент, все четыре заявления об отставке лежат у меня на письменном столе,— выдержав почтительную паузу, сказал Пипочет.— Подписать эти заявления несложно. Но, президент, если мы с вами сделаем это...— Пипочет доверительно придвинулся ближе и сделал попытку посмотреть Альенде в глаза, но это ему почти никогда не удавалось, и он тут же, как бы смущенно, отвел взгляд,— если мы с вами сделаем это, моя репутация в рядах вооруженных сил будет подорвана. Всякий воин будет думать, что я избран инструментом расправ. И прошу войти

и мое положение: быть преемником такого даровитого и обаятельного командира, каким являлся дон Карлос, и без того пелетко. Уместно ли в моем незавидном положении расталкивать генеральский корпус локтями? Во всяком случае, начинать с этого — не решаюсь.

— Без надлежащих письменных инструкций? — Усм Альенде шевельнулись в усмешке.

Пиночет молчал.

— Но приняли же вы отставку Пикеринга и Марио Сепульведы? — настойчиво спросил президент. — И если быть последовательным...

— Они подали дурной пример, — поспешно сказал Пиночет, — когда положили свои заявления на мой стол одновременно с заявлением дон Карлоса. Могла начаться полоса массовых отставок, которая либо расколола бы армию, либо ее обезглавила. Кроме того, на месте господ Пикеринга и Сепульведы находятся теперь вполне достойные и лояльные офицеры, я вам их представлял, и тогда это назначение не вызывало никаких возражений...

— Да, да... — задумчиво проговорил Альенде. — Все так, все так...

Терпение, сказал он себе. То, что новый командующий уирым, — это, может быть, к лучшему. Чрезмерная сговорчивость в его положении была бы неприятна. И в самом деле, после Карлоса ему непросто: надо вживаться в роль, не теряя в то же время достоинства.

— Ну, хорошо, генерал. Что скажете об обстановке в столице?

— Президент, меня гораздо больше беспокоят провинции. Нельзя забывать о глухих гарнизонах. Я сам долго служил в провинции и полагаю, что опасность часто исходит из забытых уголков. Сейчас по вечерам я лично знакомлюсь с положением на местах. Начал с окрестностей: Сан-Фелипе, затем на очереди Сан-Бернардо, Кильота...



— Вам много приходится ездить. Отчего же по вечерам?

— Днем и могу понадобиться президенту.

Пиночет произнес эту фразу с таким достоинством, что Альенде был тронут.

— Генерал, я верю, что ваши заботы по охране конституции заслуживают высокой оценки, — сказал он. Ему хотелось произнести более проникновенную фразу, но что-то мешало: честно говоря, вид покорно и озабоченно склоненной головы Пиночета его раздражал. Альенде хотел бы чувствовать более живую человеческую реакцию. — Мне кажется, полезно было бы донести до офицеров и вообще до всего личного состава провинциальных гарнизонов ту мысль, что стремление правительства к более справедливому распределению благ, ценою некоторого ограничения привилегий состоятельного меньшинства...

Пиночет слушал, согласно кивал. Когда Альенде кончил, он снова выдержал паузу и сказал:

— Президент, я полагаю, что священный долг любого чилийского военнослужащего защищать конституционное правительство независимо от того, разделяет он его концепцию или нет. Все прочие настроения в армии должны, по моему мнению, беспощадно искореняться.

— Но если поддержка правительства по обязанности сочетается с поддержкой по убеждению, — прищурясь, проговорил Альенде, — усилит это конституционный дух или ослабит?

— По-видимому, усилит, — ответил Пиночет.

— Так этого и следует добиваться! — энергично заключил Альенде. — Что ж, вы свободны, генерал. Продолжайте свои инспекционные поездки. Поддерживайте контакт с министром обороны Летельером.

— Слушаюсь, президент.

И генерал удалился.

Оставшись один, Альенде встал, подошел к раскрытой

балконной двери. Да, трудный человек, трудный, сказал он себе. Но что же делать, падо уживаться. Терпение — и постепенность, постепенность — и терпение.

Он посмотрел на часы: до аудиенции адмиралам оставалось чуть больше десяти минут.

Петрудно было догадаться, что разговор предстоял острый: газеты с ликованием смаковали подробности левачкой авантюры в Вальпараисо, флотское офицерство кипело негодованием, в значительной мере лапускным, и в этой обстановке адмиралы, несомненно, шли в Ла Монеду с ультиматумом. Бессмысленная, заранее обреченная на провал акция по захвату радиостанции была спровоцирована командованием Первой зоны, и вся беда в том, что некоторые деятели партий Народного единства поддались на эту провокацию. В причастности к заговору обвинялись Карлос Альтамирано, генеральный секретарь левохристианской партии МАПУ Гарретон, руководитель миристов Мигель Эприкес. Альтамирано решительно отвергал обвинения флотского командования и заявил, что подаст в суд на директора «Меркурио» и лидера Национальной партии за распространение клеветы. Однако позиция Альтамирано на судебном процессе была бы слабой: некоторые социалисты действительно вступали в контакт с людьми Карденаса. Военная прокуратура выдвинула встречный иск, требуя лишить Альтамирано и Гарретона парламентской неприкосновенности и передать их в руки правосудия. На этой почве адмирал Мерино хотел померяться силами с президентом: он рвался в бой, предполагая использовать все очевидные выгоды ситуации, довести дело до открытого столкновения флота и правительства и в этой обстановке консолидировать свои позиции. Альенде понимал, что ни уклониться от аудиенции, ни согласиться на предъявление ультиматума он не может.

О Вальпараисо, Вальпараисо, воистину воздух твой кружит головы любителям легкой удачи. Командование

флота не взяло на себя труда сколько-нибудь убедительно обставить выход Карденаса на партии Народного единства: настолько велика была уверенность, что ловушка останется незамеченной. Степенный Лучо, к чести его сказать, проявил принципиальность, затея Карденаса показалась ему подозрительной. Теперь-то, задним числом, и легковверные товарищи хватаются за головы: как можно было не предугадать, чем обернется бессмысленный захват радиостанции? Как можно было с этим планом связаться?

...Адмиралы вошли в кабинет, суровые, отчужденные, исполненные сознания важности своей миссии. Мерино, Тронкосо, Урта. Злоумышленники в адмиралских плечах. Враги.

— Я слушаю вас, господа, — сказал Алленде, когда гости уселись, и новый военно-морской адъютант (как не хватает сейчас доброго друга Арайи) бесшумно вышел и закрыл за собой дверь кабинета.

— Президент, — начал Урта, человек с лицом узника (выпавшие щеки, иступленные глаза, тонкий западавший рот). Видимо, Мерино предпочитал не выпячивать свое главенство, которое он захватил, пользуясь междувластием во флоте. — Президент, флот возмущен происшедшими в прошлое воскресенье событиями и требует принятия самых жестких и энергичных мер, чтобы ничто подобное не могло повториться. Наглые попытки политического проникновения, призывы к неповиновению нижних чинов должны быть прекращены раз и навсегда, а виновные строго наказаны. Особое возмущение флота вызывает то прискорбное и, прямо скажем, пасторализирующее обстоятельство, что в брожении в рядах военно-морских сил, как выяснилось, заинтересованы руководители партий правительственного блока. Мы располагаем неопровержимыми доказательствами, что бунтовщики, захватившие радиостанцию в Вальпараисо и подстрекавшие моряков к неповиновению, выполняли указания социалистической партии

и МАПУ, и к этому преступному заговору против отечества непосредственно причастны господа Альтамирано и Гарретон. Ставим вас в известность, президент, что командование флота намерено требовать лишения названных господ депутатской неприкосновенности и предания суду как изменников. Полагаем, что долг президента...

Дать Уэрте выговориться до конца было нельзя: изложив свои требования, адмиралы могут просто откланяться, оставляя тем самым за собой полную свободу. Это было бы для них слишком легкой победой.

— О своем долге президента страны, — жестом останавлив адмирала, заговорил Альенде, — я имею собственное суждение, господа, точно так же, как и вы, надо думать, понимаете, в чем заключается ваш воинский долг. Я тоже считаю необходимым поставить вас в известность, что в моем распоряжении имеются данные, свидетельствующие о том, что именно командование военно-морского флота способствует брожению в войсках и призывает к неподчинению правительству. В частности, плакаты фашистского и антиправительственного содержания, расклеенные на стенах Вальпараисо, отпечатаны в типографии флота. Считаете ли вы, господа, что подобное могло произойти без ведома командования? Если так, ответственных за этот преступный недосмотр надо смещать с командных постов, какими бы высокими они ни были.

Увы, слова президента обозначали угрозу, которую невозможно исполнить: как главнокомандующий всеми вооруженными силами страны он имел право уволить в отставку любого из адмиралов, но в нынешней обстановке этот шаг стал бы поводом для мятежа.

— Мы не знаем, о каких плакатах идет речь, — дрожа от ярости, вмешался Мериньо. У него не хватило дальновидности выдержать свою роль молчаливо присутствующего лица. — Мы рассматриваем это как попытку увести беседу в сторону... как клевету на чилийских моряков!

— Адмирал, — возразил Альенде, — как командующий зоной вы обязаны знать об этих плакатах. Упущение это или злой умысел — в любом случае виновные должны быть наказаны. И я настоятельно требую выяснить, как это могло произойти. Это и есть политическое прощупывание и расшатывание воинской дисциплины. Что же касается так называемых неопровержимых данных о причастности деятелей Народного единства к событиям прошлого воскресенья, то имеются основания полагать, что эти, с позволения сказать, показания получены посредством жесточайших пыток арестованных моряков.

— Еще одно оскорбление флота! — вскричал Мерино. Губы его побелели.

— Разумеется, применение пыток, — продолжал Альенде, — несовместимо с честью и достоинством чилийского военного моряка. Тем больше оснований выяснить все обстоятельства дела и очистить флот от лиц, причастных к этому позору.

— Президент, — заговорил вновь вице-адмирал Уэрта (в то время как Мерино упорно не называл Альенде президентом), — мы уходим от темы. Все эти претензии выдвигаются, чтобы выгородить подлинных виновников. Президент страны не имеет права связывать свой престиж...

Расчет Уэрты был совершенно ясен: поставить президента на такую грань, за которой продолжение беседы уже невозможно. Ну что ж, Уэрта своего добился. Но — чуть позднее, чем рассчитывали сеньоры адмиралы. Ультиматума не получилось: изложены взаимные претензии, вот как это выглядит теперь.

— Я, кажется, уже имел сегодня случай заметить, — сказал Альенде, — что оставляю за собою право самостоятельно судить о долге и правах президента, равно как и о престиже своего поста. Замечу также, что тон, взятый вами, вице-адмирал, недопустим. Вы разговариваете с пре-

видештом республики, а если этого недостаточно, чтобы им держали себя в руках, то конституция облакает меня полномочиями главнокомандующего.

— По-видимому, — произнес Мерино и поднялся, — продолжать беседу не имеет смысла.

— Я совершенно с вами согласен, — сказал Альсепде. — Будем считать, что господа адмиралы к пей не готовы.

Когда Мерино, Уэрта и Тропкосо ушли, Альсепде поправил очки, посидел, поглаживая рукою крышку стола.

Маленькая победа... да, небольшая кабинетная победа. Еще одна такая победа — и мы останемся без вооруженных сил. Во всяком случае, нам сегодня открылась та близкая гавань, где, как пишет Неруда, «в адмиральском мундире стоит в ожидании смерти».

Он огляделся. Сквозь темно-красные стены кабинета смотрели на него, проступая светло и смутно, юные лица из подвалов ДИНАК. Он чувствовал на себе их вопрошательные и тревожные взгляды.

25

Дон Эрике сидел у себя в «кабинете» и, потягивая красное вино, задумчиво смотрел телевизор. По тринадцатому каналу в программе новостей «Телетресе» выступал священник. Мелодраматично складывая перед собою руки (видно было каждую морщину, каждый вздувшийся на тыльной стороне ладоней кровеносный сосуд), священник монотонно и в то же время папорието говорил зрителям, что страдания чилийского народа ужасны, и есть только один человек, во власти которого эти страдания прекратить.

— Этот человек — один из достойнейших и благороднейших сынов страны, он облечен верховной властью, к слову его с уважением прислушиваются миллионы сограждан, верующих и неверующих, благородство и чистота его

помыслов не вызывает сомнений ни у кого из нас. Братья, этот человек — президент республики доктор Альенде. Облекая его своим доверием три года назад, народ Чили не мог сделать лучшего выбора. Волею судьбы, однако, доктор Альенде ныне сам поставлен перед трагическим выбором: действуя из лучших побуждений, он тем не менее стал в настоящее время символом раздора... раздора, ввергнувшего страну в пучину горести и страданий. Единственный способ прекратить эти мучения и предотвратить еще большие, ужасающие несчастья — добровольный уход этого благородного человека со своего поста. Пусть бог дарует ему силы принять это мужественное решение. Помолимся, братья, за то, чтобы доктор Альенде и в эту трудную минуту — трудную для него и для всех его соотечественников — поднялся выше мелких суетных соображений, недостойных его ума и благородства, недостойных оказанного ему всенародного доверия. Президент, мы, верующие Чили, заклинаем вас от имени всех сирых и обездоленных, от имени страдающих жеп и детей: не поддавайтесь ослеплению момента, примите это достойное решение — во имя матери-родины, во имя господ. И да хранит бог вас и всех, кто вам дорог.

Доп Эрике вздохнул и переключил телевизор на седьмой канал. Какое счастье, что бог не сделал его католиком! У этих пачетчиков абсолютно нет логики: вчера они призывали Альенде немедленно возобновить переговоры с христианскими демократами, сегодня умоляют его уйти.

А по седьмому каналу передавали запись репортажа с площади Конституции, где два часа назад закончилась демонстрация в честь трехлетия победы Народного единства.

— Народ! Един! — скандировали манифестанты, идя с поднятыми кулаками вдоль трибуны, построенной на улице Ла Монета. — Народ! Един! И он непобедим!

— Посмотрите, сколько их! — взволнованно и оттого сблизчиво говорил невидимый комментатор. — Сколько нас, я хочу сказать! Да, это мы с вами маршируем сейчас по площади Конституции, мы, чилийский народ!

Дон Эприке покосился на перегородку, отделявшую его «кабинет» от ресторанного зала. Последнее время в сводчатых залах «Каринтии» редко раздавались возбужденные хмельные голоса: ресторан дона Эприке превратился в место деловых свиданий и разговоров шепотом. И это было связано вовсе не с перебоями в поступлении европейских продуктов: транспортные трудности не сказывались на снабжении «Каринтии», тем более что «европейские» шницели и ростбифы разгуливали в каком-нибудь десятке километров от города. Просто клиенты дона Эприке стали заказывать меньше спиртного и просиживали вечера в ресторане с таким видом, как будто их в любую минуту могли поднять с мест и под конвоем отправить в казармы столичного гарнизона.

Сам дон Эприке пребывал сегодня в некотором смятении чувств. Прежде всего, он не ожидал, что праздничное шествие в городе состоится. И уж во всяком случае он не предполагал, что на площадь Конституции явятся такие толпы людей. Диктор только что сообщил, что, по подсчетам командования корпуса карабинеров, на демонстрацию вышло не меньше миллиона с четвертью человек, но это выдалось по коммунистическому каналу, тринадцатый же канал заверял, что демонстрантов было не больше пятисот тысяч, и истину надо было искать где-нибудь на подходе к миллиону.

Если доктор из Кальдеры способен поднять по призыву такую массу людей да при этом обеспечить порядок, и это после хаоса и анархии последних недель, то, может быть, дон Эприке напрасно сбрасывает Народное единство со счета? Как только повышение цен на медь обернется реальной валютой, здесь, в Баррио Альто, притихнут, и сои-

дики из «Роландо Матуса», которых он столько времени кормит за свой счет, окажутся не самой надежной защитой — во всяком случае, менее надежной, чем социалистическая милиция или отряды из «индустриальных кордонов». А дальше — дальше может наступить такое время, когда следственная служба вплотную займется клиентурой «Карпитин», и многозетному чилийскому благодетельно дона Эприке наступит конец: его просто выплюнут из страны на законном основании, и ни одна болошка на одиннадцатой миле не завоюет ему ислад. Дона Эприке слишком хорошо изучил повадки унитанных бодряков с «атташе-кей-замми», чтобы надеяться на их покровительство в случае такого поворота событий: они сами живут на долларовые подачки покровителей. Вот о чем размышлял сегодня дон Эприке, и вот почему он так внимательно смотрел репортаж по седьмому каналу, не забывая потягивать при этом хорошее красное вино.

Он вглядывался в лица, крупным планом появлявшиеся на экране, пытаясь угадать по их глазам и улыбкам, что привело их сегодня на площадь Конституции. Так его давний кумир Черчилль, посещая в годы войны союзные страны, шел вдоль строя почетного караула, заглядывая каждому солдату в глаза. Не боятся ли эти люди, не отворачиваются ли от телекамер? Не могут же они не знать, что кто-то в эту минуту их мстительно пересчитывает. Нет, они не боялись, их было слишком много, и они радовались тому, что их так много.

— Народ! Един! — гремело над площадью, в дон Эприке убавил звук: ни к чему клиентам «Карпитин» было знать, каким анализом он сейчас занимается.

— Поломают зубы аристократы, олигархи, монополисты, латифундисты, поджигатели гражданской войны! — возбужденно говорил комментатор. — Процесс перемен — необратим! Медь навсегда останется чилийской, земля всегда будет принадлежать крестьянам, которые ее обрели,

трудящиеся будут всегда управлять предприятиями общественного сектора, банковский кредит будет всегда стоять не на службе горстки богачей, а на службе народного развития! Момьячос ошибаются, клика Эдвардсов лжет! Прошлое никогда не вернется! Ты слышишь, товарищ? Народ говорит с этой площади: НИКОГДА!

А что, собственно, в этой программе угрожало благоденствию дон Эрикэ? Он не был ни олигархом, ни лати-фунистом, местные аристократы им брезговали (во всяком случае, за пределами «Кариити»), и перемены последних трех лет совершенно его не коснулись. Дон Эрикэ не считал себя эксплуататором должны официантов и поваров — хотя бы потому, что те и сами беззастенчиво его обкрадывали. Банды вооруженных до зубов миристов, осаждающих «Кариити» со всех сторон? Дон Эрикэ их до сих пор не видел и начинал подумывать, что они существуют только в воображении «Меркурио». Так стоило ли ему ссориться с властями?

На экране телевизора появилась правительственная трибуна. Альепде, улыбающийся, довольный, в темно-сером костюме и пестром клетчатом галстуке, махал демонстрантам рукой. Повернулся, что-то сказал стоящему рядом Летельеру, засмеялся, морща крупный нос. И снова площадь с марширующими колоннами, вся осыпанная сверху, с высоких зданий, дождем листовок и гарлянд. Группа парадных детинек, несущих широкий транспарант: «Завтра я буду пужен Родиной. Сегодня меня защищает Народное правительство!» Женщины, развернувшие огромный фотоплакат: двое малышей в трусиках и надпись наискосок: «Камьонеро! Ты хочешь, чтобы не было тепла в нашем доме».

— Жаль, если вы не видите этого в цвете! — говорил, тороясь, диктор. — Красно-зеленые знамена, красные рубашки молодежных отрядов! В Сантьяго пришла настоящая весна!

— Ну, до весны еще далеко, — пробормотал дон Эприке, выключил телевизор и, тяжело подпавшись, подошел к окну.

По всему вечернему Баррио Альто, насколько можно было видеть, горели мрачные костры из автомобильных покрышек. Одинадцатая миля тоже праздновала годовщину победы Альенде. Праздновала, задыхаясь в жирном дыму своих костров.

Зазвонил телефон. Дон Эприке не глядя протянул руку, взял трубку.

— Вас слушают, — сделал дружелюбное лицо, сказал он.

— Дон Эприке? — заговорил после паузы бодрый тепорок. — Добрый вечер. Как у вас сегодня? Наверно, яблоку негде упасть?

— Для друзей у нас в «Карнитин» столик всегда найдется, — с достоинством отвечал хозяин.

— Знаете, я звоню из Муниципального театра. Жаннет сегодня просто великолепна. Публика не отпускает ее со сцены.

Речь шла о концерте израильского балета «Бат Дор» с примой Жаннет Ордман, по которой весь Баррио Альто сходил в те дни с ума.

— Но после второго отделения мы к вам, — продолжал частить голос. — Знаете, столик под средней аркой, возле деревянного светильника.

— Одну минуту, сеньор, — сказал дон Эприке. — Надо взглянуть.

Он аккуратно положил трубку на стол и подошел к пергородке. Клиент говорил с илебейскими интонациями, но голос его был дону Эприке знаком.

Дон Эприке приоткрыл створку и посмотрел в зал. Столик, на который претендовал клиент, был занят: там сидела рыжеволосая красавица, дочь депутата Ларин Эррасуриса, в компании озабоченных мордастых мужчин, самые

ошибочным и самым мордастым среди которых был, разумеется, Гато. Компания была довольно большая, семь человек, из них две женщины, не считая упомянутой сеньориты, и для них официантам пришлось сдвинуть два столика вместе.

— Очень сожалею, сеньор, — сказал дон Эрике, вернувшись к телефону, — по ваш столик занят. Могу рекомендовать не менее удобное место. На сколько персон прикажете сервировать?

— Да нет, — с досадой перебил его клиент. — Другое место меня не устраивает. А кто там расположился, за моим столиком?

— Видите ли, сеньор, — дон Эрике замаялся, — подобных справок в «Каринтии» не дают. Поверьте, это делается в интересах самих же гостей...

— Я понимаю, — снова перебил его клиент, и дон Эрике поморщился: оказывается, этот назойливый незнакомец не только был не в ладах с кастельяно, но имел весьма смутное представление о хороших манерах. — Я понимаю. Но, может быть, там сидят мои друзья? Тогда мы к ним присоединимся — и дело с концом. Иначе нам придется подыскать себе ресторан поуютнее.

Дон Эрике помедлил. Сказать по правде, друзья сеньориты Ларри тоже нередко, дурачась, переходили с изысканного местного языка на говорок равнины, но никогда не путали того и другого, уж в этом-то дон Эрике научился разбираться. Так, значит, к нему в «Каринтию» рвется чужак? Притом пастойчиво — неясно, с какой целью.

А собственно говоря, почему хозяин «Каринтии» должен об этом заботиться? Здесь у него не генштаб, в свои секреты клиенты его не посвящают, так пусть и осторожничают сами. Разумеется, в другое время, хотя бы годом раньше, дон Эрике и рассуждал бы по-иному, но сейчас, когда настали смутные времена... кто знает, может быть, это первая ласточка новой, демократической клиентуры?

— Я не совсем уверен, — осторожно начал дон Эприке, — что вы, сеньор, знакомы с сеньоритой Ларин Мастарша...

— Конечно! — оживленно ответил голос. — Мы с ней большие друзья... А кто еще? Может быть, я им помешаю?

Сомнений больше не было: острое нетерпение в голосе полностью выдавало сыскаго агента. Ну, что ж... пускай никто не посмеет сказать, что дон Эприке прикрывал «поджигателей гражданской войны». Честно говоря, не только это серьезное соображение руководило доном Эприке в эту минуту: дон Эприке просто испугался напора, с которым сюда рвался чужак.

— Я не сумел бы назвать имена этих сеньоров, — с достоинством (и держа трубку обеими трясущимися руками) проговорил дон Эприке. — Многие из них по балуют нас своими частыми посещениями. Но одного из них, скорее всего, вы, сеньор, знаете.

И дон Эприке довольно точно описал внешность человека, известного в пилловском подполье под именем Гато.

— Нет, этот не наш, — поспешно ответил голос. — Благодарю вас, дон Эприке. Пообедаем где-нибудь в другом месте.

— Может быть, все же приготовить столик? — для окончательной уверенности спросил хозяин.

— Нет, нет, ни в коем случае, — ответил голос. — Не стоит беспокоиться. До свидания.

Положив трубку, дон Эприке подошел к своему потайному окошечку и стал прикидывать предстоящие убытки. Потасовка, стрельба... а с кого требовать возмещения? Помимо страха, дон Эприке терзался теперь противоречивыми чувствами: с одной стороны, он уже жалел о том, что сделал, а с другой — беспокоился, как бы компании сеньориты Ларин действительно не разошлась. Тогда люди Жуапьяна с него спросят, и спросят сурово.

Но друзья сеньориты сидели спокойно, низко нагнув-

ишсь пад столом. Гато что-то тихо, но энергично говорил, остальные почтительно слушали, время от времени кивая, а сеньорита не сводила с него не влюбленного, но уж, во всяком случае, заинтересованного взгляда.

Минут через двадцать в малый зал вошел мальчишка, который обычно присматривал за «репо» сеньориты Даррип. Обходя столики, он приблизился к Гато и, переминаясь с ноги на ногу, стал смотреть ему в рот. Гато пахмурился, потом умолк и, облизав губы, резко сказал мальчишке:

— А пу, пошел отсюда!

Тот испуганно дернулся, но не ушел.

— Я кому сказал? — грозно проговорил Гато. — Официант!

Из-за арки выскочил один из подчиненных дона Энрике.

— Слушаю! — склонив голову, сказал он.

— В чем дело? — спросил Гато, показав глазами на ребенка. — Этак скоро и собак сюда начнете пускать?

— Он у нас стоянку обслуживает, — извиняющимся тоном проговорил официант. — Может быть, с машиной сеньора какой-нибудь непорядок?

Он наклонился к мальчишке, тот, загибаясь, одной рукой теребя себя за мочку уха, а другой показывая на Гато, начал что-то объяснять.

— Он говорит, — перевел официант, — что сеньора кто-то просит на выход, по очень важному делу.

— Кто? — спросил Гато.

— Другой сеньор... — буркнул мальчишка.

Гато удивленно приветал, заглянул в большой зал, но ничего не увидел.

— Ребята, надо сходить посмотреть, — сказал он своим мордастым.

Те сразу же встали и, расстегнув пиджаки (видимо, чтобы удобнее было выхватить из-за пазухи пистолеты),

прошли через большой зал и скрылись на улице. Мальчишка повзледел за ними, еще рассчитывая на какую-то подачку.

Доп Эрике съезжился и припик к потайному окошку, ожидая криков, стрельбы. Но ничего подобного не случилось. В большом зале мирно гудела публика, в малом, кроме Гато и его женщины, за угловым столиком пожилой врач-гинеколог, добрый знакомый дон Эрике, кейфовал с молодой дамой — возможно своей бывшей (или будущей) пациенткой, а больше здесь никого не было.

Так прошло минут пять. Сеньорита скучала, поглядывая на Гато, обе дамы сухо и жеманно беседовали между собой, а Гато молчал и заметно первничал. Сначала он ногой пододвинул к себе поближе стоящий на полу «атташе-кейз», а затем, насупившись, наоборот, отодвинул его подальше. С гулким хлопком «кейз» упал плашмя. И в ту же минуту матусовские щенки, сосавшие за своим столиком пиво, молча повскакали с мест и, оставив на столе недопитые кружки, а на полу — свои дубинки и каски, ринулись в малый зал. Доп Эрике зажмурился (сейчас начнется), но опять-таки все было тихо, и, когда он открыл глаза, матусовцы бесследно исчезли.

— Пу-ка, я пойду, погляжу... — пробормотал Гато, поднимаясь.

Но тут раздалась негромкая команда: «Сидеть, оставаться на своих местах», — и в малый зал вошли люди Жуаньяпа. Позже дон Эрике будет говорить, что они ворвались, горлаяя, стреляя в потолок и опрокидывая мебель. Но это было не так. В большом зале даже не заметили, что за аркой что-то происходит. Врач-гинеколог, разумеется, начал возмущаться, но это выглядело не особенно убедительно, и когда ему было позволено рассчитаться, он с облегчением это сделал и, подхватив свою даму, ушел. Двое агентов встали под аркой, двое в служебных дверях, а к столику Гато, улыбаясь, направился еще один — в пло-

хо синим дакроновом костюме, ослепительно белой сорочке, с маленьким смуглым обезьяньим лицом. Дон Эприке его сразу узнал: это был тот самый молодой плебей, по имени Мемо, который так жадно пил пиво из кружки сеньориты Ларин вечером после «Танкасо». Долгим же путем он шел к своей цели... а цель эта оказалась совсем не той, что предполагала сеньорита. Несомненно, в ее глазах молодой плебей был предателем вдвойне — и как сообщник, и как влюбленный, которого он столь убедительно и терпеливо изображал.

Когда Мемо поравнялся с нею, сеньорита Ларин вызывающе вскинула свою очаровательную рыжую головку и протянула обе руки вперед.

— Прошу прощения, сеньорита, — сказал Мемо. — Не нужно демонстраций, вас никто не собирается арестовывать. Можете отправляться домой. Если вы пощадитесь, вас вызовут в полицию.

Габриэла, всыхнув, встала и, даже не взглянув на Гато, с независимым видом пошла к выходу.

Гато медленно опустился на место, облизал губы. Нельзя сказать, что он очень испугался: он был просто покорен, как ошеломленный ударом бычок. Положил на стол руки, дал себя обыскать и обезоружить. Безучастно проследил за тем, как «атташе-кейс» был бережно передан из рук в руки к выходу и унесен.

Наутро из газет дон Эприке узнал, что чемоданчик содерживал такого деликатного обращения: в нем содержались схемы секретных аэродромов, заявки на стрелковое оружие, списки лиц, подлежащих уничтожению в первую и вторую очередь, а также чеки Пуэрториканского отделения «Ферст нэйшнл сити бэнк» на предъявителя. Сумма была, скажем прямо, значительная, она почти вдвое превышала то, что дон Эприке заработал за целую жизнь.

— Мы тоже можем уйти? — в один голос спросили оба сеньоры.

— Безусловно, — ответил Мемо, наблюдая, как два сотрудирика надевают на Гато наручники. — Безусловно, как только ответите на несколько моих вопросов.

Гато повели к выходу. В дверях он остановился и через плечо сказал:

— Ну, Мемо, молодец, постарался. Но вот напрасно ты сам сюда пришел.

— Поглядеть на тебя захотелось, — ответил Мемо. — Давно не видел, соскучился.

— Ну, гляди. Недолго же тебе глядеть осталось.

— Не смейся, не горячься, гайо, — сказал Мемо, присаживаясь за столик к дамам и доставая блокнот и карандаш. — Я еще тебя переживу.

...Мемо ошибался: ровно через неделю его тело было выброшено на свалку возле Мапачо из проезжавшего армейского грузовика. Труп был настолько изуродован, что даже выдавшие виды мусорщики долго не решались к нему подойти.

26

Об аресте Чиниты Каролина узнала чуть ли не позже всех. В тот вечер она засиделась в редакции, готовя после долгого перерыва свою сатирическую колонку, и старалась не обращать внимания на телефонные звонки. А телефон, как назло, звонил беспрерывно. Наконец Каролина не выдержала. Она сняла трубку и хотела положить ее на стол, но что-то толкнуло ее послушать, кто говорит. Это был Аугусто Оливарес.

— Послушай, Нья Шируса, — сказал он, — я уже целый час пытаюсь к тебе пробиться. Есть один вопрос. Твоя сестренка, она ведь работает на фабрике Леру?

— Работала одно время, — сердито ответила Каролина. Она была недовольна, что ее беспокоят по таким пустякам,

и будь у нее сейчас другой собеседник, он получил бы не большой урок. Но Перро — не просто собеседник, Перро не станет зноить без серьезных причин.

— Она там бывает? — спросил Перро.

— Бывает, и довольно часто. А что такое?

— Видишь ли... ты только не волнуйся. Парашютисты сегодня провели на Леру оперативку, искали оружие, завязалась перестрелка. Тата послал туда санитарные машины. Не мешает тебе съездить домой и узнать, все ли в порядке. Узнаешь — перезвони мне, ладно? Я буду в секретариате всю ночь.

И Оливарес отключился, прежде чем Каролина успела его поблагодарить.

Конечно же, ей дали редакционную машину, и она поехала на Парадеро Очо.

Дома было темно и грязно, пахло спиртным. Когда Каролина включила свет, она увидела, что Лусита сидит на полу, закинувшись в угол, и тихо плачет.

— Что с тобой, маленькая моя? — Каролина бросилась к ней, взяла ее на руки. Девочка обеими руками обхватила ее за шею, но ничего не говорила, только всхлипывала и дрожала.

— Почему ты одна? — сев на скамью и посадив ее рядом, попытывалась Каролина. — Где Мария Эстеда? Где мама?

С большим трудом Каролине удалось выяснить, что произошло. Мария Эстеда еще утром, встав с тяжелой больной головой, собрала вещи, сказала, что пусть все пропадает здесь пронадом, а она едет в деревню, и ушла. «Мама», то есть Мануэла, не смогла ее отговорить, как ни старалась. А на вечеру Мануэла пошла на фабрику, там она должна была читать какую-то лекцию. Мануэла сказала, чтобы Лус ждала ее и смотрела картинки в журнале. Потом на улице слышалась стрельба, люди начали кричать, и девочке стало страшно. Тогда Лус набралась храбрости и пошла к

«маме». У ворот фабрики горела машина, кругом стояли джипы, большие автобусы и грузовики. Солдаты прогоняли ее, но домой идти было еще страшнее, и девочка отходила и снова возвращалась. Потом солдаты вывели из ворот «маму», втолкнули ее в автобус вместе с другими женщинами и повезли. «Мама» кричала и била солдат по плечам кулаками. Лус побежала за автобусом, но упала. Какая-то старушка взяла ее за руку и, хорошенько выспросив, где она живет, отвела домой. Старушка была добрая и заботливая, она звала девочку к себе, но Лус наотрез отказалась. Она решила, что если пойдет с этой старушкой, то больше никогда уже не увидит ни маму, ни Ню Пирису.

— Почему все куда-то уходят? — плача, повторяла она. — Неужели нельзя жить всем вместе?

Оставлять Луситу здесь было, разумеется, невозможно, и Каролина забрала ее с собой.

— Что ж это такое! — говорила Каролина Оливаресу. — Ни с того ни с сего хватают девочку, бросают в машину и увозят неизвестно куда! Если это творится при нас, что же будет, когда они переселят?

Оливарес рассказал ей, что, по официальной версии ВВС, от неизвестного поступило устное заявление, что на фабрике Перу хранятся незаконно накопленные запасы стрелкового оружия и взрывчатых материалов, а также боеприпасы и снаряжение. Подразделение ВВС оцепило территорию фабрики и приступило к оперативке. Во дворе парашютисты обнаружили каски, пластиковые бутылки (как они утверждают, для зажигательной смеси), литературу социалистической партии.

— С каких это пор, — возмущенно спросила Каролина, — литература правящей партии приравниваться к боеприпасам? И никакого устного заявления не было, все это ложь! Они давно уже кружили над фабрикой, все не решались!

— Да, записи на пленку телефонного разговора не было сделано, — устало ответил Оливарес. — А дальше уже вообще начинается фантастика. Когда солдаты рассматривали двор, на них будто бы бросились со всех сторон около пятисот человек, одетых в униформу цвета хаки. Начался бой, и парашютисты, сделав якобы несколько выстрелов, отступили. С собой они забрали двадцать три арестованных. Ранено, по их версии, три человека. Но все это, разумеется, ложь. Тата приказал создать комиссию экспертов, и только что нам сообщили, что по цехам было сделано шестьсот выстрелов... Ты, Пирусита, не переживай. Главное — твоя сестренка жива. Тата постарается ее вызволить. Но попытайся и сама что-нибудь сделать через редакцию. Прессы они боятся.

...Два дня Каролина обивала пороги всех военных ведомств, отыскивая следы Чипиты. Наконец ей ответили, что Мануэлу Сото Рамирес отвезли в казармы военно-воздушной базы «Эль Воске», где она будет находиться «до выяснения обстоятельств».

— Но каких обстоятельств? Девочка пришла на фабрику, где она даже не работает, повидаться с подругами. Никаких других обстоятельств нет и не может быть.

— Если так, то какие основания для беспокойства? Вашу сестру не только освободят, но и доставят на автобусе ВВС по месту жительства.

— Но она опоздает к началу учебного года! Она едет учиться за границу, там начинается учебный год!

— Это, конечно, печально. Все, что мы можем сделать, это выдать ей при освобождении официальную бумагу, в которой будут изложены необходимые объяснения. Но это, естественно, только в том случае, если ее задержание действительно случайно.

Так было вчера. Но сегодня, в понедельник десятого сентября, с Каролиной разговаривали совсем по-другому.

— Вы напрасно нас дезинформировали. Выяснилось, что ваша сестра оказалась на территории фабрики не случайно: она осуществляла связь между «командо коммуналь» сектора и персоналом.

— Это пеленые домыслы!

— Да, это трудно будет доказать. Но сеньорите Сото предъявляется и более серьезное обвинение: она была задержана с оружием в руках.

— Но это уже совершенная ложь. Моя сестра никогда не держала в руках оружия! Послушайте, вам придется за все это ответить! Девочка, почти ребенок, столько времени содержится в каких-то казармах... может быть, ее там бьют! Я пойду к генералу Ли!

— Весьма сомнительно, чтобы генерал Ли стал вмешиваться в это дело. Впрочем, попытайтесь. Но не сегодня: сегодня главнокомандующий находится в частях.

— В любом случае этот произвол не сойдет вам с рук! Если понадобится, мы поднимем всю прессу...

— Сеньорита, не нужно так волноваться. Кстати, один деликатный вопрос. В прошлый раз вы, кажется, говорили, что ваша сестра учится за рубежом. Не могли бы вы сказать, где именно?

— Это неважно.

— А вот ваша сестра утверждает, что она нигде не учится и не работает. Очень много противоречий.

Когда расстроенная Каролина вернулась после этой беседы в редакцию, Лус, которая теперь наотрез отказывалась оставаться одна и находилась на попечении девочек из отдела писем, спросила:

— Нья Пируса, ее скоро освободят?

— Скоро, маленькая, скоро,— Каролина погладила девочку по голове.— Ведь твоя мама не сделала ничего плохого.

— А я думаю, ее расстреляют,— серьезно сказала Лус и обвела взглядом лица обступивших ее сотрудников.

Наступило тягостное молчание. Девушки растерянно переглядывались.

— Господи, да откуда ты вообще знаешь такое слово? — спросила наконец Каролина.

— От Марии Эстелы, — ответила Лус. — Мария Эстела говорит, что скоро нас всех расстреляют: и тебя, и Фито, и маму. Вот я и думаю: с кем же я тогда останусь? Мария Эстела говорит, чтоб я подохла. А я не хочу подыхать. Тогда уж пусть и меня расстреляют вместе с вами.

— Глузышка, — смеясь и плача, сказала ей Каролина. — Ничего ты не понимаешь, оказывается...

День был какой-то странный — пустой и в то же время наполненный острым ожиданием важных событий. Настолько важных, что даже новости из Конгресса, которые Каролине предстояло обработать для завтрашнего номера, казались совершенным пустяком. Депутаты от ХДП и НН потребовали совместной отставки президента, правительства и роспуска обеих палат. Люди Харны праздновали победу: наконец-то они добились взаимности от своих капризных партнеров. Христианские же демократы голосовали кряхтя, словно нехотя. Но в общем-то это решение никого ни к чему не обязывало и было политическим зрелищем.

Журналисты всех мастей метались наперепутье между министерством обороны и Ла Монедой. Но главным образом вчерашнего дня не подавали признаков жизни, и из дворца тоже никто не выходил. Экстренное совещание кабинета закончилось, и теперь президент и министры обедали в зале Тоэски.

Знакомый корреспондент «Сегунды» так и кинулся к Каролине, когда она подходила к дворцу.

— Ну что? Скоро?

Каролина остановилась, недоумевая.

— Скоро объявят?

— О чем? — вопросом на вопрос ответила Каролина.

Корреспондент отступил на шаг, с сомнением посмотрел на нее.

— А я думал, ты знаешь, — разочарованно сказал он.

— Да о чем? Введи меня в курс дела.

— С утра было объявлено, что президент сегодня сделает важное заявление, но до сих пор ничего нет. Вот мы и ждем, как коршуны. А может быть, ты все-таки что-нибудь знаешь? Я в долгу не останусь. Я тебе такую новость подкину — пальчики оближешь.

Каролина с трудом от него отвязалась. Она и в самом деле не знала, какое заявление собирался сделать Альеде.

Не сказал ей об этом и Аугусто Оливарес.

— Знаю, что должно было быть выступление, но отложено до вторника. Состоится завтра в середине дня, до начала совещания ХДП: надо, чтобы они, собравшись, уже знали.

— О чем?

Оливарес улыбнулся в усы.

— Пирусита, я тебя с детства люблю, по тайнственности и люблю еще больше. Расскажи мне лучше, что выяснила о сестренке.

Рассказ Каролины огорчил Оливареса.

— Мерзавцы, и управы на них нет никакой. Отпустить-то ее они, конечно,пустят, но боюсь, что не скоро. А она у тебя, оказывается, молодец: сообразила, с кем имеет дело, не сказала, что едет на Кубу. Правда, хитрость невелика: все равно они выяснят.

— Так что же делать, Перрито? — умоляюще спросила Каролина. — Как девочке помочь?

— Ну, с генералом Ли ничего не получится, — нахмурившись, сказал Аугусто. — Это такой... такой пендехо...

Словечко «пендехо» не имело определенного значения, но Перро вкладывал в него богатое содержание: впрочем, чтобы оценить его, надо было слышать интонацию, с которой Аугусто его произносил.

— Ты знаешь, — продолжал Аугусто, — утром Жуанли и Ромеро... ты знаешь Ромеро? Знаменитый детектив. Так вот, они встречались утром с Ли, принесли ему данные по папке на Леру. Совершенно очевидные доказательства, что перестрелку начали его люди. А он и смотреть бумаги не стал. «Моя служба, в отличие от вашей, не лжет, сеньор Жуапьян. Дай бог вам когда-нибудь завести такую надежную службу». После этого, естественно, разговаривать было не о чем. Так что Ли отпадает. Может быть, попросить Тату, чтобы он лично вмешался, позволил Пиничегу, пусть повлияет... Опять же незадача: нет нигде моего тезки, как в воду канул. Придется до завтра подождать. Да, кстати, вот что я тебе скажу: сегодня дома почевать не следует.

У Каролины болезненно сжалось сердце.

— Настолько серьезно?

— Похоже, что так, — Аугусто взял Каролину за локоть, отвел к окну. — С адмиралами у нас, сама знаешь, дружба врозь. Понятия не имеем, чем они там занимаются. Как бы не закопшились. Теперь вот и этот Ли... Не ожидали мы от него такой эскапады...

— Но, может быть, это только фразы? Честь мундира и все такое? Ведь ему ткнули в нос доказательство, что он лжет.

— Если бы только это... Сегодня ночью вдруг обнаружилось, что с аэродрома Пудауэль исчезли все коммерческие самолеты. Президент меня поднял звонком, стали выплывать, в чем дело. Оказывается, по приказу командования ВВС их перевели на военные аэродромы в Эль Боске. Представляешь, что это значит?

«Бедная Чинита, — с тоской подумала Каролина. — Не дай боже, начнется, а она там...»

— Естественно, Тата позвонил самому Ли, вызвал подмогание и получил ответ, что это меры по охране машины. «По охране от кого? От меня?» — спросил Тата и прика-

они вернуть самолеты на место. Вот так, Перусита. Но по-
надо вешать нос: без пехоты у них ви черта не получится.
Чили — это не Сальвадор. По одному самолету па сто ки-
лометров длины — маловато.

— Послушай,— сказала после паузы Каролина,— не
слишком ли мы их распустили? Какое-то табу па тему
«вооруженные силы»: ни в чем нельзя упрекать. Не армия,
а священная корова. Давно бы надо обвинить их в своево-
лии и призвать к порядку. А после каждой их проклятой
оперативки...

— Могу тебе сказать по секрету,— остановил ее Оли-
варес,— решено отобрать у армии право на оперативки и
поручить их карабинерам. Петельер уже действует в этом
направлении.

Вдруг он остановился, посмотрел на часы.

— Заговорился я с тобой. Как бы государственную
тайну не выболтать: уж очень хочется. Еду сейчас на То-
маса Моро. И обязательно напомню Тате о твоей сестрен-
ке: он что-нибудь сделает.

— Не позабудешь? — с надеждой спросила Каролина.

— Ни в коем случае! — заверил ее Оливарес.

Наверно, это был единственный случай, когда Перро не
сдержал слово.

Несколько успокоившись, Каролина пошла в секретари-
нат, по дороге раздумывая, где она будет ночевать с Лу-
ситой сегодня. И неожиданно увидела перед собой Сесара.
Они не встречались с того самого дня, когда он подвез ее к
дому Пратса.

Сесар был в том самом небесно-голубом костюме, в ко-
тором встречал ее здесь в день «Ганкасо». «Сграпно,—
машинально подумала Каролина,— отчего опять в голу-
бом?» В тот раз он объяснил, что торопился, оделся как
попало. Значит, солгал. Наверное, отчуждается, хочет под-
черкнуть, что он здесь посторонний. А может быть, это у
него наследственное? Отец его тоже причудлив в одежде.

— Я тебя повсюду разыскиваю,— не здороваясь, сказал Сесар.— У меня к тебе важное поручение от класса, который я представляю.

— Нашел время шутить,— ответила Каролина.— Но все равно я рада тебя видеть. Ты похудел.

— Я не шучу,— возразил Сесар.— У меня действительно по поручению. Мой отец очень хотел с тобой лично поговорить, но ему, сама понимаешь, не совсем удобно приезжать в вашу редакцию.

— Твой отец?— удивленно переспросила Каролина.

— Да, представь себе. Старик вернулся из конгресса очень взволнованный. Долго брзжал о политической близорукости... я, признаться, не совсем понял ход его рассуждений, но вдруг он спросил, часто ли я вижу с тобой. Очень огорчился, когда узнал, что мы с тобой разошлись, как говорится, по идеологическим соображениям. Видишь ли, ему не хочется встречаться ни с кем из ваших, но сегодня он узнал... Короче, по его мнению, ты должна предупредить президента, что в вооруженных силах ни на кого нельзя полагаться. И особо подчеркнул: ни на кого. Больше он ничего не хотел говорить: если захотят, поймут. Я решил, что, если уж старик так разнервничался, он действительно узнал нечто важное. И — приехал сюда. Может быть, мне не следовало этого делать?

— Нет, нет,— растерянно проговорила Каролина.

— Странно,— Сесар усмехнулся.— А я-то полагал, что ты сломя голову помчишься к Альеде сообщать эту страшную новость. Но, по-видимому, вам это давным-давно известно...

— Ты молодец, что приехал,— сказала Каролина.— Но я не представляю себе, как я могу это передать... Все слишком общо... А больше он ничего не прибавил? Могу я на него хотя бы сослаться?

Сесар был удивлен.

— А ты знаешь, я действительно болван. Старик имен-

но так и сказал: пусть сплется на мое имя, оно достаточно авторитетно. Депутат Херардо Ларин не желает даже косвенно быть причастным к гнусному обману. И эту фразу подверг цензуре, мне она показалась слишком выпрепней, но если ты как профессионал...

— Послушай, — Каролина взяла его за рукав, — пойдешь меня здесь.

— Ну, уж нет, — Сесар высвободил свою руку, — я достаточно постоялся здесь, пока ты любезничала с этим долговязым. Моя машина, если хочешь знать, стоит возле отеля «Каррерас».

— Хорошо! — Каролина поцеловала его в щеку и побожала к подъезду.

27

Доп Херардо долго не мог заснуть в эту ночь. Облеченный в теплый стеганный халат, он то расхаживал по просторному холлу, то садился в глубокое кресло и нервно прихлебывал из бокала с «Санта-Ритой» (на сей раз без льда, некому было подать), то снова вскакивал и, ведя мучительный спор с собой и ожесточенно жестикулируя, начинал бегать из угла в угол. Время от времени он останавливался вполоборота к двери и, замерев, прислушивался. Его тяготило, что он во всем доме один: прислуга отпросилась в деревню, а Габриэла, как обычно, где-то болталась. И если бы, например, с доном Херардо случился сердечный приступ, он так и остался бы до прихода дочери валяться на темно-вишневом ковре, как никому не нужная рухлядь.

Впервые, наверно, за всю свою некороткую жизнь доп Херардо не был уверен, что сделал все так, как нужно. Вот как все это произошло. После голосования резолюции о совместной отставке взбудораженные парламентарии стали разъезжаться по домам. Настроение у допа Херардо

было смутное и тягостное. По своей воле он ни за какие блага не стал бы требовать роспуска обеих палат, где у оппозиции имелось такое уютное большинство, тем более всего лишь через полгода после ожесточенной избирательной кампании. Но партийная дисциплина — превыше всего. Оставалось надеяться, что избиратели по достоинству оценят самопожертвование своих депутатов и отдадут им свои голоса вновь. Однако, если уж быть последовательным, надо понимать, что новый состав конгресса не может в точности повторить предыдущий, а это значит, что кто-то из депутатов исчезнет и его место займет другой, свежий, пахнущий уличным холодком. И кто даст гарантию в нынешнее беспокойное время, что этого не случится именно с доном Херардо? Кто знает, как рассудит даже тот состоятельный избиратель, который так охотно голосовал за дона Херардо, знал его лично, нередко был знаком с ним домами и уж во всяком случае помнил шумную историю его женитьбы на первойшей красавице полущария. Все личное обаяние дона Херардо (в котором он был уверен), вся теснота связей и могущество влияния друзей — все это может отступить на задний план. Малейшее поправление в настроениях, микроскопический сдвиг — и трети фракции как не бывало. И все сначала: поездки, выступления, хлопоты, нелепые расходы и трата здоровья... при мысли о новой предвыборной кампании по спине у него пробегал озноб.

Тем не менее дон Херардо, толкаясь вместе с другими законодателями у выхода, с готовностью поддакивал тем, кто называл резолюцию беспрецедентной, исторически мудрой, единственно мыслимой. Были и скептики, уверявшие, что к отставке президента эта резолюция не обязывает, а без ухода Альенде она оборачивается призывом к самороспуску конгресса, что не имеет никакого смысла.

За доном Херардо увязался тот самый, как бишь его, мясник из Национальной партии, владевший холодильни-

ком на Эскобар Вильяме. Фамилию его, что уж грех таить, дон Херардо помнил отлично: полгода назад, витийствуя в кулуарах, он допустил в адрес дона Херардо грубейший выпад. «Все эти ларины и томицы, отбросы Старого Света...» Ну разве можно такое забыть? Фамилия самого мясника Гутьеррес. У дона Херардо и в мыслях не было танцить этого типа к себе домой, но сегодня националисты были настроены особенно благодушно, мясник пристал к дону Херардо, ухватил его под руку, припаялся расспрашивать в извинениях за то, что не удосужился до сих пор заглянуть к нему на вечерок (о том стародавнем своем хамстве он, разумеется, не помнил), и как-то так получилось, что через десять минут они с мясником ехали на Витакура, и дон Херардо с удивлением обнаружил, что называет мясника попросту Пако. Пако сынал непристойными анекдотами, охотно ржал над всеми, даже пустяковыми замечаниями дона Херардо, но вот уже здесь, в холле, куда Пако заскочил на минутку, прежде чем ехать дальше (он подвозил дона Херардо на своем испанском огненно-красном «форде»), — здесь, в холле, за бокалом «Санта-Риты», разговор стал интересным. Дон Херардо поделился с Пако своими соображениями о том, что Альенде вряд ли согласится на предложенный ему вариант.

— Выбрось это из головы, дружище, — развалившись в кресле, ответил Пако. — У Альенде не хватит времени даже задуматься над тем, что сегодня произошло. С потрошителем трупов покончено. Цепочка розовых генералов оказалась короче, чем он ожидал. Красная шапочка не желает больше терпеть.

— Что ты имеешь в виду? — озадаченно спросил дон Херардо.

— А вот что, друг мой. Ты знаешь, что мой зять работает в генштабе? Так вот, от него мне стало известно, что на днях лошадям будет пущена кровь. И главный ветеринар — тот, на кого Альенде больше всего надеется.

Он помянул к себе дон Херардо толстым пальцем и ■
ухо произнес имя.

— Но это же гражданская война! — проговорил пора-
женный дон Херардо.

— Ни в коем случае! — заверил его добродушный
Пако. — Вся армия выступит как один железный человек.
Воевать будет некому и не с кем. Просто — лошадям бу-
дет пущена кровь.

И, довольный своей метафорой, Пако захохотал.

Когда шумный гость наконец уехал, дон Херардо дол-
го сидел неподвижно. Известие это поразило его как гром.
До сих пор он считал, что «Вива Дикарта» и «Армия дол-
жна выложиться на стол кулаки» — это всего лишь оратор-
ские приемы, фигуры для устрашения собеседника, а дело
сведется к парламентским маневрам: отход от Альенде
еще одной партии его блока, либо, на худой конец, пере-
выборы и новый расклад голосов... Даже идея объявления
Альенде неспособным управлять страпой представлялась
ему мошенническим трюком, недозволенным приемом ■
честной борьбе. Альенде вел поединок по-честному, с соб-
людением правил, и был упорным достойным противни-
ком. Да, поединок несколько затянулся, и христианские
демократы засиделись в оппозиции, но это не причина для
того, чтобы пускать в ход топор. Да, если верно то, что
говорит Пако, гражданская война не начнется, но ведь ■
с парламентаризмом в Чили будет надолго покончено.
Если вооруженные силы настолько переродились, то это
будет равносильно вторжению войск диктатуры в демокра-
тическую страну — со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Тогда — прощайте, парламентские дебаты, голо-
сование, распределение мест в конгрессе, предвыборные
кампании, в которых, что ни говори, помимо суеты и тра-
ты здоровья, есть прелесть ожидания, надежд и наслаж-
дение от высокой и умной игры. Порядочных людей, заня-
тых серьезной шахматной партией, хотят захватить врас-

влох, подкрадётся к ним сзади и, с идиотской ухмылкой смешав все фигуры, выложить на стол чугунную гирию. А что будет со страной? Помимо крохи, грязи, слез и проклятий, страна будет ввергнута в хамскую карусель переверотов и путчей, в железные игры взбесившихся от запаха власти офицеров, а все порядочные люди, стоя поодаль, чтобы их ненароком не зашибли, будут уныло наблюдать за этой кутерьмой. И вместо того чтобы снять чисто вымытыми, обращенными к океану гигантскими окнами витрины справедливости, порядка и здравого смысла, страна преобразится в затоптанный сапожниками, захарканный казарменный коридор на задворках Америк.

Открывшаяся перед его внутренним взором перспектива была настолько омерзительна, что дон Херардо содрогнулся. Зачем только он согласился ехать с этим ужасным Пако? С этим громоподобно хохочущим мясником па его огромной сатанинской машине, как бы увлекающей в преисподнюю? Зачем согласился стать совладельцем этой пакостной тайны? А ведь они убьют Альенде, непременно убьют, ликуя и бреча своими идиотскими регалиями. Убьют, да он и не согласится принять от них ничего, кроме смерти...

Дон Херардо не был близок с Альенде, но знал его достаточно хорошо. В течение двадцати пяти лет они чуть ли не ежедневно встречались в конгрессе, в частных домах — хотя бы в «бангало» Фрея, куда Альенде был вхож на правах друга семьи и крестного отца дочери доня Эдуардо, а Херардо Ларин — на правах дальнего родственника. Случалось им и беседовать, но дон Херардо держался при этом нервно, чопорно, скованно, стараясь подчеркнуть свою отчужденность. В неписаной парламентской табели о рангах сенатора Альенде и депутата Ларина разделяла весьма внушительная дистанция: тот — лидер мощной оппозиции, этот — мелкий депутатская сонка. Возможно, именно это раздражало доня Херардо. Он никак не мог по-

пять, в чем сила Альенде, откуда у этого человека такой авторитет. Бывало, их жены-красавицы очень мило беседовали в дамском уголке какого-нибудь салона на Витакуре, а у мужчин разговор не клеился: Альенде был терпеливым, доброжелательным слушателем, но дону Херардо все мнилось, что сенатор «спысходит».

Лишь однажды им удалось установить простой, человеческий контакт. Случилось это в сентябре семидесятого, в тот смутный период, когда Альенде, одержав победу на выборах, ждал голосования в конгрессе, а Ла Мопеду еще занимал Фрей. Шла кулуарная суета: теоретически конгресс имел право проголосовать за любого из трех главных кандидатов, но лидеры всех крупных партий еще до выборов обещали, что признают победу того кандидата, который на выборах получил наибольшее количество голосов. Расчетливый Фрей, порвав все личные связи с Альенде, задумал хитроумную комбинацию: конгресс голосует за Алессандри, тот делает театральный жест и уходит в отставку, назначаются новые президентские выборы, и Фрей остается единственным соперником Альенде, и Народному единству вряд ли удастся повторить свой успех. Стремясь сорвать передачу власти Альенде, какие-то люди стали чуть ли не ежедневно подбрасывать пластиковые бомбы в палисадники Баррио Альто, и жизнь на Витакуре превратилась в настоящий кошмар. Сидишь этак в «диванге», смотришь по телевизору какой-нибудь полицейский сериал, вдруг — грохот, явон стекол, и, не успев понять, что случилось, ты сам становишься пляшущей тенью на потолке. Такая перспектива дона Херардо не устраивала. Инстинкт подсказывал ему, что его «бангало» — очень удобная мишень для бомбистов: Баррио Альто мог спокойно пожертвовать рядовым депутатом-католиком, чтобы затем устроить ему «всемирные похороны» по высшему разряду. Сославшись на резкое ухудшение здоровья дочери, дон Херардо обещал Радомиро Томичу, что вернется в сто





лицу на голосование в конгрессе, и благополучно отбыл в Винья-дель-Мар. Сторонники Томича, к которым принадлежал и депутат Ларин, считали своим долгом выполнить предвыборные обещания и честно проголосовать за Альенде — независимо от желания Эдуардо Фрея.

Многие обитатели Баррио Альто в те дни улаковывали свои чемоданы и, обратив деньги в реальные ценности, улетали в Аргентину, в Мексику, в Венесуэлу. Аэропорт Пунтауэль работал с предельной нагрузкой: за два месяца транспортные услуги такого рода были оказаны семнадцати тысячам семей. Поскольку дону Херардо было нечего обращать в реальные ценности, он выбрал себе убежище поближе. «Чилиец должен жить в Чили, — с достоинством заявил он друзьям, приехавшим его провожать. — Все прочее — аномалия».

Оставив дочку в Винья-дель-Мар под присмотром падкой дуэпы, дон Херардо перебрался в соседний Вальпараисо: ему было надобно закончить миром роман с одной дамой местного полусвета. И вот, однажды утром, благодушествуя у себя в номере отеля «Алькасар», он услышал по местному радио потрясающую новость: на шоссе Сантьяго — Вальпараисо неизвестные лица обстреляли машину Сальвадора Альенде, кандидат в президенты тяжело ранен и в бессознательном состоянии перевезен в один из госпиталей Вальпараисо. «Да, но это же гражданская война! — воскликнул потрясенный дон Херардо — точно так же, как он это сделал сегодня, разговаривая с Пако. — Они определенно сошли с ума!»

Он принялся названивать дону Радомиро, но преуспел в этом и, терзаясь без четких инструкций, помчался в городскую штаб-квартиру Народного единства: надо было как-то определиться, как-то выразить свое отношение к гнусному убийству. То, что Альенде скончается в госпитале, было для него ясно как день: если пули не сделали свое дело, медикаменты его довершат. «Ах, какая ди-

кость, — бормотал он по дороге, не отдавая себе отчета, что его появление в стане противника может вызвать неодобрение дола Радомиро, — какая мерзость!»

Над входной дверью штаб-квартиры висел огромный плакат с портретом Альенде, на котором дон Чичо был похож на кого угодно, только не на самого себя, и с надписью «Командо насиналь». По-видимому, дон Херардо прибыл сюда с выражениями соболезнования одним из первых, поскольку никакого скопления возмущенных горожан у подъезда не наблюдалось, и двое молодых верзил в штатском, скучающе прислонившись к стене, спокойно наблюдали, как дон Херардо, пытаясь от волнения, вылезает из такси. Как понял дон Херардо, это и были те самые головорезы из «Групо де амигос персоналес», о которых рассказывала ужасы правая печать: на их молодых лицах было так и написано, что они — ленивые бойки.

Дон Херардо подошел, с достоинством назвал себя. Один из гаповцев удивленно присвистнул, другой отступил от двери и любезно ее приоткрыл. Дон Херардо почувствовал себя несколько разочарованным: на него не набросились, не выкрутили ему руки, даже не обыскали. «Поразительная беспечность», — подумал он, входя в вестибюль и уже смутно предчувствуя, что делает что-то не то.

В вестибюле было сумрачно и пусто, но из комнаты в глубине слышны были возбужденные голоса. «Ага, — сказал себе дон Херардо, отчего-то обрадовавшись, — волнуешься, голубчики». Но тут раздался взрыв молодого, здорового смеха, под раскаты которого дон Херардо и вступил в логово унелъентос.

В центре комнаты, полной табачного дыма, живой и невредимый стоял Альенде. Он был одет по-дорожному: широкое кожаное пальто параспанку, на нем толстый шарф. Не так давно, в мае, Альенде перенес грипп (что значит слава: об этом пустяковом событии весь мир узнал

из газет) и, видимо, старался себя беречь. Альенде смог — так, как это умел делать только он: нос его покраснел, щеки сделались круглыми и румяными, из глаз текли слезы. Держа в одной руке очки, другою он вытирал глаза и весь при этом трясся от хохота. Юная машинистка, сидя на своем рабочем месте и держа на отлете дымящуюся сигарету, смотрела на Альенде с выражением такого беззаветного обожания, что за один подобный взгляд дон Херардо отдал бы несколько месяцев своей небезгрешной жизни. Еще в этой комнате было двое мужчин, одного из которых, сына генерала Шнейдера, дон Херардо сразу узнал. Молодой человек хохотал, еще не зная, что его отцу осталось жить совсем недолго... Впрочем, не знал тогда этого, разумеется, и сам дон Херардо.

Увидев вошедшего, Альенде перестал смеяться, надел очки, брови его вопросительно приподнялись.

— Прошу прощения, сеньоры, — оскорбленно произнес дон Херардо. — Я, кажется, помешал? Дело в том, что местное радио только что сообщило...

Рене Шнейдер вновь засмеялся, но Альенде строго взглянул на него, и он умолк.

— Благодарю вас, Херардо, благодарю, — с искренним чувством сказал Альенде и, подойдя, обнял его за плечи. — Никакого покушения не было. Чистейшая ложь. Кое-кто очень хотел бы вызвать в городе панику.

Молодые люди поднялись и гуськом вышли из комнаты. Дон Херардо и Альенде уселись в кресла. Очевидно, Альенде понимал, что положение, в котором оказался его гость, немного неловкое, и, стараясь загладить это, оживленно заговорил.

Трудно вспомнить сейчас в точности, о чем они беседовали, скорее всего о незначительных вещах, но Альенде сумел создать обстановку такой непринужденности и простоты, что вся скованность дон Херардо исчезла бесследно. «Вот оно что, — думал денутат, — значит, раньше ты

мог, но не хотел со мной так разговаривать...» Но эта мысль омрачила его лишь на минуту.

Альенде очень изменился после выборов. Он вовсе не выглядел изнуренным, тяжело переболевшим человеком, каким его представлял «Меркурио». Напротив, он даже, кажется, помолодел: морщины разгладились, глаза смотрели ясно и весело, плечи развернуты, изменилась даже посадка крупной, красивой его головы, исчезла напряженность, граничившая с заносчивостью. Чичо стал проще, и с ним стало проще. Всеми силами он старался показать, что благодарен своему гостю за сочувствие, благодарен и тронут, и делал это ненавязчиво и естественно. Разговор становился все более дружеским.

— Скажите, Чичо, — проговорил дон Херардо, придвигая свое кресло ближе и доверительно понижая голос, — вам и в самом деле не страшно? Или же вы просто стараетесь об этом забыть?

Альенде подумал, как бы прислушавшись к себе, потом просто сказал:

— Ну, забыть об этом трудно. Что особенно мучает — это не страх, скорее досада, что так много людей желают твоей гибели. Причем желают, повинувшись словесным инстинктам, хорошенько не разобравшись в том, чего же они на самом деле хотят. «А, марксист, разрушитель традиционных человеческих связей, осквернитель домашнего очага». Ну, какой я, посудите сами, осквернитель очага? Что-то недоработано было в нашей кампании, если люди этому верят. Да, досадно. И обидно было бы погибнуть от руки своего соотечественника.

— Я не соотечественников имею в виду, — сказал дон Херардо, оглядываясь на дверь. — Вы, насколько я понимаю, не отказываетесь от идеи национализации меди? Думаете, грияго вам это простят? У них длинные руки. И особенно им не правится, когда бьют по их карману. Они вам это запомнят.

— Запомнят, конечно, — согласился Альянде, улыбнувшись не столько тому, что сказал дон Херардо, сколько его оглядке на дверь. Дон Херардо сразу это почувствовал. — Но что же прикажете делать? Этот шаг неизбежен. Им самим не понравилось бы, если бы чилийцы держали в руках, к примеру, техасскую нефть. Да, «Анаконда» постарается отомстить. Но ведь не бежать же из-за этого за границу.

— Надо быть больше политиком, Чичо, — наставительно сказал дон Херардо, — а теоретиком — как можно меньше. Президент-теоретик — это опасно. То же самые реформы можно провести постепенно, замедленно, в социал-демократическом ключе. Суть от этого не изменится, поимущие успеют привыкнуть к мысли о неизбежных потерях.

— Мы бы дали им привыкнуть, — ответил Альянде, — но здесь есть и обратная связь: чем активнее они будут пытаться вызвать хаос, тем радикальнее нам придется действовать. Это — логика революции... извините, что я беспокоил вас этим словом.

И Альянде вновь улыбнулся.

— Сами же богатенькие, — продолжал он, — заставляют нас действовать энергичнее. Посмотрите: я еще не в Ла Монеде, а они уже бегут целыми стаями, переводят свои капиталы за границу, инсценируют покушения на себя, чтобы оправдать свое бегство. Это безобразие мы прекратим в самые первые дни. И «Анаконда» не удастся улизнуть без потерь: придется ей раскошелиться. Уверю вас, Херардо: они сами заставят нас поторопиться.

Дон Херардо с удивлением смотрел на этого человека: Альянде сидел, уютно, по-домашнему устроившись в кресле, и говорил спокойным, благодушным голосом, но суров был смысл его слов. Да, «богатенькие», как он выражался, нажили себе последовательного врага.

— Может быть, они надеются, что в трудную минуту

я благополучно удаюсь в изгнание, — продолжал Альенде. — Но это совершенно исключено. — И — жест руки, отсекающий варианты. — Я не могу себе позволить обмануть целый народ.

...Именно в этих словах дону Херардо отчетливо послышалось: «Я не приму от них ничего, кроме смерти». И убийный он будет являться ему по ночам и говорить: «Вы знали об этом, друг мой, а значит, участвовали в этом. Но следует обольщаться».

Тогда дон Херардо и вспомнил о юной своей обидчице из коммунистической газеты, об этой прелестной догматичке, с которой был связан его сын. Пусть там узнают о намерениях, пусть примут меры, если еще успеют: в конце концов, дело даже не в этом, лишь бы совесть его была чиста. Порядочные люди должны всегда предупреждать порядочных людей о злых умыслах хамов: борьба должна вестись честными способами.

Доверять такой разговор телефону было бы безрассудно. Дон Херардо съездил к сыну и вернулся умиротворенный и довольный собой. В гордыне своей дон Херардо, однако, и не подозревал о том, что его имя вовсе не является ключом, открывающим тяжелые врата доверия. В кругах своих политических оппонентов дон Херардо слыл человеком не слишком серьезным, более следующим линейному ходу событий, чем выстрадавшим убеждением. Лишь одна Каролина по достоинству оценила благородное душевное движение дон Херардо, подвигшегося выше мелких личных обид. Но откуда ему было об этом знать?

Тем не менее ближе к ночи дон Херардо стал терзаться сомнениями. Полно, думал он, так ли уж серьезно то, что сболтнул словоохотливый Нако? Ведь нельзя забывать, что националисты — это партия параноиков, они видят желаемое, слепо тычутся в острые углы сущего и, ушибаясь, яростно фыркают и трясут головой. Может быть, Нако просто грезил наяву, когда говорил о предстоящем крово-

пускании лошадям? Кто знает, какие фантазии могут родиться в мозгу оскорбленного действительностью мыслителя? И не клевета ли это на степенного, чинно застегнутого на все пуговицы профессионала, имя которого Пако с таким сладострастием прошептал? Дон Херардо был лично знаком с генералом Пиночетом. Положим, в этом человеке не было сухого благородства Шнейдера, в нем не чувствовалось иступленной, почти молитвенной приверженности правопорядку, которая отличала Пратса. Но не отпечаталась на лице дона Аугусто и грубая, низменная, почти животная сила, столь характерная черта внешности «сильного человека» Вино. Скепсис и опустошенность — вот что читалось в лице дона Аугусто, но не слишком ли это сложно для мятежника, для гориллы, для потенциального убийцы? Не испугался ли дон Херардо со своим жестом театрального благородного отца?

Но, допустим, Пако не преувеличивал, и цепочка розовых генералов действительно оборвалась на Пиночете, и режим Альенде в самом деле повис в воздухе. Разве это предвестие апокалипсиса? Может быть, власть перейдет к молчаливому и деловитому мыслителю в военной форме (каким в армейских кругах слыл дон Аугусто), и этот человек с профессиональным тщанием и обстоятельностью наведет порядок и молча уступит свое место лицам, облеченным доверием нации? Тогда в каком свете будет выглядеть имя христианского демократа сеньора Херардо Ларин Эррасуриса, и в каких целях будут этим именем пользоваться? Почему он должен полагаться на деликатность своих оппонентов? Почему он так безоглядно им доверился? Да еще прибегнув при этом к посредничеству трюкотки из «Сигло»? И как отнесся бы ко всему происшедшему дон Радомиро? Не исключено, что он счел бы пужным заметить: «Любезный дон Херардо, к чему такая нервность, такая суета? Что вы хотели предотвратить? Не сам ли режим сеньора Альенде настойчиво навязывал нации чуж-

дую ее духу концепцию? Не сам ли он пришел к такому положению, когда нация взбунтовалась? И не сам ли режим, который вы хотели спасти от гибели... да, да, именно так, надо называть вещи своими именами,— так вот, не сам ли этот режим predetermined свою собственную гибель и привел к необратимым мутациям в вооруженных силах? Ход истории имеет свою логику, и отменить ее полными упражнениями нельзя. А вы, почтенный дон Херардо, пытались сыграть роль бога из театральной машины. Ну не тщеславие ли это, посудите сами».

В разгар этих горестных размышлений, когда одна бутылка «Санта-Риты» опустела и на столике появилась другая, дон Херардо услышал рев мотора возле гаража. Ну, разумеется, это была дочурка Габри. Когда Габри загоняла машину в гараж, она так газовала, что ее маленький «рено» ревел, как армейский грузовик.

— Папочка, ты не слишком увлекся? — спросила Габри, появившись на пороге.

— Я? Нет,— расслабленным голосом произнес дон Херардо, сидя в кресле и не оборачиваясь.— Подойди сюда, маленькая моя.

Габриэла подошла с пустым бокалом, налила себе вина и, забравшись с ногами в свое покрытое воренстой шкурой кресло, поднесла бокал к губам. Умные глаза ее смотрели поверх стекла на отца.

— Дочка, как ты думаешь,— пролепетал дон Херардо,— твой папуля достойный человек?

— Ну, конечно,— с усмешкой ответила Габри,— достойный и пьяненький.

— Странно,— прислушиваясь к себе, искренне изумился дон Херардо,— и в самом деле... пока я был один, я был совершенно трезв и много думал... а как только пришла моя дочурка, и сразу же захмелел.

— И с улицы,— объяснила Габри,— на улице дивно. Такой туман, и весь пахнет яблоками.

Дон Херардо потянул носом воздух.

— Да,— согласился он,— ты и в самом деле вся пропахла яблонями. Боже мой, какая же ты юная... Скажи мне, ты не боишься?..

— Ездить одна по городу? ночью? Нет, не боюсь. У меня на всех перекрестках столько защитников, что не знаю, как от них отвязаться.

— Я, правда, хотел спросить, не боишься ли ты бросить меня вот так, одного,— грустно произнес дон Херардо.— Но не будем об этом. Скажи, а этот твой Рикардо, он, как бы это спросить...

Дон Херардо пошевелил в воздухе пальцами.

— Ты хочешь спросить, достойный ли он человек? — насмешливо сказала Габриэла.— Да он просто импотент, папа.

Дон Херардо поперхнулся и закашлялся, струйка вина потекла по его подбородку, он поспешно вытер ее рукой.

— О господи,— пробормотал дон Херардо.— Значит, дело зашло так далеко...

— Ты неправильно меня понял, папа. Не волнуйся, твоя Габи не так уж глупа. Просто Рикардо ни на что не способен. Я в нем ошиблась.

— Так, значит, ты не выйдешь за него замуж?

— Ни в коем случае, папа. Я его презираю. Если уж выходить замуж, то за того, кого ненавидишь.

— Вот как? — Дон Херардо удивился.— Оригинальная мысль. Впрочем, может быть, ты оговорилась?

— Нет, я сказала то, что хотела,— Габи поставила бокал на стол. Видно было, что она не шутит, лицо ее порозовело от оживления.— Брак по любви — смертельно скучная вещь. Любовь проходит, остается привычка говорить умильным голосом и делать друг другу любезности. О, ненависть — другое дело, со временем она только крепнет. А сколько изумительных возможностей метить и мучить,

мучить и мстить человеку, который уже никуда от тебя не денется! И презирать его, презирать, презирать...

Дон Херардо смотрел на дочь во все глаза: в ее голосе звучало неподдельное чувство.

— Габи, малышка... — пробормотал он. — Но это уже какая-то патология...

— Ошибаешься! — жестом остановила его Габриэла. — Тысячи женщин находят в этом свое счастье, уж я-то знаю. Они счастливицы, их сразу выделяешь в толпе. Их лица никогда не стареют, глаза всегда ясны, губы не устают улыбаться...

— Кого же ты так ненавидишь? — спросил дон Херардо, и в голосе его промелькнули снисходительно-горделивые потки отца, который любит себя своим дурачащимся ребенком и весело подыгрывает ему.

Но Габи не была расположена продолжать разговор: она сказала все, что хотела, и испытывала теперь облегчение и одновременно досаду.

— Ты спать собираешься? — спросила она, поднимаясь.

— Побудь со мною, дочка, — поспешно сказал дон Херардо. — Мне что-то не по себе.

Габи вздохнула и вновь забралась с ногами в кресло.

— Только недолго, — предупредила она.

— Ну, разумеется, — покорно согласился дон Херардо.

И как-то само собой получилось, что он рассказал ей обо всем, что с ним сегодня произошло. Дочь слушала внимательно, не перебивая, только все время морщилась, как от боли.

— Ну, и зачем ты это сделал? — спросила она, когда отец умолк.

— Сважи, а тебе не жаль Альенде? — вместо ответа спросил дон Херардо.

— А почему я должна его жалеть? — пожав плечами, ответила Габи. — Побыл президентом — и хватит. Угроет-

ся в посольство, потом сядет на самолет и улетит. Не он первый, не он последний. Вот тем, кто ему служит из принципа... вот за ними действительно начнется охота.

Они помолчали, не глядя друг на друга, думая каждый о своем.

— А я уверен, что он никуда не улетит... — сказал наконец дон Херардо.

— Кто? — Габи посмотрела на отца с недоумением. — Ах, Альенде... И что он этим докажет?

— То, что с ним поступают бесчестно.

Габи усмехнулась.

— Старый идеалист, — сказала она. — Все-то у тебя либо честно, либо бесчестно. Шел бы ты лучше спать.

28

Около полуполночи в резиденции на Томаса Мора был подан ужин. Донья Ортенсиа и Чабела накрыли на стол, затем хозяйка пошла в библиотеку и пригласила мужчин в столовую.

Минут через пять из библиотеки вышли министр обороны Лестельер и министр внутренних дел Брионес, советник Хоан Гарсес и Перро, за ними, чуть замешкавшись, Альенде.

— Поздний ужин, — пробормотал Оливарес, усаживаясь, — как это изысканно! А для меня это еще и сегодняшней обед.

Перро, как и в день «Тапкасо», был одет «для войны»: только куртку милисиано, неудобную для кабинетной работы, он сменил на свитер. Похоже было, что этот большой ребенок играет в войну, не наигравшись досыта в детстве.

— Профессор утомлен, — говорил он, лукаво поглядывая на советника Гарсеса. — Довольно странно: неужели в Сорбонне профессор читал только утренние лекции?

Хоан Гарсес чинно, по-европейски ел и отмалчивался,

только сдержанно улыбался. Он и в самом деле был профессором Сорбоннского, Оксфордского, Мадридского и многих других университетов Старого Света. С Чили его связывало двойное (испанско-чилийское) подданство.

Оба министра тоже выглядели утомленными, в отличие от Оливареса и Альенде. О президенте говорили, что своей способностью работать с рассвета до рассвета он вогнал в инфаркт не одного сотрудника аппарата.

Одетый по-домашнему, в светлом свитере и темных брюках, Альенде был сегодня особенно бодр и подтянут. Против ожидания, он много говорил за столом, громко говорил, энергично жестикулируя, перебивал собеседников. Чем-то этот ужин напоминал прощальный: Альенде и Оливарес похожи были на отъезжающих, которые возбуждены предстоящим и не могут этого скрыть, остальные же смотрят на них с болью и грустью. Тенча давно не видела мужа таким: непривычная резкость его, темный румянец на щеках, напряженный и в то же время отсутствующий взгляд — все говорило ей, что Чичо принял окончательное решение, взволнован этим и не совсем доволен собой.

За столом обсуждалась детали завтрашнего президентского обращения к народу, над текстом которого мужчины работали с восьми часов вечера. Президент решил: вопреки решительным возражениям Альтамирано он собирался объявить завтра нации о предстоящем плебисците. Альтамирано угрожал самыми жесткими ответными мерами, вплоть до выхода из коалиции. В течение недели соратники по Народному единству, включая и Корвалана, и министров от его советственной партии, так и не смогли уговорить его признать очевидное: только прямое обращение к народу посредством плебисцита могло теперь предотвратить переворот. Флотское командование решительно и откровенно порвало с Народным единством, из повиновения вышло командование военно-воздушных сил.

На всенародное голосование предполагалось вынести

вопрос о трех секторах экономики (государственном, частном и смешанном), который был главным пунктом разногласий между конгрессом и правительством. Если народ поддержит правительство и скажет «да» продолжению процесса преобразований (а смысл плебисцита именно в этом), президент получит право распустить конгресс и назначить срок внеочередных парламентских выборов. При любом исходе плебисцит срывал планы переворота: ответ «да» делал путч невозможным, «нет» — ненужным.

Кроме того, в текст завтрашнего обращения включались объявления о мерах экономического характера и о самых решительных мерах против фашистских террористических групп. Министру юстиции Серхио Инсуэре поручалось разработать проект положения, призванного замесить «Закона о контроле над оружием».

Тепча и Чабела молча слушали, стараясь не мешать мужчинам. Неожиданно Чабела спросила:

— Папа, а военным известно, что ты решился на плебисцит?

— Думаю, что нет, — остро взглянув на дочь, отозвался Альенде. — Этот вопрос их не должен касаться.

— Если путчисты узнают об этом, — заметил Хоан Гарсес, — они постараются нас опередить.

— Что касается сухопутных сил, то, насколько мне известно, они заняты подготовкой к Большому параду, — продолжал Альенде. — Для Пипочета вопрос личного престижа, чтобы все прошло, как в добрые старые времена. Он очень огорчен необходимостью экономить горючее.

— Армия готовит для себя Большой парад, чтобы потешить свое самолюбие, — сказала Чабела, — а мы что же? Или у нас самолюбия нет? Мне как социологу не доставит удовольствия созерцание лиц под касками, и танки я не влюбила — после «Танкасо». Неужели мы не можем придумать что-нибудь более жизнерадостное? Ну, хотя бы студенческий карнавал, посвященный празднику весны.

— А что ж, это идея,— быстро проговорил Альенде.— Надо предложить Пиночету заменить парад карнавалом. Я думаю, он будет счастлив. И горючее останется целым.

— Пусть пехотинцы пройдут по городу пешком, в белых туниках,— подхватил Оливарес,— а то привыкли ездить на грузовиках. И пусть наперевес несут яблоневые ветки...

— А офицеров нарядить фавнами,— добавил Гарсес.

Оливарес захохотал, и в это время в соседней комнате одиноко и жалобно зазвонил телефон. Наступила тишина. Извинившись, Альенде поднялся из-за стола и вышел.

Минуты через две он вернулся в столовую. Брионес, Гарсес, Летельер, обе женщины — все с напряженным ожиданием смотрели ему в лицо. Лишь Оливарес с преувеличенной жадностью ел.

— Орландо,— сказал президент, не садясь,— что за передвижение войск может быть сейчас в Сан-Фелипе?

Орландо Летельер нахмурился и ответил не сразу.

— Для мятежа рановато,— пробормотал Оливарес, посмотрев на часы.— Не собираются же они свергать нас в темноте.

— Я полагаю, президент,— сказал Летельер,— это генерал Пиночет принимает меры предосторожности. Я вам уже говорил сегодня днем.

Альенде постоял, в задумчивости потирая пальцем нос. Действительно, сегодня утром Пиночет нанес визит министру обороны и, предъявив газеты с текстом вчерашней речи Альтамирано, высказал предположение, что эта речь может обострить обстановку в Вальпараисо. Как раз завтра утром военный трибунал Первой военно-морской зоны должен вынести решение по делу Карденаса, и это может вылиться в кровавые столкновения. Летельер напомнил Пиночету, что завтра на рассвете эскадра уходит из Вальпараисо на маневры. На это командующий возразил, что часть соединений Первой зоны, наиболее непримиримая, в част-

лости морская пехота и флотская жандармерия, остается на берегу. В связи с этим Пиночет предложил, не дожидаясь репетиции Большого парада, намеченной на четырнадцатое, в порядке предосторожности раздать столичным и пригородным частям амуницию и привести в порядок транспорт и тяжелое вооружение. Подумав, Летельер признал эти меры разумными и, отпустив Пиночета, поставил об этом в известность президента.

— И все-таки,— после паузы сказал Альенде,— не лишне будет навести справки.

В час тридцать Брионес и Летельер уехали, Перро и Гарсес пошли в коттедж почевать. Ортенсия и Чабела, сидя в гостиной на диване, негромко разговаривали о своем. Судя по интонации, дочь жаловалась на что-то личное, мать ласково и в то же время суховато, как провинившуюся, но прощенную, ее утешала.

Оставшись один, Альенде крупными шагами ходил по библиотеке и время от времени, останавливаясь, задумчиво оглядывал книжные полки.

«И тихо иду по коврам сповидений,— звучали у него в голове прелестные строфы из «Ночной коллекции» Пабло Неруды,— вишняясь зубами в свечение сочного мака...»

«В свечение сочного мака»... Запороживающая мистика слов. Какая жалость, что судьба не одарила его ни одним талантом — кроме единственной печальной способности искренне, от души, из самых чистых побуждений совершать непоправимые ошибки...

Сегодня он мог сказать себе прямо: твоя вина, Чито, в том, что Народное единство является единством лишь номинально. Ты не види других вишневых: замороженный радужным мирражем плюрализма, ты переоценил совещательность, дискуссионность как стиль руководства. В разногласиях рождается истина... да так ли это? Не тонет ли она в разногласиях, как потонула в жарких спорах Политического комитета Народного единства жизненно важная

мысль о том, что задачей правительства является не переход к социализму, а лишь создание условий для такого перехода... и это вылилось в утрату перспективы. Слишком много времени Политический комитет тратил на мелкие согласования проектов решений, на консультации и обмен мнениями. И даже принятые решения расходились по стране нечеткими, расплывающимися кругами: было признавать это, по правящий блок за три года так и не сумел создать единую по всей стране систему центральных и низовых организаций Народного единства. Если в Политическом комитете царил разногласия по самым важным вопросам, легко представить себе, какая неразбериха творится на местах.

Стремясь заставить своего партнера по конституционному соглашению соблюдать «правила игры», ты воздействовал на него только своей добросовестностью, забывая или стараясь не думать о том, что в понятие «заставить» входит и волевое, силовое начало, предполагающее наличие средств принуждения — средств, которые, пусть даже они и не пущены в ход, тем не менее самим фактом своего существования побуждают партнера соблюдать договоренность. И вот теперь, когда чудовищный парыв, о котором предупреждал тебя Арайя (да только ли он!), с минуты на минуту может прорваться, все разговоры о миллионной армии трудящихся, готовой по первому зову... и так далее — вся эта успокоительная болтовня начинает звучать как бессмыслица. Ты сам не допустишь, чтобы эта безоружная армия вступила в тотальную войну с вооруженными силами. Достаточно было противнику это почувствовать — и он обмяк. Противник умен, он понимает, что сейчас твоя единственная цель — выиграть время, дожидаться изменения сил на законодательном фронте, чтобы поставить наконец вопрос о полноте власти...

И все же есть надежда, что трудное время благополучно миует. Военный флот и авиация ненадежны, озлобле-

ны, но есть же в армии здоровые силы, которые по-прежнему олицетворяют устойчивость конституционного процесса. Но-видимому, правы были те советники, которые полагали, что армия на поляризацию не пойдет. Есть Брэди, есть Паласиос, есть Аугусто Пипочет, есть корпус карабинеров Хосе Сепульведы, в решающую минуту они должны сказать свое слово и остановить, если надо, морских пехотинцев Мериньо и парашютистов генерала Ли. Только не дать захватить себя врасплох, а еще лучше — заблаговременно показать путчистам, что республика не беззуба. А плебсцит выбьет почву у них из-под ног...

Альенде остановился, прислушался. В гостиной было тихо: Чабела, выликая свои горести, ушла, наверно, к себе, а Тенча — в спальню, где на стене чернеет железное распятие, оставшееся от его матери...

В проходной слышны были мерные шаги: там возле телефона, стараясь не заснуть, ходил взад-вперед почтой дежурный. На веранде возле низкого плетенного столика вздыхали во сне Ака, верная добрая пенна... Все было тихо вокруг, погашены окна в коттеджах, молчал влажный сад... но где-то далеко, у Сан-Фелипе, шла неясная еще война, и это требовало выяснения.

Альенде поднял телефонную трубку.

— Соединитесь с резиденцией командующего сухопутными силами и сообщите, что президент будет звонить через час.

Десять минут спустя Хосе доложил, что телефонистка разговаривала с самим командующим. Генерал Пипочет, видимо, был разбужен звонком и не совсем внятно ответил, что готов выслушать распоряжения президента.

Альенде не мог предполагать в этот поздний (или уже ранний?) час, что дои Аугусто, после бессонной ночи, готовился к выезду в Центр связи сухопутных сил, который должен был стать штабом переворота, и звонок с Томаса Мора смертельно его напугал.

Всю ночь деп Аугусто метался как в лихорадке, пересчитывая варианты. А что, если Брэдн, Паласиос и Арельяко, которых он вчера посвятил в свои планы, решили не рисковать, выдали его контрразведке правительства и к его подъезду уже подползает с притушенными фарами машина, полная людей Жуапьяпа? Напрасно он не отправился ночевать к сыну... Впрочем, они бы его и там напзли. А может быть, как это часто бывает на маневрах, кто-нибудь из первых его соучастников поднял свое соединенное рапыше времени и в столице объявляла тревога? А что, если в зоне Каламы, за которую он всегда был беспокоен, полувоенные отряды сольются с гарнизоном и там будет создан укрепленный район? А потом туда стекутся марксисты со всех концов страны, и мятеж захлебнется... А может быть, полувоенные группы «индустриальных кордонов» Сантьяго ставят сейчас на шоссеиных дорогах баррикады из тяжелых грузовиков и наружное кольцо не сомкнется вокруг столицы?

Пипочет знал, что эскадра Мериньо уже вернулась в Вальпараисо и там, наверно, идут бои. Знал, что «хоукер хаштеры» генерала Ли уже стоят заправленные на взлетных полосах и ждут сигнала к началу ракетной атаки на Ла Монеду. Но черт его знает, этого идиота Мериньо, может быть, он завяз при высадке, был встречен шквальным огнем? Черт знает и этих бездельников-летчиков, вечно у них перед вылетом обнаруживаются неполадки...

Пипочет знал, что достигнута тайная договоренность с корпусом карабинеров и гарнизон Ла Монеды, не повиная приказам генерального директора, перед началом атаки будет снят со своих постов. Во дворце останутся только сам президент и два-три десятка его телохранителей и приверженцев. Но кто знает, возможно, в одной карабинерской такетке Альеде улизнет из дворца — с тем чтобы создать очаг сопротивления в самом неожиданном месте... А вдруг он и вовсе не явится утром в Ла Монеду?

Но тогда... тогда надо срочно предупредить Ли, чтобы нападению с воздуха была подвергнута и резиденция на Томаса Моро... Как скверно, как скверно, терзался дон Аугусто, что этот человек отказался переехать со всем правительством в бункеры Центра связи... Все было бы легко и просто тогда. Но, видимо, мы чем-то выдали свое нетерпение...

Поговорив с телефонисткой резиденции (у него еще хватило самообладания говорить хриплым, сонным голосом... но какая фраза была им произнесена, он даже не пытался вспомнить), дон Аугусто дрожащей рукой положил трубку на ночной столик и некоторое время сидел на постели в неподвижности, оцепенело глядя в пространство. «Знает, все знает», — пульсировало у него в голове. — Пропало все, карьера, жизнь — все загублено...» Он приложил ладонь к ледяному лбу, постарался сосредоточиться. Что за неестественный, странный звонок... час времени отведен, чтобы оставаться на месте... Нет, но тогда зачем же предупреждать? Через час можно оказаться возле границы... А может быть, на этом и строится западня? Вспугнуть, перехватить на дороге — других улик и не требуется!

Ночные звонки Альенде были ему не новы. В тот вечер, когда отставка Пратса была уже решена, дон Аугусто колебался, остаться ли ночевать дома. Остался — и был застигнут президентским звонком. Но не таким, как сейчас, стократ ужаснее: «Минут через десять у вашего подъезда будет машина. Вас ждет президент». Дон Аугусто никогда не забудет, каким он увидел Альенде в ту ночь. Весь в черном, как Мефистофель, смертельно бледный, Альенде шел рядом с доном Аугусто на диван и, пристально глядя ему в лицо, начал тихо и быстро о чем-то говорить, задавая вопросы и сам же на них отвечая. Речь шла об олигархии, о справедливом распределении благ, о толковании термина «экономические границы»... Дон Аугусто его почти не слышал. Мозг его жгла одна мысль: «Сегодня я был в

Военной академии, просматривал карты и письменные инструкции командирам колонии. Наверно, все дело в этом». О боже, что он лепетал тогда... и вдруг, совершенно не к месту пригласил президента на штабные учения, которые состоятся, как сорвалось у него с языка, «в приемлемое для вас, президент, время». Ему хотелось связать это приглашение со своим посещением Военной академии, но он не успел. Альенде удивленно замолчал, затем поблагодарил — и перевел разговор на другое. Так и остался дон Аугусто в сомнениях: то ли он сумел опередить вопрос президента, то ли пеленгойшим образом выдал себя.

...Узнай Альенде об этих терзаниях дона Аугусто, он задумался бы: а где же самооправдание изменника? Чем объясняет он для себя свою подлость, которой нет оправдания? И это был бы ложный вопрос: в душе дона Аугусто не оставалось места для моральных терзаний — во всяком случае, не больше, чем в душе звероящера, который, оцетинясь шипами и роговыми пластинами и не спуская глаз со своей жертвы, готовится сделать верный прыжок.

29

Мануэла лежала на бетонном полу, подложив под голову свернутое попопо, и широко раскрытыми глазами смотрела в темноту. От холода невозможно было заснуть. Слышно было, как вздыхают и ворочаются, пытаются как-то съежиться и согреться, девочки. Одна только Тереса, крупная пожилая женщина, ровно и глубоко дышала в своем углу. Чипита завидовала ей: как она может так безмятежно спать? И холод ей ни о чем, и мысли о детях ее как будто не допинают. А может быть, как раз в этом спокойствии и есть высшая мудрость: не помогут же ее детям вздохи и слезы... Может быть, именно у таких простых людей и надо учиться терпению. Но «терпение»... Какое

тоскливое, какое церковное слово. Мануэла его неавидела.

Если долго смотреть, внутренность помещения пачинала наполняться сероватым, как зола, светом. Голые стены, потолок, такой же грязный, как пол, длинное, во всю стену, окно на высоте плеч. Сквозь окно не видно неба: стекла, заbraнные решеткой, закрашены снаружи масляной краской. Сколько дней они здесь? Восьмое, девятое, десятое, только три дня, а кажется, что три года... Каролина, наверно, уже с ног сбилась, ее размышлявая. А может быть, Каролина ничего не знает? Занята своими газетными делами? Как же тогда Лус?

Совсем недавно, неделю назад, она возила Лус на детский фестиваль. Для ребятнишек Сан-Хуана был выделен автобус. Мест хватило, конечно, не всем: мальчишки остались стоять в проходе, Лус сидела на коленях у «мамы». Всю дорогу Мануэла рассказывала детям, чтобы они не шумели, как живут их сверстники на Кубе. Вдруг она услышала, что Лус тихонько всхлипывает.

— Ты что? — удивилась Мануэла.

— Ну да, — отвечала, давясь слезами, Лус, — скоро ты уедешь на свою Кубу, а у нас тут начнется война.

— Никакой войны не будет! — заверила ее Мануэла, и разговоры в автобусе прекратились: дети ждали, что ответит Лусите сестра. — Все будет очень хорошо... если мы не дадим в обиду дедушку Альенде.

И по ее команде ребятники стали дружно скандировать:

— Альенде, Альенде, лос ниньос те дефьенден! Альенде, Альенде, дети тебя защитят!

На площади Конституции собрались тысячи нарядно одетых детей из предместий. Положим, все их праздничные платья и костюмы были перешиты из родительских обносок, и все же в этой шумной толпе с трудом угадывались замарашки и оборвыши, копошившиеся в будние

дии на пустырях и свалках окраин. Ватага из Сап-Хуапа шумно захопала в ладоши, когда Нья Пруса поднялась на трибуну и звонким голосом пачала читать послание детей Сантьяго президенту Альепде, кардиналу Энрикесу, генералу Пиночету.

— Мы, дети Сантьяго,— читала Каролина,— хотим жить в мире, хотим продолжать жить!

И все-таки сердечко Лус томилось в тревоге.

— Мама,— сказала она пепотом,— а если будет у нас войпа, то мы с тобой пойдем убивать друг друга?

— Да что ты все заладила «война» и «война»? — сердито отвечала Мануэла. — Ну, скажи, кому нужна война? Крестьянам воевать некогда, они работают на полях. Рабочим воевать тоже некогда, они заняты на фабриках и рудниках. Война никому не нужна. Видишь, все дети, сколько их есть на площади, вместе хлопают в ладоши, и никто не хочет ссориться.

— Дети не хотят,— возразила Лус,— а солдаты хотят. И ничего с ними не сделаешь.

— Солдаты тоже запяты,— сказала Мануэла,— они защищают родину.

— Все время?

— Все время.

— И даже ночью?

— И ночью тоже.

Лус вздохнула и перестала изводить «маму» вопросами. Мануэла знала, откуда это идет: это Мария Эстела, чтобы забыться, прикладывалась к горлышку бутылки, а выпив, бормотала: «Господи, хоть бы скорее гражданская война, хоть бы скорее вы все поубивали друг друга...»

Концерт сестренке очень понравился. Выступали знаменитый Пин Пон, певица Пачи, ансамбль «Лос Чемитас», кукольный театр Технического университета... Восемь лошадок из цирка «Лас Агилас Уманас» играли на площади в футбол, плясали комические марионетки, валял дурака

и получал затрепанные паяц. Самоубийцы-акробаты выделялись пируэты на не очень большой высоте. А в заключенный хор «Дети и родина», находящийся под шефством корпуса карabinеров, пел: «Мы друзья, мы братья, даже когда деремся...»

У Мавуэлы щемило сердце, когда вокруг дружно смеялись и визжали в ответ на незатейливые шутки клоунов. Что-то тревожное было в тоне всего фестиваля, в его отчаянном миролюбии... но выразить это словами Чипита не могла.

В конце праздника к ним пробралась Каролина.

— Ну, как, девочки мои, — спросила она, глядя Луситу по голове, — правится вам здесь?

— Очень! Очень! — сияя, отвечала Лусита. — Ты здесь самая главная, правда? Ты все это придумала?

Каролина засмеялась невеселым смехом, и Мавуэла искоса взглянула на нее. Она понимала, какого труда стоило обеспечить безопасность на площади: вокруг фестиваля, как мухи над сладким, вились неприметные людишки со смертью в глазах. Откуда их взялось так много?

Концерт закончился, и дети толпами хлынули с площади. Мавуэла собрала своих подопечных, пересчитала их, заставила взяться за руки, пошла к автобусу.

— Тебе помочь? — спросила Нья Пируса.

— Иди сюда, чтобы никто не отстал.

В толкотне они довели детей до старенького, расшатанного автобуса. Мальчишка постарше Чипита послала к передней двери (которая, разумеется, не закрывалась) следить, чтобы никто не выскочил с той стороны, сама стала подсаживать младших. И тут обратила внимание на то, что у заднего бампера, прислонившись к автобусу боком и по-птичь озираясь, стоит худощавый низкорослый парень.

— Эй! — крикнула Чипита, еще не веря. — Ты что здесь делаешь?

В руках у парня была грязная тряпка, от которой резко пахло бензином, но тряпке бежал светлый, почти бесцветный огонь.

— Ах ты, подонок! — вскрикнула Чинита и, выхватив у него эту тряпку, принялась хлестать его по лицу. — Вот тебе, вот тебе, грязный трус!

Нарень закрывался руками и вился к толпе.

— Открой лицо! — кричала Чинита. — Ну, открой же лицо, что ты боишься? Погляди детям в глаза!

— В чем дело? — спросил, подбегая, боец социалистической милиции.

— Этот негодяй... — задыхаясь, Чинита продолжала хлестать парня справа налево, — этот негодяй... он засовывал горящую тряпку вои туда!

Она никак не могла вспомнить, как может называться входное отверстие бензобака. Получив передышку, нарень бросился было прочь, но дежурные, подоспев, схватили его под локти. Опустив руки, Чинита уронила тряпку и заплакала.

— Ну, ну, — обняв за плечи, утешал ее боец. — Ты смелая девочка, что же ты плачешь?

Но Мануэла продолжала плакать, повторяя: «Сжечь хотел, сжечь...»

...Тереса заворочалась и застонала. Чинита, стараясь не шмыгать носом, вытерла пальцами бегущие по щекам слезы. Слышно было, как за дверью поскрипывают по бетонному полу тамбура ботишки часового. Гаунтвахта аэродромной роты — вот как это называется. Постыдились бы ставить солдата стеречь жепции, закрыли бы дверь на ключ — и все. Так нет, торчат там, сменяются, бездельники в сидих касках, перемипаются с ноги на ногу, воображают, что делают важное дело. Один так ухитрился просверлить в двери дырочку, подглядывал потихоньку, все надеялся, наверно, увидеть такое, чего в жизни не видал. Девчата стали затыкать эту дырочку бумагой, но он ее

выскакивал назад. Пожаловались офицеру, и это безобразно прекратилось, но зато часовые стали злые как звери, в туалет выпустить — не достучишься. Кричат: «Ходите все гурьбой, потаскуники, а то потом будете вопить, что вас здесь поодиночке насилуют!»

Допрашивали по два раза в день в соседней комнате. Там хоть на стул можно присесть, а то на полу сидеть — ноги затекают. Допросы вели офицеры в зеленых мундирах. Всего таких допросов было шесть. Каждый раз, когда Мануэла возвращалась в «общую залу», девушки, сидя на полу, с напряжением вглядывались ей в лицо: били? не трогали? О допросах в казармах мореккой нехоты ходили страшные слухи: рассказывали, что после таких допросов нечего было даже предъявлять родственникам, тела вывозили в мусоросборочных машинах и где-то сбрасывали в море или закапывали в песок. Но то было в зоне Вальпараисо, в царстве адмирала Мерино. Здесь же, в «Эль Боске», к девушкам не прикасались и пальцем, кормили хоть и просто, фасолью и хлебом, но сытно.

Около двери на полу стопочкой были сложены книги — если это можно было назвать книгами. Мануэла перелистывала их из любопытства (что читают штрафники «Эль Боске?»). Это были «Воспоминания повстанческого капитана», написанные беглецом с Кубы Жаком Ллагосом, журналы комиксов «У-2» («для детей старше двенадцати лет, которым нравится увлекательные военные приключения») и прочая ерунда.

На первом допросе, после бессонной ночи с седьмого на восьмое, когда девушки, потрясенные всем происшедшим, то начинали плакать, то пели, то лихорадочно болтали, то хором кричали: «Отправьте нас по домам! Вы не мужичины! Отправьте нас по домам», — так вот, на первом допросе Чинита, подавленная страшным, фантастическим сознанием того, что ее, без пяти минут студентку, допрашивают члены военного трибунала (ей почему-то казалось,

что это уже военный трибунал), подавленно отвечала на каждый вопрос. Естественно, при этом она не называла никаких имен и придерживалась тщательно продуманной версии.

— Никого на фабрике толком не знаю, так как год не работала, пришла проведать старых друзей и заодно узнать, нет ли возможности поступить на работу.

Ей показалось непужным говорить, что она едет учиться в Гавану: а вдруг попадется отъявленный лутчик? Такие при слове «Гавана» звереют.

Густоволосый, не моргнув и глазом, принял ее объяснение, а затем оба допрашивающих с холодным, насмешливым любопытством на нее уставились.

— Так, значит, вы ищете работу, сеньорита? — спросил густоволосый.

— Да, я сейчас безработная.

— Ну, это, разумеется, многое объясняет. А почему вы хотите вернутся на фабрику, которую сами покинули год с лишним назад?

Мануэла объяснила, что тогда дела на Меру были совсем плохи: переходный период после национализации, а сейчас, как говорят, поправились.

В «общей зале», пережив запово все перипетии первого в жизни допроса, Чинита устыдилась своей робости («Да что они, в конце концов, ведут себя, как оккупанты? Какое вообще у них право меня допрашивать?») и решила действовать по-другому.

В том, что рано или поздно ее освободят, она не сомневалась: стрелять она в жизни никогда не стреляла, ее, как и других женщин, бросавших в солдат камни и кричавших «Убирайтесь! Фашисты!», просто загнали прикладами в автобус. Единственное, к чему они могли подкопаться, — это то, что она работала с фабричными комсомольцами, но в этом как раз ничего противозаконного не было, хотя и неприятного для этих господ — тоже.

Поэтому на втором допросе Чинита наотрез отказалась отвечать и потребовала немедленного освобождения.

— Имейте в виду, — дерзко сказала она, — вам еще придется передо мной извиняться.

Офицеры переглянулись, плешиный гадко усмехнулся, а густоволосый сказал:

— Мы охотно извинимся за все причиненные вам неудобства, сеньорита, если убедимся, что вы ни в чем не замешаны. Но, увы, вы сами заставляете нас подозревать, что все не совсем так, как вы в прошлый раз говорили.

Гордо отвернувшись, Мануэла молчала.

— Вы уверяете нас, что пришли искать на фабрике работу, вы, студентка Гаваисского университета? Это заставляет нас подозревать что-то очень нехорошее. Или, быть может, вы разочарованы учебой в Гаване? Вас там плохо кормят? Хуже, чем здесь? Если так, мы немедленно отправимся в офицерскую столовую, и военные летчики с удовольствием послушают ваш рассказ.

Плешиный улыбался. Чинита молчала.

— Значит, вы довольны учебой на Кубе? Тогда ответьте нам, с какой целью вы появились на территории фабрики Леру. И ответьте так, чтобы мы вам поверили и немедленно вас отпустили.

Мануэла молчала.

Обдумав за ночь все хорошенько, она пришла к выводу, что совершила ошибку: ей нечего скрывать, что она едет учиться на Кубу, — напротив, она может с гордостью заявить об этом кому угодно, пусть даже самому убежденному путчисту.

— Да, я, Мануэла Сото Рамирес, дочь простого чилийского рабочего, буду учиться в одном из лучших университетов мира, и стану учительницей, и стану учить детей бедняков. Я не сказала об этом сначала, потому что не хотела, чтобы вы впутали это в ваши грязные домыслы. Я чилийская комсомолка и пришла на фабрику Леру, чтобы

встретиться со своими товарищами по организации. Ваш налет застал меня там совершенно случайно. Может сколько угодно искать здесь состав преступления, вам это не удастся. Я требую, чтобы мне дали возможность встретиться с моей сестрой. Я хочу поставить в известность президента республики о том, что здесь происходит. И больше до своего освобождения я не отвечу ни на один вопрос.

— А вот у нас иные сведения, — возразил волосатый. — То, что вы сейчас заявили, несколько приближает нас к истине, и нам осталось сделать всего несколько шагов.

Раздался рев взлетающего самолета, и Мануэла президентски посмотрела на плешивого, который втянул голову в плечи.

— Ваш младший брат, — продолжал, переждав шум, другой, — активный боевик МИР, находится, по нашим сведениям, за пределами Сантьяго и выполняет задание этой организации по подрывной работе в рядах вооруженных сил. Вы же, сеньорита, должны хорошенько подумать, прежде чем вновь вводить нас в заблуждение. Дело оборачивается для вас довольно серьезно. На первом допросе вы сказали нам, что Родольфо уехал в деревню за продуктами. Это ложь, из которой тем не менее явствует, что вы имеете представление о роде занятий вашего младшего брата. Советуем в следующий раз рассказать нам все, что вы знаете о ичейке, в которой он состоит, о связи между ней и персоналом Леру и о вашем месте в этой системе. А сейчас ступайте отдыхать.

На четвертом допросе Мануэла решительно отвергла эту версию, а на пятом вновь отказалась отвечать на какие бы то ни было вопросы до встречи с сестрой.

Между тем число арестованных работников в «общей зале» уменьшилось: из пятнадцати женщин осталось всего пять. Кроме Мануэлы и Тересы (эта женщина упорно отказывалась отвечать на вопросы о своем старшем сыне, который военных очень интересовал) две молоденьких,

как и Чинита, девочки из молодежной социалистической организации (одну из них, Эстелу, держали потому, что у нее руки в момент ареста были в оружейной смазке, а жених другой, Маргариты, стрелял по солдатам, но схватить его им не удалось) и одна замужняя женщина (ее звали Нодви), член комиссии по охране Леру.

Настроение у всех заметно упало: девочки плакали, Эстела без конца повторяла, что не могут человека отдать под суд за то, что у него перепачканы руки, а Маргарита страдала молча, боясь не столько за себя, сколько за своего жениха. Чинита очень им обоим сочувствовала, особенно Маргарите: у нее самой жениха никогда не было, но она понимала, что значит бояться за любимого человека. Скажем, Хайме Лавадос: она его уже не любила, но все равно ее волновало, удалось ему уйти или нет. Впрочем, на месте Хайме ей все чаще рисовался тот долговязый, которого она видела вместе с Альенде: у него такие ласковые и в то же время дерзкие глаза...

Сегодняшние допросы поразили Чиниту: во-первых, к ней стали обращаться на «ты» («Послушай, ты, нам надоело с тобой возиться!»), а когда Чинита высказала свое возмущение, посыпалась грубая, площадная брань. Суть этой брани, которую Чинита даже до конца не поняла, сводилась к тому, что таких, как она, следовало бы пускать по солдатскому кругу, прежде чем вести на допрос, и, чего доброго, она этого добьется.

Чините стало странно при виде двух остервенело орущих на нее мужчин, и она, против воли своей, заплакала. Давясь слезами, она сама на себя злилась: трусиха несчастная, Рамона Парра на твоем месте отхлестала бы их обоих по щекам, и пусть убивают, пусть, если посмеют!

Допросы поминутно прерывались: то один из офицеров выходил, а второй, барабая пальцами по столу, молча его дожидался, то приходили какие-то люди (один из них, в чине капитана, подошел поближе к столу, посмотрел на

Мануэлу, съезжившуюся на своем стуле, потом па обоих офицеров, засмеялся и сказал: «Делать вам, я вижу, нечего»), да и самолеты стали чаще взлетать и садиться.

И вот третий день ее пиволи закончился, и наступила очередная холодная почь. «Подумать только,— размышляла, лежа в углу, Чинита,— и все это происходит со мной, в моей стране, было бы это где-нибудь на чужбине — все не так обидно».

От почь нахло машинным маслом, табаком, отцом, и Мануэла тихонько поплакала.

«Ведь это же звери какие-то, а не люди,— говорила она себе,— как они на меня кричали, какие страшные слова говорили, какие страшные были у них глаза!»

«А ты что же думала? — возражала она себе. — Это борьба, в конце концов! А то на митингах выступаешь: остановим фашизм, а что такое фашизм — не почувствовала еще на своей коже».

«Да, но ведь это они делают, когда власть не у них. А что они станут творить при своей власти?!»

Вдруг Тереса приподнялась и будничным, совершенно не сонным голосом сказала:

— Женицы, слушайте. За нами идут.

Все повскакали с мест, как будто и не спали.

И точно, в коридоре гремели шаги. Какой-то военный решительно шел в сторону «общей залы». Остановился у дверей, что-то сказал часовому. Повысил голос: видимо, тот заснул.

Открылась дверь — и тут же вспыхнул яркий, бьющий по глазам свет.

У выхода стоял капитан ВВС — тот самый, которого Чинита видела на своем последнем допросе. Он был весел и, кажется, немного пьян.

— Прошу прощения, сеньоры, что я без разрешения врываюсь в вашу спальню. О, вы спите одетыми, какое разочарование. Впрочем, тем лучше. Быстренько встать!

Эти слова были сказаны таким тоном, что повторять их дважды не пришлось.

— И чтобы ни одной тряпки на полу не осталось! — весело осклабясь, говорил капитан. — Это вам казармы, а не бордель. Готовы? К выходу шагом марш!

— Куда нас ведут? — стараясь казаться спокойной, спросила Нония.

— В лучшее будущее, сеньора! — бодро отвечал капитан. — В лучезарное завтра... — Он взглянул на часы. — Точнее, уже сегодня...

Молча, в сопровождении двух солдат и капитана, женщины гуськом, почти наугад в темноте, ориентируясь лишь на топот ног идущего впереди конвоира, пошли сначала по утоптанной площадке, затем по бетону, потом по раскисшей от сырости земле. В стороне виднелся тускло освещенный гараж с распахнутыми воротами, там стояли две машины — пожарная и микроавтобус, их мирный вид не вязался с прохаживавшимися у ворот часовыми. Остановились только тогда, когда уткнулись в теплый бок стоящего автобуса.

Казалось, в вышине шумят листвой огромные деревья, а может быть, это просто шумело в ушах от быстрой ходьбы.

— Заходите смелее! — скомандовал капитан. — Или, может быть, вас подсадить?

Вошли, расселись. Два солдата залезли вместе с ними, капитан остался снаружи.

— Километров пять отъедешь... — пегромко сказал он водителю.

Но дальше, сколько Чинита ни вслушивалась, она разобрала только «аль карахо», что на грубом мужском языке означало примерно «к чертовой матери», после чего капитан резко махнул рукой.

Чинита похолодела. Боже мой, но за что? Разве можно так просто? За что?

Не заводя мотора, шофер что-то спросил.

— Выполняй! — рявкнул капитан. — Завтра о них никто и не вспомнит!

Мотор зарычал, и машина, поводя крутыми боками, переваливаясь, покатила куда-то в глухую темноту, вниз.

Из женщины только одна Нонна старалась бодриться: все остальные подавленно молчали.

— «В чилийской тесной темноте, — громко продекларировала Нонна, — прерывисто бежит машина, шофер глядит вперед и курит, и мы среди починных мешков...»

Мешки и правда имелись — точнее, кшны прессованного сена, они были сложены в заднем конце автобуса и закрывали окна, как брусстер. Для Мануэлы этот запах лежалого сена был запахом детства: так пахла когда-то куртка ее отца...

— Ничего, девочки, все хорошо, — сказала Нонна. — Нас, наверное, перевозят в Сантьяго. Там хотя бы все побыстрее выяснится. И не будем спать на каменном полу.

— Это правда? — спросила Эстела солдата, который сидел впереди нее, но за синей Чиниты. Этот солдат что-то жевал, от него дурно пахло. — Это правда? Нас перевозят в Сантьяго?

— Еще чего, — буркнул солдат. — Стаем мы безвини жечь на каких-то мокрохвосток. Вот отъедем подальше и выбросим на обочине.

— Да я тебя... — Тереса поднялась и ввунительнo двинулась в сторону солдата. — Да я тебя самого сейчас...

— Тихо, тетка, тихо! — крикнул солдат, вскочив, и пцелкнул затвором.

— Ну, связался, — проворчал другой солдат, сидевший в задней части автобуса. — Потерпеть не мог со своим языком...

Автобус резко затормозил: отъехали совсем немного.

— Вылезай! — крикнул первый солдат, распахнув дверь, и прыгнул вниз, в темноту.

С замирающим сердцем Чинита ступила на смутно белющую в темноте каменистую обочину. Где-то рядом, в полумраке, чувствовался глубокий провал, оттуда тянуло сыростью.

— Ну, марксистки, — сказал дурно пахнущий солдат, когда все женщины стали рядом на краю обочины, — ваше счастье, что наш капитал слаб по ижеской линии. Бегите отсюда, да пожившее, пока я не передумал. Вопросы есть?

— Сынок, — раздался в темноте голос Тересы. — Сынок, да разве с матерью своей, с сестрами своими ты бы так поступил? Куда же мы пойдем, темнота кругом, хоть глаз выколи.

— Молчи, мамаша, — сказал, подходя, второй солдат, — с вами еще по-божески постопают. Тут такое начинается, не до вас... На дороги выходить не советую.

— А что происходит, ребята? — спросила Нония.

— «Что, что»... — передразнил ее первый. — Кубицы и русские высадились на всем берегу, воевать из-за нас едем.

— Врешь ты все! — крикнула Чинита.

— Ах ты... — коротко хакнув, солдат ткнул ее прикладом в живот. Чинита удивленно ойкнула, медленно опустилась на колени, потом упала ничком, и все померкло у нее в голове.

Очнулась она от сырости, лежа в высокой траве. Небо над ней посветлело, сеялся мелкий дождь. Остро пахло листвой эвкалипта.

Чинита шевельнулась и застопала от тянущей боли. Подруги обступили ее, наклонились.

— Подняться можешь? — спросила Нония. — Больно, я понимаю. Но мы слишком близко к шоссе.

Чинита приподнялась и взглянула вверх, где почти у самого неба была кромка насыпи. По шоссе в сторону Салтыга шли один за другим грузовики с солдатами.

Родольфо проснулся около двух часов ночи и долго не мог понять, где находится. Низкий потолок, сколоченный из грубых, перепачканных известкой досок, слабый желтоватый свет откуда-то сверху — и глухой мощный гул, от которого постель его мелко подрагивала. Он протянул руку, с недоумением провел пальцами по потолку, потом свесил голову с верхних нар, на которых лежал: внизу, у стола, при свете карманного фонарика сидел и что-то писал Виктор Бала Эскопидида. Все сразу встало на свои места, стало спокойнее. Родольфо сунул руку под подушку, нащупал завернутый в тряпку револьвер. Чувство безопасности и силы нахлынуло на него, и он с ребяческой гордостью подумал: «Ну, нет, мы вам так просто не дадимся. Таких ребят так просто вам не взять».

— Это что шумит, океан? — спросил он, чтобы услышать голос Виктора.

— Нет, океана здесь не слышно, — отозвался, не поднимая головы, Бала Эскопидида. — Это завод.

— Нефтеперегонный?

Бала положил карандаш, машинально повернулся к окну, которое было плотно завешено лоскутом ткани.

— Да нет, пожалуй. Чему там шуметь. Здесь много заводов.

Они нашли приют в Валье Верде, рабочем поселке на окраине Вальпараисо: выехать из города им так и не удалось. Город со времени провала Карденаса был практически оккупирован военными моряками. Внизу, на равнине, хозяйничала морская пехота, жандармские патрули поднимались даже сюда. Но здесь, в Валье Верде, приказы командования зоны не расклеивались на стенах: здесь был островок рабочей власти, которая припала Виктора и Ро-

Родольфо под свое покровительство. Бала напел контакт с местной «командо комуналь» и за считанные дни стал там своим — и очень авторитетным — товарищем.

— Авторитет надо носить с собой,— говорил он Родольфо.— Не зарабатывать же его каждый раз заново.

Ему доверили командование целой боевой дружиной, в которую, на правах адъютанта, что ли, входил и Родольфо. В определенном смысле для них обоих это было «продвижение по службе». Вначале Родольфо думал, что Бала воспользовался именем команданте Рауля, которое, несомненно, было известно и здесь. Но как-то раз, когда Родольфо в кругу своих новых товарищей обмолвился, что стрелять из винтовки его учил сам команданте, Бала резко оборвал его и потом сделал вид, что Родольфо вовсе не существует. А вечером без всяких обиняков сказал ему так:

— Послушай, Фито, я должен тебя предупредить. Не сердь меня больше, не уломишай этого имени. У меня к этому человеку накопился целый ряд вопросов, на которые, боюсь, ему будет трудно ответить.

Родольфо был ошарашен.

— Но позволь... Ты же сам всегда говорил...

— Мало ли что я говорил...— с досадой ответил Виктор.— А чтобы тебе было яснее, подумай хорошенько: ты ведь знаешь, что нас здесь ждали жандармы?

Родольфо кивнул.

— Им известно было место встречи, известны обе наши явки, которые мы получили от шефа. Но это еще полдела: место мог под пытками выдать кто-нибудь из морячков, явки могли провалиться сами по себе, ты же видишь, что здесь вытворяет Мерино. Ну, а наши с тобою физиономии? Кто их мог здесь видеть? Откуда здесь может быть известно, что у меня не сгибается в колене нога? На обеих явках ждали прыцавого и хромого... «прыцавого» — это, извини, про тебя. Как ты это все истолкуешь?

Родольфо молчал.

— То-то и оно. Очень милый шутник пап с тобою бывший шеф. Вот и хочется мне доверительно у него выяснять...

— Подожди, — перебил его Родольфо. — Но какой ему смысл? Он же мог это сделать и там, в Сантьяго. Он же мог всех папих ребят...

— А вот это уже другой разговор, — ответил Бала Эскопидыда. — Ох, хотелось бы мне думать, что он просто мечтал избавиться от меня, да концы с концами не сходятся. Скажи, брат Родольфо, шеф когда-нибудь беседовал с тобой... прежде чем доверить тебе такое важное дело?

— Было как-то раз, — подумав, сказал Родольфо.

— Ну, и чем он интересовался?

— Так, пустой разговор, о семье.

— Рассказал ты ему, что твоя сестренка работает в «Сигло»?

— Рассказал, — с удивлением ответил Родольфо. — А что здесь такого?

— Вот, приятель, после этого мы с тобой и отплыли. Соображаешь?

— Нет, — честно признался Родольфо.

— Я тебе говорил, что твои отказались встречаться с Карденасом?

— Мои? — переспросил Родольфо. — А, ну, в смысле... Да, говорил.

— Вот так. А теперь думай, думай.

Родольфо вспомнил лицо команданте, его острые, глубоко посаженные глаза, тихий голос, руки с длинными пальцами, перебиравшими карандаши на столе... Да, пожалуй, он очень интересовался Пируситой. Этаким страшный, тягучий интерес под маской отвращения и скуки...

— Понял? — спросил Бала Эскопидыда, пристально глядя ему в глаза. — Привыкай к этой мысли, привыкай. Боюсь, что после победы пролетарской революции нам будет стыдно кое о чем вспоминать. Я бы и не стал мучить

тебе душу, но ведь надо это как-то искупать! Ничего не поделаешь, было...

И подумав, добавил:

— Но мы с ним еще встретимся. Непременно.

...Родольфо повалился немного, потом спустил с пар поги, легко спрыгнул вниз. Сел на нижнюю койку.

— Не спится? — спросил Бала Эскондида.

— Да, что-то такое... Пойду пройдуся.

Уже в дверях Родольфо обернулся и застенчиво спросил:

— Послушай, Бала, а что ты там пишешь?

— Стихи, — отвечал, не поднимая головы, Виктор. — Настоящие стихи. Неруда уже не молод, надо кому-то, понимаешь ли, очередную Нобелевскую премию зарабатывать для страны.

Так и не поняв, шутит Бала или говорит серьезно, Родольфо потоптался в тесном тамбуре и вышел на улицу.

Ветерок, весь пропитанный водяной пылью, заставил его поежиться и поднять воротник куртки. Подойдя к навесу, Родольфо достал из нагрудного кармана сигарету, отвернулся к стене, чиркнул спичкой.

И вдруг дощатая стена перед ним ярко вспыхнула и стала белой. В первую секунду Родольфо показалось, что ему выстрелили в затылок — так больно резануло по глазам. Отскочив от стены, он оказался в преображенном мире: ряды дощатых лачуг ярко светились, качели, бочки, камни очагов — все как будто сделано было из начищенного серебра. Отраженным светом полыхало забытое кем-то на веревках белье. Склоп горы, угольно-черный, был подернут сединою светящейся росы.

Родольфо в замешательстве обернулся — и тут же, чертыхнувшись, поднял локоть и заслопил рукою глаза. На океан, лежавший внизу, невозможно было глядеть: по нему перекатывались огромные огненные шары.

Опомнившись, Родольфо кинулся в дом.

— Бала,— задыхаясь, отчего-то шепотом проговорил он.— Бала, корабли! Корабли, Бала!

— Ты с ума сошел,— буркнул, не оборачиваясь, Бала Эскобидо.— Привиделось тебе. В море ушли корабли, на маневры. Трупы сбрасывать повезли и с американцами танцевать того.

Бала имел в виду традиционные маневры: пять американских военных кораблей ежегодно совершали плавание вокруг Южной Америки, по пути проводя учения с кораблями южноамериканских стран. Как раз сегодня подошла очередь чилийского флота.

— Ну как они могут отказаться от своего счастья?

Не слушая Виктора, Родольфо шарил под подушкой. Достал револьвер, развернул.

— Да вставай же, Бала! — с отчаянием крикнул он.

Виктор посмотрел на него и прислушался. «Та-та-та-та», прострелотала где-то далеко очередь.

Бала выругался и, сдернув с гвоздя висевший на стене карабин, кинулся к дверям.

Когда они выскочили на крыльцо, возле их хибары уже стояли люди.

— Корабли вернулись,— сказал кто-то.

— Вижу,— резко ответил Бала, глядя в сторону океана. Свет прожекторов как будто не слепил ему глаза: беззвучно шевеля губами, он пересчитывал корабли.

— У Морского училища стреляют,— послышался еще голос.

— Слышу, не глухой! — ответил Бала.— Быстро, парни, построились. Нам вниз, к Широкому пляжу. «Пикап» на ходу?

— Бензипу мало,— отозвался голос из строя.

— Но туда хватит?

— Хватит, пожалуй...

— Тогда порядок. Бегом марш!

И через минуту «пикап» бесшумно (экономя бензин,

водитель пускал его пакатом) помчался вниз, к казармам полка «Майпо». Фары включать не надо было: кусты, камни и повороты — все высвечивалось прожекторами с военных кораблей.

— Задача ясна? — негромко говорил Бала Эскондида. — Нельзя позволить им отрезать предгорья. Надо связать им руки там, внизу.

Родольфо, сжимая револьвер, сидел рядом с командиром. Он с радостью прислушивался к себе: сердце билось размеренно, вот только руки, сжимавшие револьвер, немного дрогали.

Между тем внизу уже во многих местах разгоралась стрельба. Пулеметные очереди слышались и сзади, оттуда, где находился нефтеперерабатывающий завод.

— Они как будто читают наши инструкции... — буркнул кто-то.

— Спокойно, без паники, — сказал Бала Эскондида. — Им в гору, нам под гору. Их гонят, мы сами идём.

Вспреди, развернутый поперек дороги, стоял джип морской пехоты. Возле него суетились моряки.

Резко взвизгнули тормоза.

— Ставь бортом! — крикнул, наглувшись, Бала. — Эй, Чоло, делай, как они!

Машина, вильнув, перекрыла дорогу. Бойцы, перепрыгивая через борт, отбегали к обочине.

— Не прятаться за машиной! — командовал Виктор. — Рассыпаться и залечь! Стрелять по команде!

Он пригнулся и, крепко схватив за рукав Родольфо, потащил его за собой к лежащему у обочины камню. Рухнул на землю, повалил рядом с собой Родольфо и, прохрипев ему на ухо: «Ты что, кретин?», прикрыл рукою голову.

— Ну, здесь-то они застрянут... — проговорил он, лежа щекой на земле. Родольфо подумал даже, что он улыбается. — Жаль, каску не взял...

— Бери мою! — Родольфо зашевелился.

— Лежи! — рявкнул Виктор. — Пусть отстреляются. Им все равно идти, а нам уж... некуда.

Лежа за камнем, краем глаза Родольфо видел, как морские пехотинцы, пригнувшись, вперебежку, двинулись к ним, как, припадая на колено, стреляли и снова двигались. Самих выстрелов Родольфо не слышал, он только чувствовал, как сверху его осыпает каменное крошево. Поразительно, сколько щбенки выбивали обиклоленные винтовочные пули.

Подождав немного, Родольфо выставил руку с револьвером, выбрал на мушку ближнего к себе пехотинца, уперся поудобнее... раздался легкий хлопок, фонтан земли высотой сантиметров в десять взметнулся прямо перед ним, и тугой мяч горячего воздуха ударил ему в лицо.

— Задело? — спросил деловито Виктор.

— Нет, — пробормотал Родольфо, отплевываясь, — глаза только запорошило.

— А ты протри глаза-то, протри. Ну, сейчас они у нас попопзут. — Виктор зашевелился, изготавил карабин. — Огонь! — крикнул он и выстрелил сам.

— Ну, что, фашистская мелочь? — приговаривал он, стреляя. — Ну, что? Усвоили? Здесь проходит... граница революции... осознали?

Родольфо тоже стрелял, плохо целился и еще хуже соображая, попал он или не попал. Он тоже что-то кричал, но свое: от привычки сквернословить его в свое время отучил отец.

Вдруг он почувствовал, что Бала Эскондида на него смотрит. Он покосился — Виктор вновь лежал щеккой на земле и что-то шептал.

— Ты что? — спросил его Родольфо.

— Если что... — хрипло дыша, прошептал Бала, — если со мной что... ты эту сволочь найди...

Из рта у него толстой струей полилось черное, Родольфо охнул и привстал. Но тут на голову ему обрушился

страшный удар, и он почувствовал, что камнем падает в глубокую яму.

...Очнулся он оттого, что его потащили за ноги. Ремешок каски лопнул, каска осталась на дороге, и непокрытая голова заколотилась по мелким камням. Родольфо застонал.

— Да он живой! — весело крикнул кто-то возле его лица, и Родольфо открыл глаза.

Он увидел бледное рассветное небо и склонившиеся над ним два лоснящихся от пота лица под шлемами. Это были солдаты мятежного полка «Сильва Пальма».

— Ух, ты, живуч, куло верде, зеленая задница!

Так Фито дразнили еще в школе, когда хотели особенно больно задеть. Куло верде была оскорбительная кличка индейцев, она досталась Фито из-за смуглого цвета кожи.

Родольфо понял, что его пинают ногами. Он понял это по движениям моряков, которые то нагибались, то выпрямлялись, махая при этом руками, но боли не чувствовал, только чувствовал, что тело его встряхивается, как полупустой мешок. «Неужели все, — с тоской думал он, — неужели все?»

В казармах его обернули красным флагом и били, били вновь, а он все смотрел и не терял сознания. Удары были страшные, Родольфо понимал, он даже чувствовал, как все внутри него превращается в теплую жижу, но боли не ощущал и думал одно: «Вот так же отца... так же отца...»

Потом то, что колыхалось у него перед глазами, стало чернеть по краям, оплывать, и он перестал что-нибудь видеть. Но где-то во тьме сочащегося кровью мозга стучала мысль, что он жив и будет жить, будет... что ему очень надо жить.

Маленькая Лус была уложена на единственную в квартире Сесара постель — здесь же, в гостиной, которая служила одновременно спальней, столовой, а временами по соприкосновению и кабинетом Каролины. Накрытая клетчатым пледом, девочка спала, разомлев от тепла и уюта, со спутанными черными волосенками. Ее смуглое личико, в котором, пока еще неясно, проступали гордые арауканские черты, бессмысленно хмурилось во сне.

Сесар по-стариковски подремывал, сидя на неудобном стуле рядом с постелью. Каролина, пристроившись за письменным столом у телефона, напряженно ждала звонка.

Каролина еще не знала, и знать не могла, что и эти самые минуты сестренка ее смотрит из загородной темноты на ползущие по шоссе грузовики, а в Вальпараисо уже погашены прожектора кораблей, город погрузился в угарно-красную тьму, и брата ее, окровавленного и хрипящего, волокут за ноги по каменистой дороге развеселые молодцы адмирала Мериньо, а здесь неподалеку, в казармах, добивают штыками раненных в перестрелке солдат... и унтер-офицерская школа корпуса карабинеров держит круговую оборону, яростным огнем отбивая атаки мятежников (курсапты будут держаться до тринадцатого сентября)... и гибнут верные правительству красавцы в Вишья-дель-Мар и пехотинцы в Сан-Бернардо.

Нередка Каролина поднимала голову и смотрела на Сесара — как на впервые и при странных обстоятельствах увиденного незнакомца. Ее удивляло, что руки Сесара, которые она всегда считала узкими и холеными, оказались большими и прекрасными, вены узловато набрякли на них — возможно потому, что Сесар по-деревенски держал их брошенными на колени. Хотя кому, как не ей, знать его руки!

В мастерской за портьерой слышны были шаги Сариты.

Ей тоже пришлось сегодня покинуть свой дом, сотни таких, как она и Каролина, коротали эту ночь под чужими крышами, моля не господ, нет, в бога они не верили, моля эту ночь, чтобы она поскорей миновала. К Сесару она отнеслась с враждебной любовью: холодно и изысканно поблагодарила его за приют и, казалось, прочно о нем забыла. Беспокойство ее проявлялось в том, что она ходила из угла в угол маленькой квартиры, трогая руками и подолгу рассматривая каждую вещь. Остроликая, рыженькая, с залихватски подведенными глазами и с сигаретой в длинных, первых пальцах, вся богемная, она вела себя здесь, как дома. Портрет Каролины, исполненный акватинтой, особенно ее заинтересовал, она долго и задумчиво на него смотрела. В другое время самая мысль привести сюда Сариту показалась бы Каролине дикой, но сегодня такие пустяки не имели значения. Никто не предложил Сарите посмотреть другие работы Сесара: хозяин был для этого слишком аристократом, а у Каролины не повернулся бы язык. Поэтому, дождавшись, когда хозяин задремал, Сарита по своей инициативе прошла в мастерскую и надолго там застряла, рассматривая картины и этюды.

В творчестве Сесара как раз начался «медный период»: так он сам, смущенно и с деланным нафосом, его именова. Портреты незнакомых Каролине и, видимо, случайно встреченных людей, городские и сельские пейзажи, появившиеся совсем недавно, — все это было исполнено в темно-коричневых, зеленовато-бурых тонах, иногда «под старую бронзу», с синевато-радужными бликами и как будто с налетом патины. На одной из картин изображена была толпа мальчишек предместья: одни стояли, сунув руки в карманы и сумрачно глядя под ноги, другие, присев на корточки, подбирали с земли камни и при этом злорадно и весело глядели на зрителя. Только что законченная, в подрамнике, эта картина стояла в гостиной на полу. «Приближаешься к жизни?» — спросила Каролина. «Похоже, что да, —

усмехнувшись, ответил Сесар. — Артистам полезно, когда их время от времени забрасывают камнями».

...Вдруг оглушительно зазвонил телефон. Вздрыгнув, Каролина подняла трубку. Из мастерской, отодвинув портьеру, вышла Сарита.

— Вас слушают. Одну минуту...

Каролина подняла аппарат, перенесла его к хозяину, наклонилась и громко шепнула ему на ухо:

— Тебя к телефону.

— Ну, разумеется, — не открывая глаз, пробормотал Сесар, — ночью художники нарасхват.

Луэ не просыпалась

— У телефона, — сказал Сесар вполголоса. — О боже мой, отчего среди ночи? Дети кругом... Ах, вот оно что, тебя мучит совесть. Ну, разумеется, я все сделал, здесь есть свидетели, которые могут твою алиби подтвердить.

Каролина сделала протестующий жест.

— Отец, — укоризненно говорил Сесар, — ну, успокойся, ради всех святых, и передай привет «Санта-Рите»... Да что ты, я очень почтительный сын.

Вдруг он перехватил микрофон трубки рукой и посмотрел на напряженно застывших женщин.

— Марияна сублевó, — сказал он, обращаясь к ним, и эти страшные слова прозвучали непонятно, как будто сказанные были на экзотическом языке. — Флот восстал.

Когда он положил трубку, Каролина вскочила, подбежала к телефону, стоявшему на полу, опустилась на колени, набрала номер редакции. Занято... Позвонила в резиденцию — занято. Ла Монета ответила сразу.

— Убедительная просьба, — сухо сказал Вергара, — не загружать телефон. Всем оставаться на своих местах. Да, связь с Вальпараисо прервана. В столице все спокойно. Выясняем обстоятельства. Если понадобится — позвоним.

— Ну? — нетерпеливо спросила Сарита, опустившись на пол рядом с Каролиной и глядя ей в лицо. — Ну, что?

Не выпуская трубки из рук, Каролина механически повторила слово в слово все, что сказал ей Вергара.

Прошло минут десять. Сесар сидел, как библейский судья, на своем стуле, а женщины у его ног вполголоса обсуждали случившееся.

- Вальпараисо далеко.
- Их не пропустят в столицу.
- Можно сказать, это локальный мятеж.
- Сейчас, наверно, гарнизон уже поднят.
- Перекрывают шоссе...
- Главное — железная дорога.
- Ну, это проще всего.
- У них нет шансов на успех.

Вначале Сесар сочувственно прислушался, но, убедившись, что женщины не мечутся в панике, а тихо сидят на полу и сами себя успокаивают, он вновь задремал.

...Пробудился Сесар оттого, что почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он по-прежнему сидел на стуле, шея и ноги его затекли, и, выпрямившись, он вло чертыхнулся.

Свет в гостиной был погашен, жалюзи закрыты, и в голубоватом полусвете Сесар не сразу разглядел, что Лусита, прижавшись к стене, сидит на его постели и смотрит на него широко раскрытыми глазами.

— О, сеньорита, — вежливо сказал Сесар, вставая, — прошу прощения, я, наверно, напугал вас своим храпом.

Девочка не ответила и даже не шевельнулась. На ней была гонконгская рубаша Сесара — белая, с короткими рукавами и твердым стоячим воротником, из которого беззащитно торчала тоненькая смуглая и, видимо, не очень чисто вымытая шейка. Большие глаза Луситы тревожно черпели и, казалось, жили самостоятельной жизнью на малоподвижном индейском лице.

Сесар подошел к окну, открыл жалюзи, в комнате стало совсем светло. Он посмотрел на часы — начало восьмого.

В комнате, кроме него и Лус, никого не было, но в мастерской горел свет, и Сесар решил, что женщины дремлют там. Он на дыпочках подошел к портьеру, заглянул в мастерскую — там было пусто. Сердце его сжалось от предчувствия непоправимого. Он резко обернулся — к входной двери обрывком скотча был прикреплен лист бумаги.

«Панито, милый, прости, но мы не могли вынести неизвестности. Сарита хорошо водит машину, не беспокойся. Спасибо, что ключи лежали на столешке, а то пришлось бы тебя будить. Поставим ее у отеля «Каррерас», на твоём обычном месте, и если что... (зачеркнуто). Жди нас и не волнуйся. Не обижай Луситу, она хорошая, умная девочка, вы подружитесь. Покорми ее, когда проснется. Целую тебя, твоя Нья Пируса».

Ниже другим, язвительным почерком была сделана приписка: «Сеньор Ларин, это не экзпроприация, слово чести. Не надо поднимать на ноги парламентскую оппозицию, она славно потрудилась, пусть спит спокойно. С революционным приветом С. Н.».

Держа в одной руке дрожащий листок, другою терзая бороду, Сесар долго стоял неподвижно. Отчего-то ему вспомнилось (об этом говорила Каролина), что в операционной Ла Монеда хранятся четыре литра крови группы Альбэндо... Эта деталь тогда больно поразила его, в ней было что-то спокойное и ужасное. «Как это написать? Каменный дворец — и в нем кровь президента... А какая кровь у Пируситы? Бог ты мой, о чем это я?»

Из оцепенения его вывел голос Луситы.

— Дядя Сесар! Дядя Сесар! — встав на постели, тревожно повторяла она. — Где Нья Пируса? Она совсем уехала? Дядя Сесар!

— Какой я тебе дядя? — рывкнул Сесар. — С ума сошла твоя Нья Пируса! Она просто сошла с ума!

Он кинулся к телефону, начал просто крутить диск, но безуспешно: все известные ему дворцовые телефоны были заняты. Наконец он бросил трубку, посмотрел на дверь, потом на окно. Ему пришло в голову, что без машины он прикован к месту.

— Ну, девочки! — бормотал он, вновь принявшись за телефон. — Без них там никак не обойдутся!

— Где «там»? — спросила, выждав паузу, Лусита. — Ты мне ответишь или нет? Куда уехала Нья Пируса?

— Она уехала во дворец, — как можно спокойнее ответил ей Сесар. — К президенту Альенде. Знаешь такого?

— Конечно, знаю, — с достоинством ответила Лус. — И он меня тоже знает. И правильно она сделала, что уехала. Надо его защищать. И я знаю, почему ты ругаешься. Ты не любишь Альенде, потому что ты богат. Вот подожди, он у тебя все отберет. И мы будем жить здесь, купим телевизор и будем жить, я и Нья Пируса, и ничего она не сошла с ума, ты сам сошел, и Мемо здесь будет жить, и Фито, и мама, и Мария Эстела, если захочет, а тебя выгоним вон. Иди живи на Парадеро Очо, пожалуйста, а нам хватит, мы там уже пожили.

Такой ультрареволюционной отповеди Сесар в своей жизни еще не слышал. Он смотрел на эту девочку в длинной рубахе, стоящую на его постели в полном сознании своей правоты, — и не знал, что ей сказать.

Из затруднения его вывел телефонный звонок. Вообразив, что это Каролина, Сесар поспешно схватил трубку, но услышал голос отца — и чуть не выругался с досады.

— Ты уже слышал? — спросил дон Херардо.

— А что я должен был слышать? — мрачно поинтересовался Сесар.

— О господи, — простонал дон Херардо. — Должны же быть пределы у инфантильности! Копчится тем, что тебе пристукнут, как теленка, и ты даже не успеешь спросить, за что.

— Довольно брюзжать, мне некогда, — раздраженно перебил его Сесар. — Что я должен был слышать?

— Коммюнике правящей хунты. Минуту назад передавали. В стране совершен военный переворот.

— Ну, хорошо, переворот, это я уже знаю... — начал Сесар и вдруг остановился. — Постой, что значит «переворот»? Мятеж, ты хочешь сказать? Мятеж в Вальпараисо?

— Это дело прошлое, мой дорогой, — сказал дон Херардо. — В Вальпараисо, в Сантьяго, в Консепсьоне, везде. Как видишь, вчера я был на сто процентов прав...

Наступила целовкая пауза. Глазами Сесар показал Лусите на стоящий на письменном столе дешевойкии транзистор. Девочка, встревоженная и присмирившая, как будто не она минуту назад разговаривала с «дядей Сесаром» так дерзко, подбежала к столу, вскарабкалась на кресло, выставив почерневшие от грязи подошвы своих попонок, вопросительно оглянулась. Сесар кивнул, и она, созя от усердия, взялась за ручку приемника, потянула.

— Да что у тебя там происходит? — возмутился дон Херардо. — Ты не один?

— Разумеется, — стараясь быть спокойным, Сесар принял от Луситы транзистор, погладил девочку по голове (он сидел на полу по-турецки), подтолкнул ее в сторону постели, включил приемник. Грянул оглушительный марш, сила звука была необычной, напоминающей какой-то нечеловеческий, металлический, торжествующий рев. Затем звуковой голос диктора произнес:

— Учитывая чрезвычайно серьезный экономический, социальный и моральный кризис, подрывающий страну...

— Это повтор, — сказал в трубку дон Херардо. — «Аг-рикультура» все забывает. Убавь, пожалуйста, звук. У них теперь мощность двести ватт...

— ...Чилийские вооруженные силы и корпус карабинеров, — папорието говорил диктор, — полны в своей решимости взять на себя...

— Значит, карабинеры тоже... — пробормотал Сесар. — Кто же тогда?.. Ла Мошеда взята или нет?

— Судя по некоторым признакам, — промямлил дон Херардо, — еще не взята, но полностью блокирована. Альенде заперся там с горсткой смертников. Все воинские части и корпус карабинеров — на стороне новых властей, у Альенде нет ни одного солдата. На улице под моими окнами уже пьют шампанское, настоящий карнавал...

— Подожди ты со своим карнавалом! — крикнул Сесар. — Не мешай слушать.

— ...за освобождение отечества от марксистского ига, — Сесар убавил звук, и голос диктора стал доверительно задушевным, — за восстановление порядка и конституционного правления. Рабочие Чили могут не сомневаться в том, что экономические и социальные блага, которых они добились на сегодняшний день, не будут подвергнуты большим изменениям...

— Ну, разумеется, — буркнул Сесар. — Вот наглецы!

— Видишь ли, сынок, — обрадованно заговорил дон Херардо, с нетерпением дожидавшийся реакции Сесара, — я хотел бы обратить твое внимание на одну топкость. В коммюнике сказано о восстановлении конституционного правления... это оставляет некоторую надежду...

Отец еще что-то говорил, но Сесар его не слушал.

— ...Население Сантьяго должно оставаться в своих жилищах, — будничным голосом продолжал диктор, — во избежание гибели ни в чем не повинных людей. Коммюнике подписали: от вооруженных сил Чили — генерал Аугусто Пиночет, адмирал Хосе Торрибио Мерино, генерал Густаво Лив, от корпуса карабинеров — генерал Сесар Мендоса.

Грянул марш «Храбрые гусары Майно», и Сесар включил приемник.

— Так что ты говоришь? — вяло спросил он отца.

— Практически весь вопрос заключается в том, — с некоторой обидой в голосе отозвался дон Херардо, — как поступят власти с этой горсткой несчастных. Альенде упрям, по своей воле он оттуда не уйдет... Если он вообще во дворце, это в точности не известно... А, собственно говоря, почему это тебя так волнует? Насколько я помню, ты всегда насмеялся над политическими страстями.

— Сейчас мне не до смеха, папа, — негромко сказал Сесар. — Среди этой, как ты выразился, горстки несчастных смертников находится некая Каролина Сото Рамирес...

Словхватившись, Сесар быстро взглянул на Луситу. Девочка сидела, свесив ножки, на краю кровати и, откинув назад голову и приоткрыв рот, вслушивалась в этот малопонятный для нее разговор.

— Но позволь, — удивленно заговорил отец, — с кем же ты сейчас?

— Она уехала во дворец и оставила у меня свою младшую сестренку. Послушай, папа...

В трубке послышался смехок.

— Сестренку? Рискованный поступок.

— Прекрати, — морщась, сказал Сесар. — Сделай вот что. Пришли сюда Габь. Она побудет с девочкой, а я пока на ее машине съезжу в центр.

— Нет, сынок, — после паузы серьезно сказал дон Херардо. — Поверь, я очень хорошо тебя понимаю, но это дикая идея. Мало того, что центр окружен и к дворцу не проехать. Город наводнен солдатней, которая убеждена, что переворот оправдывает любую мерзость... Ты еще молод, а я помню стародавние времена. Как бы гуманно власти ни поступили с Альенде, все равно в городе начнется разгул вандализма...

— Ты, я вижу, совсем уже свыкся с новой ситуацией, — язвительно сказал Сесар. — У тебя мятежники — это уже власти. А ведь еще вчера...

— Я сделал все, что мог, — возмущенно возразил дои Херардо, — все, что от меня зависело...

И разговор прервался.

Должно быть, отец для верности отключил свой телефон, потому что, сколько Сесар ни пытался, ему так и не удалось дозвониться до Габн.

Накопец он встал и падел куртку — ту самую, замшевую, в которой он спасал Пируситу из рук матусовской банды. Он ничего не видел перед собой — лишь темный приземистый силуэт Ла Мопеды и над ним в темпо-пелельном небе — голубоватые контуры лица Нья Пирус, растерянного, улыбающегося, и руки, прижатые к груди.

Лусита побелела как полотно и тоже встала. Она не спросила «ты куда?», но в глазах ее были и вопрос, и ужас, и мольба.

— Глупость, ребячество, — бормотал Сесар, застегивая пуговицы. — Ребячество, глупость...

Сесар ничего не имел против Альенде; все в его речах — и неумелые ораторские обороты, и недостаточность темперамента, и даже словечко «уверен», которое выдавало не силу, а слабость (Альенде даже «Весперемос» — «Мы победим» — говорил «Я уверен, что мы победим»), — все импонировало Сесару, свидетельствовало об искренности этого человека, за которого Каролина готова была умереть. Но есть же пределы доверчивости, черт побери! Какой-то Пиночет, какой-то наверняка тупоголовый Ли, какой-то злобный, а оттого и глупый (ибо ум добр) Хосе Мерино, какой-то безымянный Мендоса — как Альенде мог позволить им себя перехитрить? Вот тебе и «уверен»...

— Маленькая, я ненадолго, — ласково сказал Сесар, подходя к двери. — Только съезжу за Нья Пирусой и вернусь.

Лицо девочки исказилось от страха.

— Пет! — вскрикнула она и, кинувшись к Сесару, крепко обхватила его ноги. — Пет! Не уходи, только не

уходи! Я больше не буду говорить, что ты богат! Ты не богат, нет, ты очень бедный! Не уходи!

Сесар давно уже снял куртку и, сидя в кресле за письменным столом, держал Луситу на коленях и уговаривал ее, гладил по головке, целовал в макушку, поглаживал на руках, как бы убаюкивая, и она все тряслась и всхлипывала без слез, повторяя с закрытыми глазами:

— Нет, нет, нет!

32

В семь утра у подъезда резиденции на Томаса Мора стояли готовые к выезду машины: желтый «синкап» (там, как и в день «Тавкасо», расположилась пятерка Рамона, в кабине было место Хосе), синий президентский «фиат» с Хано за рулем, за ним два точно таких же, синих с пятерками, Густаво и Альберто, и замыкала кортеж машина с ребятами Панчо и пулеметчиком.

Накрапывал дождик, но было уже по-весеннему тепло и безветренно, никакие облака, казалось, не двигались. Хосе стоял возле головной машины и вполголоса давал последние указания Рамону Патучо и Марио Тулькану. Тулькан со своим пулеметом оставался на Томаса Мора: резиденцию нельзя было оголять. План обороны резиденции был, разумеется, давно разработан, но только на случай палата вооруженной банды, от огня регулярных частей или от нападения с воздуха здешние ограды служили плохой защитой. Поэтому, разговаривая, все трое времяами поглядывали на пасмурное небо: облака могли рассеяться.

— У нас в Тулькане, — сказал Марио, — если уж затянет с утра, то, считай, недели на две, не меньше.

— У вас в Тулькане все как у людей, — пробормотал Хосе, расправляя под пиджаком концы своего широкого аргентинского шарфа, который заменял ему и свитер, и пончо, и куртку, и вообще все, что принято называть зимней

одеждой. — Пойми: резиденция так же важна, как и Ла Мошеда. Здесь донья Ортенсия, Чабела, Тата сюда переберется. Они могут использовать это как средство давления.

— Да что ты мне объясняешь, — отозвался Тулькан. Ему очень хотелось ехать с ребятами в Ла Мошеду.

Наступило молчание.

— Не правится мне этот однопочный самолет, — сказал Хосе. — Похоже, они принялись на этот раз за нас серьезно.

— Не волнуйся, — ответил Тулькан. — На небольшой высоте мы его достаем. Я сам сижу с него размеры.

— Ты думаешь, он у них один? — проговорил Рамон Патучо.

И они вновь, не сговариваясь, посмотрели вверх: тучи медленно ползли в сторону гор, открывая ровное, цвета темного жемчуга, небо.

В семь десять из проходной на улицу вышел Аугусто Оливарес. Глянул в небо, поморщился от дождя, снял очки, небрежно сунул их в карман и направился к Хосе. Тулькан и Патучо стали павытяжку.

— Ладно, ладно, — сказал Оливарес, похлопав Рамона по плечу, и протянул руку Хосе.

— Что новенького, Перро? — спросил Хосе.

Оливарес помедлил. Была одна новость... только что они с президентом слушали коммунистической хунты во главе с Нишочетом. Но говорить об этом сейчас было бы преждевременно.

— Ясности пока нет, ребята, — потеревши усы, ответил он. — «Агрикультура» непрерывно передает военные марши, как из королевства немых.

— Играют на первах, — сказал Патучо.

— Вполне возможно, — согласился Оливарес.

— Так что же, выезд откладывается? — спросил Хосе.

— Нет, обязательно едем, — сказал Оливарес. — Тата

хочет быть в Ла Мопеде. Он говорит: «Пока я там, переворот еще не совершен».

И, словно в подтверждение его слов, дверь проходной открылась, и к машинам вышли Альенде и советник Гарсес.

Президент был одет по-домашнему: серый пиджак поверх свитера, рабочие брюки. Хосе не помнил, чтобы Альенде так одевался для выезда во дворец. Может быть, этим он хотел подчеркнуть, что сегодняшней ранний выезд — ничем не примечательное, будничное дело? Или, наоборот, что он вызван экстраординарными обстоятельствами, требующими принятия рабочих мер? Но, скорее всего, Альенде ничего не подчеркивал: он оделся так, как ему было удобнее, предполагая, что во дворце его ждут совсем не парадные протокольные дела. Лицо его было невеселым, но и не печальным, скорее скучноватым: как у человека, который вынужден прервать работу и ехать на тягостное, неинтересное, совершенно неизбежное мероприятие. «Я хотел лучшего. Я работал. Мне помешали», — вот все, что читалось на этом лице. Щеки его обвисли, глаза сквозь очки смотрели открыто, с простой готовностью.

— Едем? — спросил он Хосе и, не дожидаясь ответа, пошел к своей машине.

— Чичо, — позвала, выйдя из проходной, дочь Ортенсия. На ее плечи была выброшена черная вязаная шаль.

Альенде остановился, медленно обернулся, пошел назад.

— Что-нибудь случилось? — негромко спросил он.

— Я с тобой, Чичо, — проговорила дочь Ортенсия. — Позволь, я поеду с тобой.

Голос ее прерывался.

— Но в этом нет нужды, — удивленно и как будто сердито сказал Альенде. — Мы же договорились. Лучше тебе быть здесь. Если настанет необходимость, я подошлю людей, они проводят тебя в посольство.

— А ты? — тихо спросила она.

Альенде помолчал.

— Из моих рук они власть не получают, — сказал он. — Это все, что я могу с точностью предсказать.

Дошья Ортенсия заплакала.

— Это еще что? — возмущенно сказал Альенде. — Первая дама республики... ты не должна.

Он поцеловал ее руку и, резко повернувшись, пошел к машине.

Улицы Сантьяго были почти пусты, на перекрестках расставлялись усиленные паряды карабинеров. По переулкам медленно двигались зеленые армейские грузовики с зарешеченными окнами. К подъездам учреждений бодрым шагом, с перебежками, направлялись военные патрули. Солдаты в касках, в блузах, заправленных в штаны, с подсумками на широких кожаных поясах, некоторые с оранжевыми нагрудниками, останавливаясь и слова пускаясь в бег, как на тактических учениях, поглощены были важностью своей задачи и не обращали внимания на corteж. Карабинеры вставали навытяжку, офицеры козыряли. Альенде машинально поднимал руку, держал ее на весу, затем медленно опускал на колено. При этом он смотрел в окно с выражением кроткого любопытства.

Щемила боль за все, что он видел вокруг, — это чувство удивляло его самого. Ему больно было за молодецких полицейских, которые так оживленно сустились возле насних сооруженных пулеметных гнезд, как будто готовились бог весть к какому праздничному делу. Брустверы были сооружены из мешков с песком, но вот чем отличался семьдесят третий год от тридцать девятого: на мешках можно было прочесть черные надписи «Дар народа США»... Ему было больно за пожилую домохозяйку в поношенном пальто, которая, часто оглядываясь, переходила улицу с пустою матерчатой сумкой в руке. Больно за длинноногого паренька в стоптанных башмаках, который, су-

нув руки в карманы короткой куртки с меховым воротником, стоял на краю тротуара, вглядываясь в окна дома на противоположной стороне. Чем живут эти люди? Что вывело их на улицы в такой ранний час? Нужда? Беспокойство? Простое любопытство? Догадываются ли они, что их ждет впереди?.. Как странно: можно увидеть человека единожды за всю жизнь — случайно, из окна медленно движущегося автомобиля, как вои того высокого худого мужчину с пышной седой шевелюрой и завязанным на шее шелковым кашне, концы которого сунуты под пальто, — и не поговорить с ним, не обменяться улыбками и больше не встретиться с ним никогда...

Хапо вел машину молча, как будто боялся нарушить тишину.

— С одиннадцатого по пятнадцатое они объявили нерабочими днями, — негромко сказал Оливарес. — Распоряжаются, как у себя дома.

— Пытаются предотвратить всеобщую забастовку, — отозвался Хоан Гарсес.

— Да, слишком хорошо они были осведомлены о нашем плане обороны, — проговорил Альенде. — Слишком хорошо...

— Вот что значит — Красная шапочка, — сказал Оливарес.

Перро имел в виду загадочные радиопередачи из Пуэрто-Монта: «Нас больше, чем мы думаем. Красная шапочка с нами».

— Пипоккио — Пипочет... — сказал Хоан Гарсес. — Догадаться было нетрудно...

Альенде шевельнулся.

— Я очень вас прошу, — сказал он, — больше не произносить в моем присутствии имя этого человека. Да, я доверял ему до последней минуты. Я думаю, у него нет оснований этим гордиться... Как, впрочем, и у меня. Враг сделал свое дело, а я не сумел.

Перро и Гарсес умолкли.

— Не выспались? — после паузы, чтобы сгладить недовольство, спросил Альенде.

— Меня разбудил грохот его кубинских ботинок, — с улыбкой кинул на Перро, отошелся Гарсес. — Кстати, Аугусто, второй раз ты их надеваешь, и каждый раз это оборачивается мятком. Объясни, в чем тут дело.

Оливарес собирался развить эту шутку и даже раздвинул усы, чтобы удобнее было смеяться, но голос Альенде заставил их обоих притихнуть.

— Смотрите-ка, развиделось! — сказал Альенде, наклонясь к спинке переднего сиденья и глядя вверх.

Гарсес, сидевший с краю, пропустил боковое стекло и выглянул наружу. В лицо ему дунул плотный ветер, в котором, помимо запаха сырости, явственно ощущался аромат свежей листвы. А между облаками сиял узкий и длинный просвет, полный глубокой голубизны. Под этим чистым взглядом с высоты весь город, казалось, потемнел и пахмурился.

— Это нам сейчас ни к чему, — проворчал Оливарес. С его места (он сидел справа от президента) да при его высоком росте ничего не было видно, а наклониться ему мешал стоявший между колес автомат.

— Ошибаешься, друг мой Перро, — возразил Альенде. — Именно нам, и только нам, на руку все это — теплые дни, цветы, урожай. А им — землетрясения, зимние ливни, голод.

— Должно быть, оттого, — заметил с полуулыбкой Хоан Гарсес, — что они не у власти. Если бы им удалось то, что они задумали, им очень бы понадобилось и тепло, и цветы, и тучные поля.

— Логично, доктор, логично! — сказал Оливарес, с такой комической деловитостью воспроизводя интонацию Альенде, что даже сам президент улыбнулся. — Вот они и попытаются прорваться к нашей весне. Но мы им помешаем.

Машина остановилась на Морапде, у президентского подъезда Ла Мошеды. По тротуару сновали карабинеры, бойцы президентской охраны. Вот незнакомый парень в потертых кожаных штанах и рыжей кожаной куртке пронес небольшой металлический чемоданчик. Чемоданчик был тяжел, парень весь согнулся, свободной рукою придерживая вспянувший на плече автомат «вальтер».

— Ола, Мсью! — крикнул ему Оливарес.

Парень остановился, обернулся, помахал рукой. На тощем лице его улыбка казалась особенно белозубой.

— Кто это? — спросил Альеде.

— Подкрепление от Жуаньяна, — сказал Оливарес. — Этот парень один стоит сотни.

— Так уж и сотни? — прищурясь, проговорил Альеде. — Ну, тогда будем драться.

Выходя, он взял с переднего сиденья автомат. Постоял, опустив его дулом вниз и глядя на угрюмые стены дворца. Просто, даже бедно одетый человек с мощищенной шеей, дряблым двойным подбородком и скорбно сжатым ртом... Поднял глаза — чистая полоска неба, так обрадовавшая его по дороге, исчезла, небо было плотно затянуто темно-серой искрящейся пеленой.

Альеде вскинул автомат в руке и вошел во дворец.

Алексеев Валерий Алексеевич.
А47 Пепельный сентябрь: Повесть о Сальвадоре Альенде.— М.: Политиздат, 1982.— 346 с., ил.— (Пламенные революционеры).

А $\frac{0803010000-000}{079(02)-82}$ 227-82

66.3(74и)
32И

*Валерий Алексеевич
Алексеев*

ПЕПЕЛЬНЫЙ СЕНТЯБРЬ

Заведующий редакцией *В. Г. Новозатко*

Редактор *А. Н. Настухова*

Младший редактор *А. А. Степанова*

Художник *И. С. Смирнов*

Художественный редактор *В. Н. Терещенко*

Технический редактор *И. И. Межеричка*

ИБ № 2171

Сдано в набор 12.05.81. Подписано в печать 27.10.81. А00171.
Формат 70×108^{1/2}. Бумага типографская № 1. Гарнитура
«Обыкновенная новела». Печать высокая. Услови. печ. л. 16,01.
Услови. кр.-отт. 10,12. Учетно-изд. л. 16,33. Тираж 300 тыс.
экз. Заказ № 840. Цена 1 р. 30 к.

Политиздат, 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусский пл., 7.

Набрано и сматрицировано
в ордене Ленина типографии «Красный пролетарий».
103473, Москва, Ц-473, Краснопролетарская, 16.

Отпечатано с матриц
в типографии из-ва «Уральский рабочий»,
г. Свердловск, пр. Ленина, 49.
Зак. № 448.